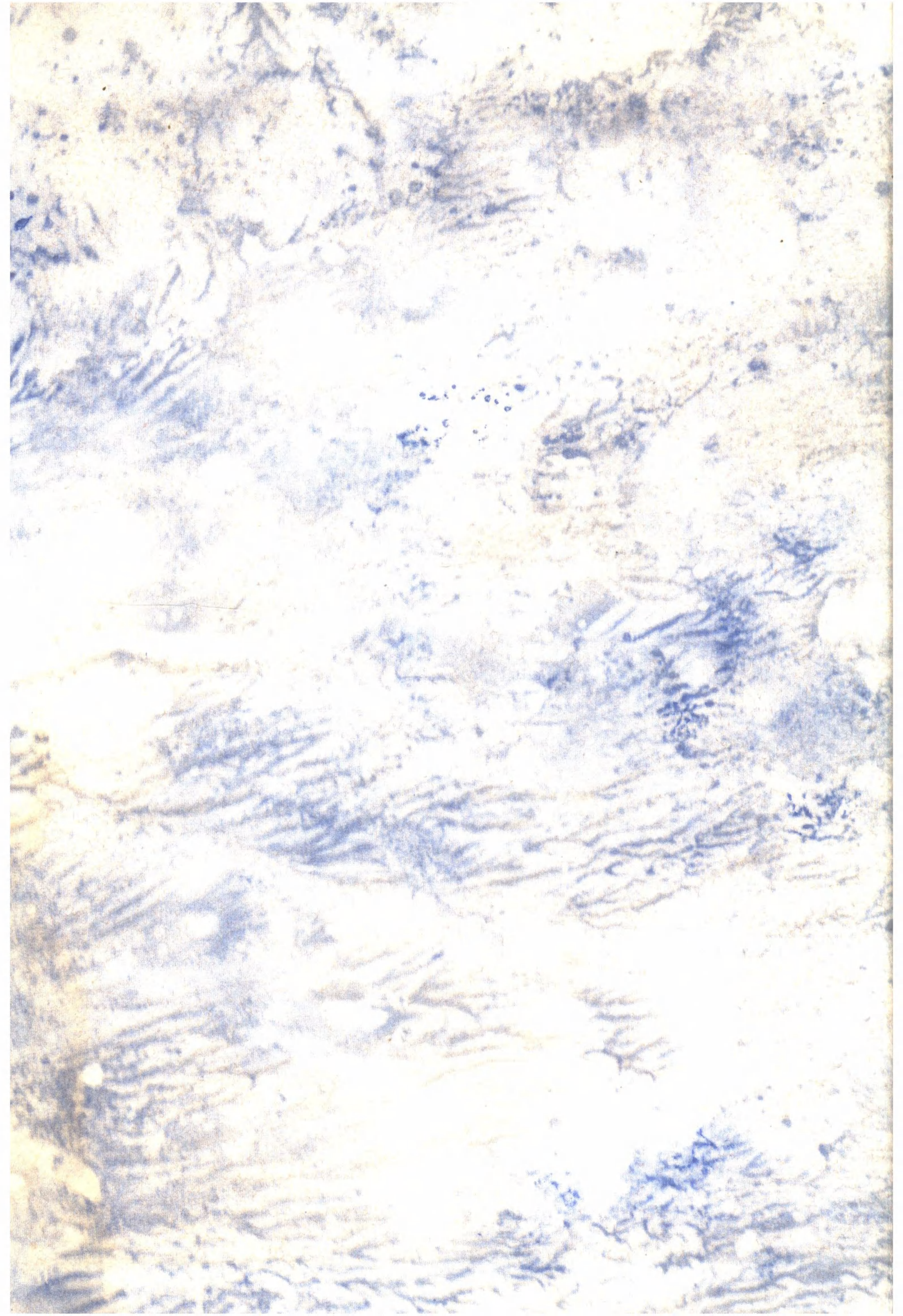
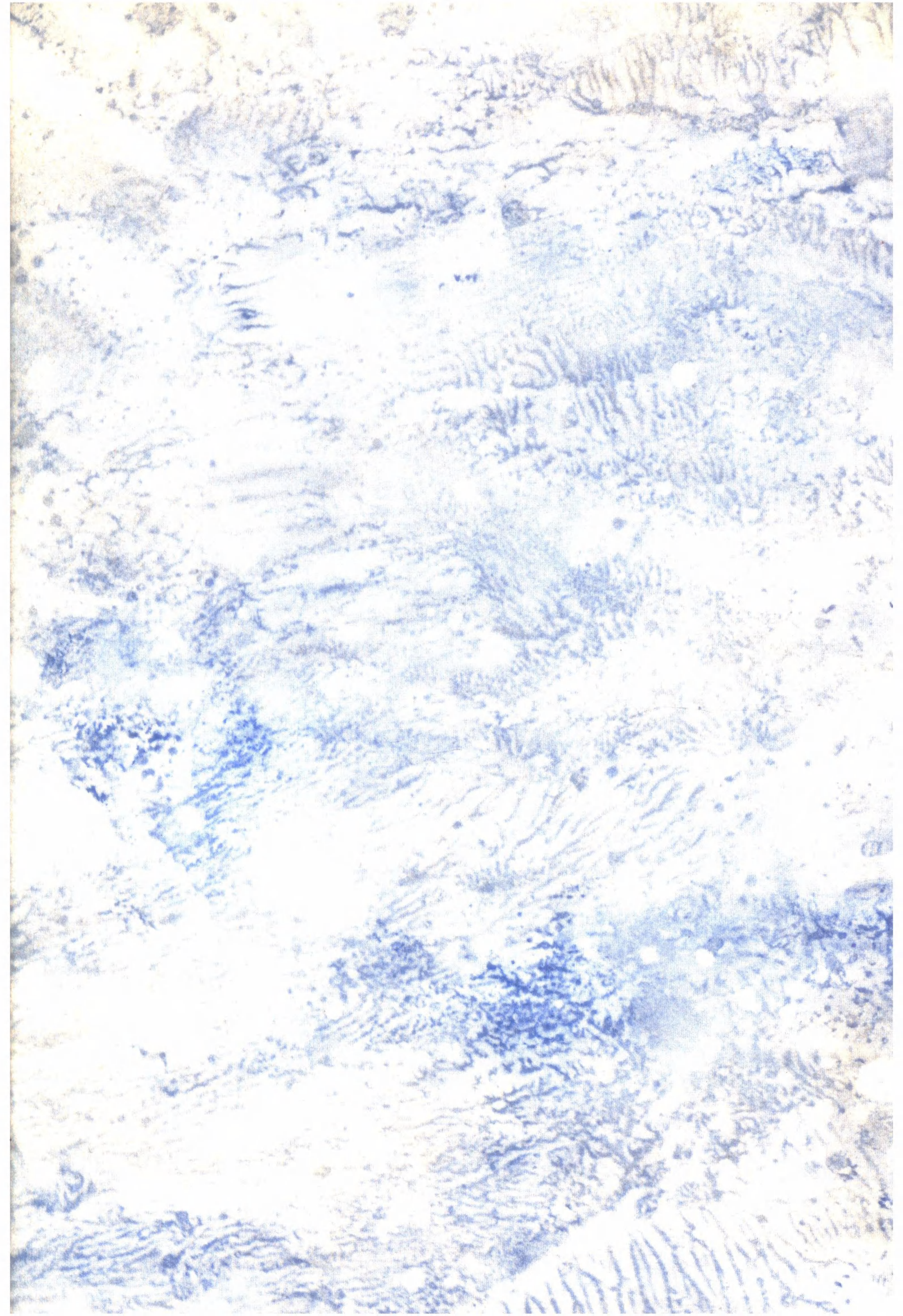
Зоя Воскресенская



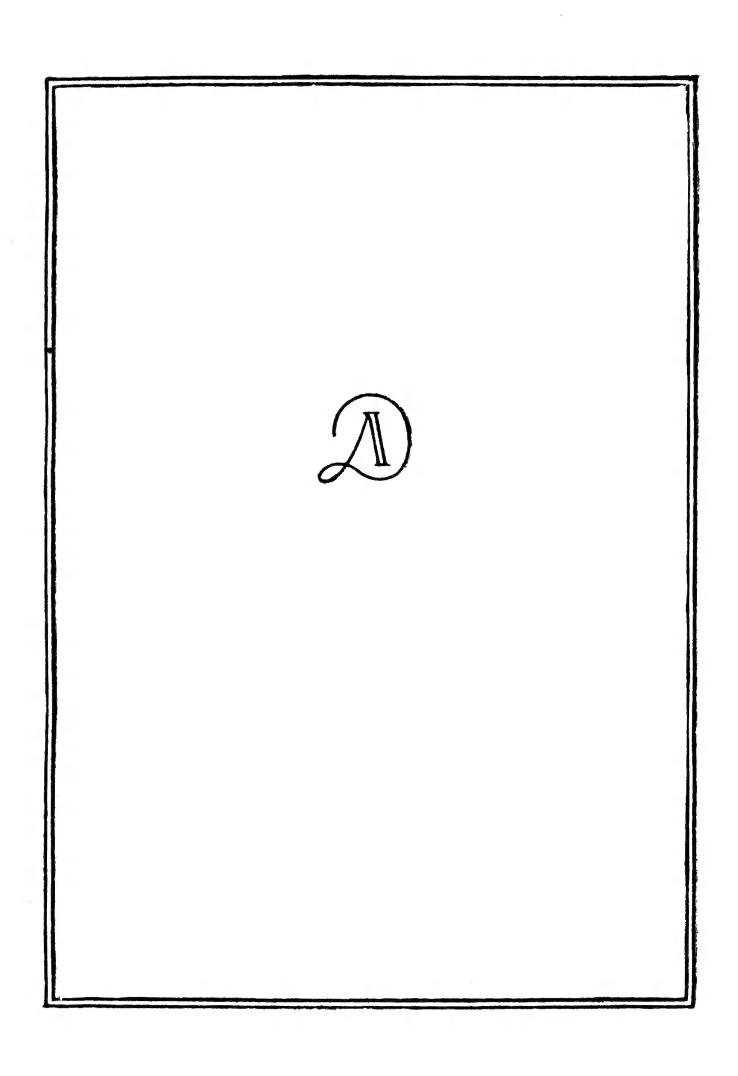
Издательство
"Детская
литература"







З. Воскресенская



Собрание сочинений в 3х томах

ТОМ

1

МОСКВА
„Детская литература"
1974

Зоя Воскресенская

СКВОЗЬ ЛЕДЯНУЮ МГЛУ

Рассказы

•

ВСТРЕЧА

Повесть

•

УТРО

Повесть

Р 2
В 76

Оформление Л. Датько

Воскресенская З. И.

В76 Собрание сочинений, т. 1. Рисунки И. Гринштейна, И. Ильинского, И. Незнайкина. М., «Дет. лит.», 1974.

479 с. с ил.

В первый том Собрания сочинений писательницы Зои Ивановны Воскресенской — лауреата Государственной премии СССР входят цикл рассказов «Сквозь ледяную мглу», повести «Встреча», «Утро», рассказы.

Вступительная статья С. В. Михалкова.

В $\frac{70803-337}{М101(03)74}$ подписное **Р2**

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

О творчестве писательницы Зои Ивановны Воскресенской

В одном из своих обращений к читателям, объясняя, почему она пишет о Владимире Ильиче Ленине, Зоя Ивановна Воскресенская сказала: «Пишу по велению сердца, пишу потому, что вся жизнь с малых лет связана с этим великим именем».

«По велению сердца» пишут все советские писатели, это является их замечательной особенностью. Сердце писателя диктует ему не только идею и образы его произведения, но также и возрастной адрес того читателя, к которому он обращается.

Чтобы настоящий писатель мог поведать своему читателю важное и для него, и для читателя, ему надобно иметь не только зоркое писательское зрение, умение выразить свои мысли и чувства точным и ярким словом, но и большой запас жизненных наблюдений. Вот уж чем судьба не обделила Зою Воскресенскую!

Когда-то Аркадий Гайдар сказал о своей биографии, что она является «обыкновенной биографией в необыкновенное время». Конечно, время Гайдара было необыкновенным временем, но ведь и сам он был человеком необыкновенным! Я думаю, что то же можно сказать и о Зое Воскресенской и ее времени.

В полвека жизни будущей писательницы произошли события огромного масштаба, имевшие поворотное значение для нашей страны, для всего мира. Зоя Воскресенская родилась в 1907 году в семье железнодорожного служащего, в юные годы жила в городе Смоленске, откуда начался ее путь в комсомол, партию, Красную Армию. Детство Зои Воскресенской прошло во время гражданской войны, ожесточенных сражений за Советскую власть; дальше шли напряженнейшие годы восстановления народного хозяйства, первых пятилеток. А на горизонте вырисовывался зловещий призрак фашизма и будущей войны с ним не на жизнь, а на смерть. Потом эта война разразилась, и у всех у нас врезаны в память неимоверные страдания, которые она принесла, и великий подвиг советского народа, разгромившего фашизм и принесшего освобождение порабощенным народам Европы. Вот какое это было время!

А можно ли считать обыкновенным то, что в 1921 году в Смоленске четырнадцатилетняя девочка Зоя Воскресенская стала красноармейцем батальона войск ВЧК? Что в 1923 году, только вступив в комсомол, она пошла работать на завод, была пионервожатой, а затем по комсомольской путевке ее направили политруком в колонию малолетних правонарушителей? Что с 1929 года началась ее военно-политическая работа, на которой она пробыла более четверти века, вышла в отставку полковником, награждена орденами и медалями Советского Союза? Да, мы видим, что и время жизни писательницы было необыкновенным, да и биографию ее трудно считать обыкновенной...

Когда Зоя Ивановна Воскресенская занялась литературной деятельностью, ей было о чем рассказать! Материала ее биографии хватило бы на многие книги, представляющие интерес для широкого читателя, прежде всего — для читателя взрослого. Но с первых же написанных ею строк Зоя Воскресенская всегда видела одного, главного своего читателя, и им был советский школьник, советский ребенок. Она

начала писать для детей не потому, что для них легче писать — для детей писать труднее! Она это сделала действительно «по велению сердца». И стоит подумать, почему это так произошло.

Шестнадцатилетней комсомолкой Зоя Воскресенская начала работать политруком в детской колонии. В этой колонии воспитывались беспризорники, познавшие горькое и страшное детство. Выкинутые из семей войной и голодом, потерявшие родных, скитающиеся в поисках хлеба из города в город, они часто попадали в руки людей, которые уродовали детские души, стремились вовлечь детей в преступный мир, сделать их своими помощниками. Для политрука Зои Воскресенской работа в детской колонии была продолжением гражданской войны, была войной за то, чтобы выпрямить эти искалеченные детские души, вдохнуть в них веру в то великое дело, за которое дрались и погибали их отцы.

Вот тогда-то и возникла та невидимая, но крепчайшая нить, которая соединяет подлинного детского писателя со своим читателем. Мне кажется, что именно тогда, в частых и живых рассказах молодой комсомолки, и рождался будущий детский писатель... Зоя Воскресенская рассказывала детям о гражданской войне, о подвигах красноармейцев, о Буденном и Чапаеве... И, как умела, она отвечала на вопросы детей о Ленине. Книг о Ленине тогда почти не было, и молодой политрук вырезала из журналов и газет все, что писалось о Ленине, о его жизни и деятельности. Могла ли она тогда предполагать, что наступит время и она будет изучать жизнь Ленина не по газетам, а пойдет по следам этой великой жизни, будет беседовать с людьми, хорошо знавшими Владимира Ильича, выискивать в архивах неизвестные ранее материалы о Ленине и его близких... И могла ли она тогда думать, что через десятки лет станет рассказывать о Ленине не нескольким десяткам детей, а десяткам миллионов — советским, монгольским, немецким, чешским, венгерским, итальянским детям...

Но всему этому суждено было осуществиться не скоро. Многие годы, общаясь со старыми большевиками, бывая в разных странах, Зоя Воскресенская все свободное время посвящала тому, чтобы посетить те места, где жил Ленин, где он работал, подготавливая со своими соратниками будущую революцию. У Зои Ивановны Воскресенской накопилось немало тетрадей, исписанных рассказами людей, знавших Владимира Ильича: рабочих, рыбаков, литераторов, политических деятелей...

И тогда — уже обогащенная огромным запасом жизненных наблюдений и встреч — она снова вернулась к тому, что ей так хотелось сделать в то далекое время, когда она была политруком детской колонии: ей захотелось рассказать детям о Владимире Ильиче Ленине. Нелегко в зрелые годы начинать литературную жизнь! И начинать ее с самого ответственного и сложного — с образа Ленина! Но когда в журнале «Юность» были опубликованы рассказы о Владимире Ильиче, подписанные никому еще не известной фамилией — Зоя Воскресенская,— стало очевидным, что в большой советской литературе, посвященной Ленину, появился новый талантливый писатель. Во всех книгах Воскресенской, посвященных Владимиру Ильичу, Ленин предстает живым, нетерпеливым, жадным до людей — каким он и был в жизни. Писательнице интересно проследить прочные связи, соединявшие Ленина со множеством людей вокруг него, его огромную человечную заинтересованность в тех, с кем он общался.

«Сквозь ледяную мглу» — цикл рассказов, которым открывается этот том, говорит о жизни и самоотверженной работе Владимира Ильича Ленина и Надежды Константиновны Крупской в годы первой русской революции. Любопытно отметить, и это характерно для всего творчества писательницы, что созданию рассказов предшествовала ее большая исследовательская работа не только в архивах, но, главным образом, в поисках и расспросах живых еще тогда свидете-

лей событий. Писательница сама побывала в местах, где жил Владимир Ильич, прошла по всему пути, по которому уходил Владимир Ильич в 1907 году во вторую эмиграцию. И все это для того, чтобы в живописных картинах раскрыть скупые строчки из биографии Ленина того периода.

Повесть «Утро» посвящена наиболее яркому и напряженному периоду в жизни Ленина и в истории нашей революции — подготовке и проведению Октябрьского вооруженного восстания рабочих и крестьян против власти капиталистов и помещиков. С великим вниманием и любовью рисует Зоя Воскресенская неразрывную связь Ленина с рабочим классом, показывает, как в условиях жесточайшего преследования контрреволюционного Временного правительства Владимир Ильич, ежечасно рискуя жизнью, вынужденный скрываться в подполье, продолжает свою великую организаторскую и идейную борьбу по сплочению революционных сил партии и народа ради победы социалистической революции. Особенно впечатляют страницы повести, в которых показано, как передовые рабочие Питера самоотверженно и любовно защищают и охраняют жизнь своего вождя...

Нет для писателя более трудной и в то же время более радостной работы, чем идти по непроторенной дороге, писать о том, о чем еще никто не писал... Зое Воскресенской в ее писательской судьбе выпало это редкое и трудное счастье. Она впервые воссоздала для советского читателя образ замечательного человека, матери революционеров, матери Ленина — Марии Александровны Ульяновой. В повестях «Сердце матери» и «Встреча» встает обаятельный образ женщины великой нравственной силы, непоколебимого мужества. И внимательный читатель увидит в этих произведениях, как ненавязчиво и убедительно показывает писательница морально-нравственные устои семьи Ульяновых—семьи, как бы пришедшей к нам из коммунистического будущего и несущей в себе черты нового человека.

Огромен был резонанс этих книг Зои Воскресенской,

переизданных на многих языках братских народов у нас и за рубежом. По повестям Зои Воскресенской были поставлены кинокартины, имевшие огромный успех, а сама Зоя Воскресенская удостоена Государственной премии СССР.

Здесь уместно охарактеризовать еще одну грань дарования писательницы. «Весомое, зримое» слово ее художественной прозы заняло по праву достойное место в кино, и потому не случайно имя кинодраматурга З. И. Воскресенской значится на титрах таких широкоизвестных картин, как «Сердце матери», «Верность матери», «Надежда», а кинолента «Сквозь ледяную мглу» представляет собой экранизацию одноименного цикла рассказов.

Продолжая свою работу писателя-исследователя, Зоя Воскресенская обращается к такой важной и ответственной теме, как биография Надежды Константиновны Крупской. Писательницу интересует, каким образом из девочки-подростка, выросшей в семье офицера, выковывается необыкновенная по своей значительности и скромности личность Надежды Константиновны Крупской — жены и соратника Ленина. Мы, читатели, впервые встречаем в нашей художественной литературе образ отца Крупской — Константина Игнатьевича, человека доброго, принципиального, не отступающего ни в чем от своих нравственных убеждений. Это был человек драматической судьбы, и нам становится понятным, как в черное время реакции, наступившей после разгрома «Народной воли», выросла свободолюбивая, полная веры в людей революционерка, прошедшая с Лениным весь его великий жизненный путь.

Конечно, произведения Зои Воскресенской, посвященные Ленину, имеют самую широкую читательскую аудиторию. Они в одинаковой степени интересны читателям всех возрастов — от детей до стариков. И все же Зоя Воскресенская принадлежит в первую очередь детскому читателю. Общеизвестны слова великого русского критика Белинского, что детским писателем надо родиться... Писательское дарова-

ние Зои Воскресенской убеждает в этом. Интерес к детям сопутствует ей всегда и во всем, о чем бы она ни писала. В драматическом рассказе о том, как Владимир Ильич по льду Финского залива уходит во вторую эмиграцию, уделяется теплое и пристальное внимание детям финского рыбака. А рисуя широкое полотно революционных событий в Питере, писательница создает образ рабочего мальчишки Ромки, чье детство уже опалено революционной грозой.

Писательница, всей душой преданная историко-революционной теме, в своем творчестве непосредственно вторгается в мир детства нашего современника, с любовью всматривается в интересную, веселую, полную значительных событий жизнь советского ребенка. Небольшая повесть «Зойка и ее дядюшка Санька» искрится непосредственным живым весельем детства. Тонкое понимание психологии маленького ребенка проявляет писательница в рассказах «Ленивое солнце», «Первый дождь», «Городская булочка» и др.

Образы юных помощников партии на разных этапах революции и вплоть до наших дней нашли свое яркое воплощение в цикле рассказов «Ястребки», по-настоящему полюбившимся нашим ребятам. Многие эпизоды в этом цикле связаны с жизнью современной пионерии. Писательницу, как и всех других литераторов, посвятивших свое дарование детям, живо интересуют проблемы патриотического, нравственного становления характера юных советских граждан. Любовь к Родине, жажда подвига, верность пионерскому знамени, честность и доброта, поиск своего места в трудовой жизни народа — таковы благородные черты, присущие советским ребятам — героям этих маленьких рассказов.

Особое место в творчестве Зои Воскресенской занимает большая повесть «Девочка в бурном море». Действие повести происходит не в Советском Союзе, а за границей, в буржуазной стране, куда героиня книги попадает вместе с отцом — служащим советского представительства. Глазами

пионерки переданы ощущения советского человека, непосредственно сталкивающегося с капиталистической действительностью. Девочка, со смешным прозвищем Антошка, волей судьбы оказалась за пределами Родины в самое драматическое время, когда фашисты напали на нашу страну. Она переживает множество событий, переносит немало опасностей. Но не только это занимает наше внимание, еще и еще раз убеждаешься в том, какими крепкими, устойчивыми оказываются взгляды, воспитанные в советском человеке с самого его детства. Антошка понимает, что такое классовый враг и что такое фашизм, она убеждается и в силе интернационального братства рабочих, в силе коммунистических идей.

Повесть «Девочка в бурном море» интересна еще и тем, что впервые показывает события военного времени не на фронтах войны и не в тылу врага, а в нейтральной Швеции, в союзной Англии, на морях Атлантики и Ледовитого океана. Конвой морских судов, на котором находятся Антошка и ее мать, сквозь штормы, минные поля, отражая нападения вражеских самолетов и подводных лодок, следует в Советский Союз...

Немного сравнительно лет прошло со времени выхода первой книги писательницы. Трехтомное собрание сочинений наглядно показывает, каким огромным, неустанным творческим трудом были наполнены эти годы писательской жизни Зои Воскресенской. Написанные «по велению сердца», произведения Зои Воскресенской продолжают славные традиции советской детской литературы.

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ,
Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии

СКВОЗЬ ЛЕДЯНУЮ МГЛУ

Рассказы



КАРПОВ

БЕССОННАЯ НОЧЬ

Ветер ворвался в Летний сад, сдернул снеговые шапки с мраморных фигур, взъерошил сугробы на аллеях и покатил клубы снежной пыли через Фонтанку. На Пантелеймоновской улице раскачал фонарь, и узкий луч света, пробегая по церковной стене, вырвал из темноты буквы, начертанные древнеславянской вязью: «Сей храм воздвигнут в царствование императора Петра Великого».

На колокольне церкви святого Пантелеймона зазвонил колокол. Эхом откликнулись часы в столовой.

Надежда Константиновна отняла от книги зажатую в пальцах булавку и прислушалась.

— Восемь... девять... десять...— шепотом считает она.— Десять часов. Скоро должен вернуться Ильич.

И снова под быстрыми пальцами замелькали буквы. Кончик булавки на мгновение прилипает к бумаге и, отрываясь с легким треском, перелетает от строки к строке. Большие, чуть близорукие глаза напряженно следят за булавкой. Получат товарищи эту книжку с ярко раскрашенной обложкой, просмотрят на свет страницы и по еле заметным наколотым точкам выпишут буквы. Буквы расположат по шифровальной таблице и прочтут ленинский наказ: изучить опыт борьбы прошлого, 1905 года, снова уйти, где надо, в подполье, готовиться к новым боям.

В дверь постучали.

Надежда Константиновна проворно приколола булавку к блузке, подперла голову руками и погрузилась в «чтение».

— Войдите!

В дверь бочком вошла хозяйка и с елейной улыбочкой осведомилась, не угарно ли, не желает ли квартирантка чая — самовар только что вскипел.

— Благодарю,— отвечает Надежда Константиновна, закрывая книгу.— Я подожду мужа. Он пошел к приятелям сыграть в преферанс.

Хозяйка проверяет, хорошо ли задвинута вьюшка в печке, и с любопытством смотрит на книжку.

— «Ожерелье испанской королевы»,— читает она.— Наверное, весьма занимательная вещица, не одолжите ли почитать?

Квартирантка с сожалением отказывает — завтра утром должна вернуть эту книжку знакомой даме и сама спешит ее закончить.

Хозяйка вздыхает:

— Жаль! — Но уходить не собирается. Ей скучно, и она не прочь поболтать.— До чего фамилия у вас завидная,

Прасковья Евгеньевна. Я уж думала, вы и впрямь приходитесь дочкой Евгению Онегину. Но моя кузина высчитала, что Онегину было бы сейчас лет сто, а ведь вам всего лет тридцать пять, не более... Да и не дал бы, я думаю, Евгений Онегин своей дочери такое простонародное имя — Прасковья.

— Да, да, конечно,— спешит согласиться Надежда Константиновна.

— Околоточный рассказывал,— продолжает хозяйка,— что сам пристав интересовался, откуда завелась у него в околотке дочка Онегина. Околоточный даже и не слыхал, что жил на свете знаменитый Евгений Онегин.

— Я тоже не слыхала, что он жил. Это пристав выдумал,— говорит Надежда Константиновна и с тревогой думает, что по такому паспорту долго не продержишься. Угораздило же товарищей добыть ей паспорт на имя Прасковьи Евгеньевны Онегиной. И вот теперь эта дотошная барынька проявляет такое опасное любопытство...

Хозяйка собирается еще что-то спросить, но понимает, что разговора не получится, и так же бочком, бесшумно выползает из комнаты.

Надежда Константиновна вновь принимается за работу.

Письмо закончено. Поднеся раскрытую книжку совсем близко к лицу, она придирчиво просматривает страницы, ощупывает строчки. Сделано хорошо, охранка едва ли сможет обнаружить наколотые страницы. Надежда Константиновна прячет законченную работу в ридикюль.

Теперь надо разобрать и прочитать прибывшую почту. Она достает письма из глубоких карманов длинной суконной юбки, внимательно прочитывает каждое. Отдельные куски заучивает наизусть для Ильича, заучивает, как в детстве, закрыв глаза, чуть шевеля губами.

Одно письмо привлекает ее особое внимание. Дата в углу — «Февраль 1906 года» — подчеркнута волнистой чертой. Это условный знак: письмо содержит тайнопись. «При-

дется опять гладить блузку»,— усмехается Надежда Константиновна, прячет письма в карманы: прочитанные — в левый, непрочитанные — в правый, и идет на кухню.

Услужливая хозяйка сама накладывает в утюг древесные угли, зажигает пучок сухих лучинок и ставит утюг в печную отдушину.

— Вы слыхали,—говорит она злопыхательно,— в нашем доме власти только что забрали двух курсисток... Социалисточки! Подумать только, какие бесстыжие! Поскорее бы расправились со всеми этими смутьянами, тогда бы нам, честным людям, жилось спокойнее.

— Сомневаюсь, что нам от этого легче будет,— замечает Надежда Константиновна и изо всех сил дует в поддувало утюга.

— Уверяю вас, мадам, можете не сомневаться!

Надежда Константиновна забирает утюг, сквозь круглые отверстия которого светятся разгоревшиеся угли, наливает чашку чая из остывшего самовара и, пожелав хозяйке спокойной ночи, уходит к себе в комнату.

Дверь запирает на крючок. Прежде всего надо спрятать заметки Ильича к съезду. Жандармы могут припожаловать и сюда, а рукопись во что бы то ни стало надо сохранить...

В ридикюле у нее всегда несколько книг для зашифрования писем, для хранения рукописей. «Хранилища» они изобрели вместе с одним партийцем-переплетчиком.

Надежда Константиновна берет книгу Свифта «Гулливер в стране лилипутов», осторожно отдирает золоченый коленкор с переплета и вытаскивает толстый картон. Вместо картона вкладывает рукопись Ленина, приклеивает коленкор и прячет книгу в ридикюль. Теперь рукопись в безопасности.

Она стелет на столе полотенце, поверх кладет письмо, расправляет его и легонько прижимает горячий утюг к листку. Еще и еще раз. И вот цифры еле заметными ржавыми точками проступают между строками письма.

«Какой же ключ к этому шифру?» Дата подчеркнута волнистой чертой... Ах, да! «Горные вершины спят во тьме ночной».

Надежда Константиновна — секретарь Центрального Комитета партии. Она держит связь с многочисленными организациями, и ей надо многое помнить: десятки ключей к шифрам, рецепты тайнописи, многочисленные адреса явочных квартир, пароли, псевдонимы... И все это хранить в памяти — бумаги могут подвести.

Товарищи пишут из Сибири. В далекую ссылку приходят тягостные вести. Московское Декабрьское восстание потерпело поражение. Подавлены восстания рабочих в Нижнем Новгороде, в Перми, пала «Новороссийская республика». Революция докатилась до Сибири. В Красноярске и Чите власть перешла в руки Советов рабочих депутатов. Но и там выступления рабочих были жестоко подавлены. «Значит, революция разбита? Все потеряно? Существует ли еще партия?» — спрашивают товарищи.

Надежда Константиновна понимает, что люди теряют перспективу и, что еще страшнее, теряют веру в победу. Надо немедленно ответить. Она утюжит серенькую блузку, отделанную черной тесьмой,— чтобы хозяйка утром увидела ее наглаженной — и думает над ответом.

Письмо получается большое. По внешнему виду оно пустяковое, домашнее, цензура на него не обратит внимания. Но между его строчками химическими чернилами написано многое... Революция, дорогие товарищи, не закончилась. Пролетариат не сложил оружия, в деревне продолжаются крестьянские волнения, неспокойно и в армии, особенно на флоте. Партия продолжает работу. Партия существует и погибнуть не может. Никогда! Нет такой силы, которая могла бы уничтожить партию пролетариата, так же как нет силы, которая смогла бы погасить солнце. Ильич не сомневается в революционной способности рабочего класса довести борьбу до конца...

Часы в столовой ударили один раз. Больно сжалось сердце. Сколько это может быть? Половина первого? Час? Половина второго? «Наверное, только половина первого»,— утешает себя Надежда Константиновна. Сегодня у Ильича жестокая схватка с меньшевиками. Обсуждается вопрос: как привлечь мужика к революции, может ли рабочий класс повести за собой крестьянство.

Владимир Ильич все утро готовился к этой схватке. Разойтись должны не позднее одиннадцати, но его нет. Видно, опять увязались за ним шпики и он кружит по улицам, чтобы оторвать «хвост»...

«Придет, с минуты на минуту явится». Надежда Константиновна спускает за шнур висячую лампу, прикручивает фитиль и задувает огонь: хозяйка не должна знать, что она не спит, окно в комнате не должно светиться в поздний час.

Из черной пасти неба сыплет и сыплет снег, покрывает улицу белым пологом.

С визгом пронеслись мимо дома санки. Проскакал полицейский патруль.

Прислонившись к косяку окна и закрыв глаза, Надежда Константиновна вслушивается в звенящую тишину...

Под самым окном по скрипучему снегу чьи-то быстрые шаги. Она не открывает глаз — это не он, не его шаги. Его шаги она узнает из тысячи.

«А ведь Володя ушел без теплого жилета»,— вдруг вспоминает Надежда Константиновна и подходит к шкафу. Осторожно открывает дверцу — чтобы не скрипнула — и шарит в темноте руками. Нащупывает пушистую, мягкую шерсть — этот жилет она купила ему два года назад в Женеве. «Как это я просмотрела? — досадует она.— На улице такой сильный мороз».

Мысли все тревожнее, сердце бьется беспокойнее.

«Надо переключиться на что-нибудь другое, думать о радостном...»

Восемь лет назад она поехала с матерью в село Шушенское, к Владимиру Ильичу, отбывать вместе с ним и свою ссылку. Очень волновалась. Больше всего боялась первой минуты встречи. Везла ему в подарок керосиновую лампу под зеленым абажуром и страх как берегла, чтобы не разбить в дороге. Все шесть тысяч верст в руках везла.

В майский солнечный день преодолели последний этап пути. Сошла с повозки торжественная, с лампой в руках. В избах распахнулись окна, и во всех окнах любопытные лица. Только в доме Зыряновых окна были закрыты. Всеведущие мальчишки сообщили, что Владимир Ильич ушел на охоту и будет поздно вечером.

Было немножко неловко и ужасно смешно: невеста приехала, а жениха дома нет. Виноват же во всем был Енисей — взломал льды, разлился весенним морем, вот и сидели с мамой у этого моря и ждали, пока оно в речные берега войдет...

Вечером спрятались в комнате хозяев, узлы и корзины сдвинули в угол и накрыли рядном. Владимир Ильич взбежал на крыльцо, распахнул дверь и остановился, вглядываясь в загроможденный угол. Подошел хозяин и что-то стал объяснять.

Надежда Константиновна стояла за перегородкой затаив дыхание. Потом не выдержала, вышла на цыпочках в комнату и закрыла ему глаза ладонями. «Надюша!» — прошептал он радостно...

Часы пробили пять раз. Пять часов утра. Неужели арестован? Надо ждать, терпеливо ждать, уговаривает она себя и снова вспоминает.

...Вечером на следующий день собралась вся шушенская компания: ссыльные Оскар Энгберг и Проминский со своим многочисленным семейством.

Владимир Ильич зажег лампу под зеленым абажуром и все время поглядывал на нее.

Надежда Константиновна рассказывала о Питере. Потом

пели песни. Владимир Ильич попросил ее почитать стихи. Как хорошо в тот вечер звучали знакомые с детства стихи Мицкевича:

Ну, руку в руку! Шар земной
Мы цепью обовьем живой!
Направим к одному все мысли и желанья,
Туда все души напряжем!
Земля, содвинься с основанья!
На новые пути тебя мы поведем...

Бьет церковный колокол.

Ему вторит звон часов в столовой.

Надежда Константиновна мысленно обходит явочные квартиры и места ночевок, куда бы мог пойти Ильич. Отовсюду дали бы знать. Значит...

«Да нет же, нет! — отмахивается она от мрачных мыслей.— Напрасно беспокоюсь. Мало ли что могло задержать... Придет и подробнейшим образом «доложит», как разбивал доводы Мартова и Дана, и с каким волнением при голосовании чуть ли не вслух считал поднятые руки, и как обрадовался, увидев, что его резолюция получила большинство».

Холодный рассвет заползает в комнату, окрашивает все в мертвенно-серый цвет. Заскрежетала лопата дворника по мерзлой панели. Послышались первые звонки конок. Квартира оживает. Слышно, как кухарка шлепает босыми ногами по крашеному полу, гремит самоваром. Хозяйка что-то сердито выговаривает домочадцам. По квартире разносятся утренние запахи — от лучинок, которыми разжигают самовар, гуталина, туалетного мыла.

Прошлась по комнате, невзначай глянула в зеркало и нахмурилась: за ночь осунулась и побледнела. «Так не годится»,— попрекает она себя и идет умываться. Холодная вода освежает.

«Ждать буду до девяти, а потом поеду к Книпповичам, посоветуюсь, как быть»,— решает она. Выпивает холодный

чай, покрывшийся сизой дымкой, вырывает из тетради лист бумаги и, постукивая пером о стеклянное дно чернильницы, думает над содержанием записки.

Аккуратным, четким почерком пишет: «Ушла к подруге, буду после двенадцати. Не скучай». Откалывает от блузки булавку, которой ночью шифровала письмо, и прикрепляет записку на видном месте к тюлевой занавеске. Это больше для любопытной хозяйки, чем для Ильича. Она уже понимает: Ильич сюда больше не придет.

В окно шлепаются снежки. Один, второй, третий. Кто-то бросает их меткой рукой.

— Кто это? Неужели он? — шепчет Надежда Константиновна и, еле сдерживая стремительный шаг, идет открывать дверь в подъезде.

Пальцы липнут к железу — видно, сильный мороз — и не справляются с толстым крюком.

— Сейчас, сейчас,— говорит она, обжигая пальцы о железо.

Наконец крюк отброшен, она распахивает дверь: на пороге парнишка в куртке не по росту, в треухе, за плечами на палке болтается пустой мешок.

— Старье берем, шурум-бурум принимаем,— блестя темными глазами, произносит заученные слова парнишка. Заметив озабоченный вид Надежды Константиновны, он спрашивает: — Не помните? Я — Ромка, ястребок. Я вас знаю, вы в Подвижном музее работаете.

— Тс-с-с!..— прикладывает к губам палец Надежда Константиновна.— Проходи в комнату.

Ромка сбивает с валенок снег и идет за ней.

— Конечно, я сразу тебя узнала, Роман. Случилось что-нибудь? — не может скрыть тревоги Надежда Константиновна.

— Да вы не беспокойтесь,— чуть слышно говорит он,— дядя Ефим велел сказать, что все в порядке. И письмо вам есть. В валенке. Сейчас достану...— Ромка снимает с ноги

огромный подшитый валенок.— Вот,— протягивает он слегка измятый и теплый конверт.

Непослушными пальцами Надежда Константиновна отрывает кромку конверта, вытягивает небольшой листок.

— «Уважаемая Прасковья Евгеньевна! — читает она.— Погода у нас прескверная. Пришлось покупать новые валенки, чтобы не отморозить ноги. Очень беспокоимся о Вашем здоровье. Ждем Вас сегодня к нам. Привезите с собой синюю с белым хрустальную вазу»... Синюю с белым хрустальную вазу...— повторяет Надежда Константиновна, и Ромка видит, как радостно засветились ее глаза.

«Какое счастье,— думает она,— жив, не арестован. Слежка была упорная. Пришлось скрыться в Финляндию... Ждет меня на даче «Ваза».

— Спасибо, дружок, спасибо,— пожимает она мальчику руку.— Как ты добрался сюда? «Хвост» за собой не заметил?

— Что вы? Разве я маленький? — отвечает Ромка.— С «хвостом» я бы сюда не пришел.

Надежда Константиновна достает из дорожной сумки книгу «Ожерелье испанской королевы».

— Передай Ефиму Петровичу. Сейчас же. А вот эту возьми себе.— Она протягивает Ромке книгу в красном переплете, украшенном цветами и фигурками. В золотом кругу крупными буквами вытиснено: «Сочинение Жюля Верна. Таинственный остров».

Ромка полистал книгу и прижал ее к себе — картинок в ней много, и все такие занимательные!

— Интересная?

— По-моему, очень интересная книга. В детстве я прочла ее два раза подряд не отрываясь.— Надежда Константиновна довольна, что подарок понравился.

— Насовсем? — с надеждой спрашивает Ромка.

— Да, да, конечно.

Мальчик осторожно засунул обе книги за пазуху.

— Спасибо, я побежал,— вдруг заторопился он.

— Тебе спасибо,— отозвалась Надежда Константиновна.— Передай привет Ефиму Петровичу, скажи, что вазу привезу сегодня же.

Ромка уходит. Надежда Константиновна укладывает в саквояж вязаный жилет Владимира Ильича, серенькую блузку, отделанную черной тесьмой, и разную мелочь.

«Вот и все наше имущество,— думает она.— Хорошо! Вещи приковывают человека к месту, мешают чувствовать себя свободным».

*

Надежда Константиновна вышла из поезда на станции Куоккала. Ослепительно сияло солнце, отраженное в снегах. По дымчатому снежному полю до леса яркой белой лентой вьется тропинка. Сверху сыплется сверкающая пыль инея. Вокруг потеплевших стволов деревьев голубые лунки—предвестники весны.

В лесу притаилась тишина.

Небольшой деревянный дом, укрытый под мохнатыми соснами, выглядит сегодня нарядно: шапка снега над башней-верандой и нависшие над окнами снежные карнизы придают ему сказочный вид.

Владимир Ильич увидел Надежду Константиновну из окна и вышел ей навстречу.

— Наконец-то! Ты волновалась, не спала? — заботливо спрашивает он.

— Нет, нет, спала, как сурок. Рано утром меня разбудил Ромка, принес письмо от Ефима Петровича. Я все знаю.— Надежда Константиновна прислушалась.— У тебя уже народ?

— Да, работаем над тактической платформой к съезду. Заходи, поможешь.

Надежда Константиновна вынула из сумки Свифта.

— Здесь твои заметки.



— В Гулливере? Очень кстати.

Владимир Ильич провел Надежду Константиновну в столовую.

Она хотела остаться незамеченной и присела на свободный стул в углу комнаты, но ее окружили товарищи, шумно приветствовали.

Она не любила быть в центре внимания, стеснялась, сердилась на свою застенчивость и от этого смущалась еще больше. Владимир Ильич пришел ей на выручку.

— Итак, продолжим,— пригласил он товарищей.— Мы пришли с вами к выводу, что главной политической задачей пролетариата, нервом всей его работы, душой всей его организационной классовой деятельности должно быть доведение до конца демократической революции. Отсюда главная политическая задача партии — подготовка сил и организация пролетариата к вооруженному восстанию...

Владимир Ильич поднялся из-за стола, провел ладонью по темени снизу вверх и, подняв руку, восхищенно воскликнул:

— За пролетариатом поднимется широкая народная масса, и эти силы доведут до полной победы буржуазно-демократическую революцию, они откроют эпоху социалистического переворота на Западе. Каково? — рассмеялся он счастливым смехом.— Подумайте только, товарищи, ведь теперешнее мрачное спокойствие — это затишье перед бурей. Контрреволюция торжествует. Но конец этого торжества близок. Над миром поднимается красная заря, грядет пролетарская революция, и она победит, непременно победит, товарищи... Ну-ну,— остановил он весело зашумевших товарищей,— немножко помечтали, хорошо помечтали, а теперь давайте рассмотрим нашу следующую резолюцию — об отношении к Государственной думе... Думу мы признаем не парламентом, а полицейской канцелярией и отвергаем какое бы то ни было участие в комедиантских выборах... Здесь нам тоже придется подраться с меньшевиками...

Питерские большевики сидели за большим обеденным столом, покрытым суровой скатертью. Перед каждым — тетрадь с записями. Подготовка к Объединительному съезду в полном разгаре. У рабочего класса должна быть единая партия с единой программой действия — программой большевиков.

ГОСТИ

Владимир Мартынович пришел с работы чем-то озадаченный и смущенный. Это не укрылось от зоркого глаза матери, которая, как всегда, встретила сына в передней.

Он поцеловал матери руку и стал сосредоточенно очищать веничком снег с воротника пальто и котелка.

Виргиния Карловна стояла перед ним с полотенцем в руках.

— Нагнись, Вольдемар, я вытру тебе лицо и очки, ты совсем мокрый.

Владимир Мартынович покорно склонил голову. Виргиния Карловна, приподнявшись на цыпочки, осторожно сняла запотевшие очки и протерла в них стекла.

Высокий, сутуловатый Владимир Мартынович беспомощно смотрел на мать. Без очков он не видел даже ее лица.

— Мой милый, большой ребенок,— вздохнула Виргиния Карловна, вытирая жестким полотенцем мокрые щеки сына.— У тебя опять какая-то сложная задача, но ты мне расскажешь, когда хорошенько поешь. Обед готов.

Виргиния Карловна, маленькая, очень полная женщина с пышным валиком седых волос вокруг головы, быстро и легко сновала из кухни в столовую и обратно. Владимир Мартынович вымыл руки и сел за стол. Мать заправила ему за ворот салфетку и насыпала в тарелку розовых шуршащих креветок.

— Сегодня опять два чемодана «тетушек» принесли,— сказала мать,— я велела поставить их за фисгармонию.

— Лучше бы под мою кровать,— возразил он.

— Бомбы под твою кровать! — всплеснула руками Виргиния Карловна.

— Да, от глаз подальше. И это вовсе не бомбы, а «тетушки».

— Извини. Ну, а теперь рассказывай, что тебя смущает, о чем ты меня хочешь просить,— сказала Виргиния Карловна после того, как Владимир Мартынович, поглощенный своими мыслями, рассеянно съел суп и снова принялся за креветки.

— Матушка, у нас сегодня будут гости. Очень важные гости.

— Много?

— Двое. Один—это писатель Алексей Максимович Горький.

— Разве он такой важный?

— Это высокий гость. Второй — очень дорогой мне человек. Он в нашей партии... ну, как бы вам, матушка, объяснить,— задумался Владимир Мартынович,— он в партии играет такую же роль, как полководец на поле сражения.

— Генерал вроде,— заметила Виргиния Карловна, улыбаясь.

— Я прошу вас приготовить ужин. Этот партийный товарищ — ну, генерал, как вы сказали,— останется у нас ночевать. Я пойду его встретить, а Алексей Максимович придет попозже. За ними обоими охотится царская полиция.

— Не беспокойся, Вольдемар, я сумею принять этих людей.

Владимир Мартынович ушел. Виргиния Карловна принялась хлопотать по хозяйству.

Несколько лет назад Владимир Смирнов, тогда еще студент Петербургского университета, пришел однажды домой и торжественно объявил своей матушке, что наконец он на-

шел цель в жизни и отныне все свои духовные и физические силы посвящает рабочей революции. Виргиния Карловна привлекла к себе сына и подумала: «Я знала, что моему утенку суждено стать лебедем», а вслух сказала: «Я с тобой, сынок». И первый адрес явочной квартиры и пароль Виргиния Карловна спрятала под валиком своей пышной прически.

Владимир Мартынович после исключения его из университета за участие в студенческих «беспорядках» обосновался в Гельсингфорсе — так посоветовали товарищи — и стал работать в университетской библиотеке.

Жили вдвоем с матерью. По вечерам на Елизаветинской улице слышались мелодии старинных романсов, и соседи знали, что почтенная «Виргиния Смирноф» со своим сыном Вольдемаром в четыре руки играет на фисгармонии. И сам полицмейстер города Гельсингфорса высмеял бы всякого, кто стал бы утверждать, что русский библиотекарь Владимир Смирнов и его добродушнейшая матушка занимаются опасной революционной деятельностью.

Смирнов—революционер? Невозможно себе представить. О рассеянности Владимира Мартыновича рассказывали анекдоты. Его зонтики, тросточки, галоши много раз побывали в камере забытых вещей. Когда же Виргиния Карловна уезжала в гости к родственникам, посетители библиотеки могли по свитеру библиотекаря узнавать, четный или нечетный день сегодня. По четным дням он носил свитер налицо, а по нечетным — наизнанку. Без матери ему некому было выворачивать свитер, когда он на ночь стягивал его с себя.

Но партия высоко ценила конспиративные навыки Владимира Мартыновича. Именно Смирнову поручили подыскать надежные конспиративные квартиры для Владимира Ильича. Смирнов изготовлял «железные» документы для Ленина. Организованные им переправы нелегальной литературы из Швеции через Финляндию в Россию действовали четко и никогда не проваливались. В библиотеке и на квар-

тире Смирновых в революцию пятого года хранились бомбы, бикфордовы шнуры, оружие, патроны. Его квартира использовалась для самых ответственных конспиративных встреч.

Товарищи рассказывали, как однажды Владимир Мартынович израсходовал на партийные дела, связанные с транспортом нелегальной литературы, все свои сбережения и сбережения Виргинии Карловны. Когда товарищи из партийного комитета хотели возместить его расходы, Владимир Мартынович не на шутку обиделся: «Я посвятил революции жизнь, так зачем же говорить о деньгах...»

Владимир Мартынович был пунктуален, осмотрителен, когда это касалось партийных дел, и весьма рассеян и небрежен в отношении к себе самому.

Виргиния Карловна нередко носила в корзинах с овощами и листовки, и бомбы, останавливалась передохнуть рядом с полицейским и не отказывалась от его помощи поднести тяжелую корзину.

Жизнерадостную, приветливую Виргинию Смирнову хорошо знали в Гельсингфорсе, и, выходя из дома, она едва успевала раскланиваться с прохожими.

А сейчас она волновалась. Придется ли по вкусу высоким гостям ее стряпня? Какое вино они пьют? На всякий случай выставила на столе водку, коньяк и даже бутылку французского шампанского. И букет фиалок подобрала в цветочном магазине и устроила их в низкую, янтарного оттенка вазу. Не забыла поставить на стол тяжелые шандалы с толстыми свечами. А затем принялась устраивать постель. Перетащила на кровать сына свою перину, взбила белоснежные подушки, теплое одеяло засунула в прохладный, шитый ришелье пододеяльник. Для сына положила в кабинете плед и подушку.

И, когда все было готово, надела парадное темное платье с туго накрахмаленным воротничком, а к волосам приладила кружевную наколку. Взыскательным взглядом осмотрела

стол, зажгла свечи, выключила электричество, проверила — плотно ли задернуты портьеры на окнах.

В девятом часу раздался условный звонок.

Виргиния Карловна распахнула дверь, сделала книксен.

— Велькоммен! Добро пожаловать!

Вместе с Вольдемаром вошел невысокого роста молодой человек с улыбчивыми живыми глазами, лысый, весь еще в не растаявших снежинках, румяный от холода.

— Здравствуйте, Виргиния Карловна, извините за столь позднее вторжение.

Виргиния Карловна перевела вопрошающий взгляд на сына: «Где же генерал?»

— Познакомьтесь, матушка, наш дорогой гость,— только и сказал Вольдемар.

И Виргинии Карловне захотелось взять полотенце и вытереть свежее и мокрое от снега лицо гостя и приголубить его, как сына.

— Проходите,— пригласил Смирнов Владимира Ильича в столовую.

Владимир Ильич перешагнул порог и развел руками.

— Я, кажется, пришел не вовремя. У вас какой-то праздник? Вы ждете гостей?

— Мы ждали вас,— сказала Виргиния Карловна.— Чем богаты, тем и рады.

Владимир Ильич, взглянув на количество бутылок на столе, так весело рассмеялся, что и хозяйке стало смешно.

— Сын сказал, что придут важные гости — писатель и генерал вроде, вот я и накрыла стол по-генеральски,— простодушно сказала она.

— Это я-то генерал! — Владимир Ильич кинулся в кресло и залился таким звонким смехом, что разбудил канарейку.

Торжественная напыщенность, не свойственная Смирновым и тем более Ильичу, насмешила всех. И этот дружный хохот сразу сблизил всех троих; Ильич почувствовал себя

вдруг удивительно уютно в этом доме, как чувствовал только у матери.

Алексей Максимович опаздывал. Владимир Ильич поглядывал на часы, Владимир Мартынович тоже волновался: Горький уже познакомился в прошлом году с одиночной камерой в Петропавловской крепости и сейчас ему снова грозил арест.

Наконец раздался долгожданный звонок.

Горький явился весь запорошенный снегом, на моржовых усах наросли льдинки.

— Полтора часа кружил по улицам, отрывал от себя «хвост», но, кажется, пришел чисто.

— Я сейчас проверю,— со знанием дела сказала Виргиния Карловна, накинула шубу, повязала платком голову и вышла.

Вскоре она вернулась с охапкой коротких поленьев для камина.

— Вольдемар, разожги камин, чтобы видели, что я не зря за дровами ходила — из трубы дым повалил. Два каких-то соглядатая бродят вокруг дома.

Владимир Мартынович поймал встревоженный взгляд Ильича.

— Пойду «очищу» улицу,— невозмутимо произнес Владимир Мартынович, но заикался сильнее обычного, и мать поняла, что волнуется.

Она заправила сыну шарф на шее и задержала свои руки у него на груди: спокойно, мол, спокойно, сынок.

— Как же Владимир Мартынович будет «очищать» улицу? — поинтересовался Алексей Максимович.

— Он, наверно, пошел к товарищам, чтобы они сняли шпиков и поставили свою охрану,— сказала Виргиния Карловна, как о само собою разумеющемся.

Понимая, что гостям надо поговорить о делах, хозяйка предложила им перейти в кабинет Владимира Мартыновича, где она приготовила кофе.

— А я посижу в столовой, поиграю на фисгармонии. Пусть слышат, как я гостя развлекаю.

Владимир Ильич с чувством пожал пухлую руку хозяйки.

— Удивительный народ — матери,— сказал он, когда они расположились с Горьким в кабинете.— Какое тонкое чувство такта, понимание и бесконечная доброта! Замечательные люди!

В столовой запела фисгармония.

Горький стоял, прислушивался, жадно затягиваясь папиросой.

— Я, Владимир Ильич, задумал писать книгу о матери. Надеюсь написать ее за время своего путешествия в Америку. Книгу о творце жизни, о великой миссии матери на земле. Книгу о простой женщине — матери рабочего, матери революционера.

— Отличная мысль! — восхищенно воскликнул Владимир Ильич.

Алексей Максимович по поручению большевиков ехал в Соединенные Штаты, чтобы рассказать американскому народу великую правду о русской революции и собрать средства на революционные нужды партии. Об этой поездке и шел у них разговор.

Было уже около двенадцати часов ночи, когда Владимир Мартынович постучал в дверь и напомнил, что Алексею Максимовичу пора собираться, чтобы не опоздать на последний поезд в Куоккалу.

— Путь от нашего дома до вокзала обеспечен дружинниками,— сказал он.

Виргиния Карловна сидела опечаленная у накрытого и нетронутого стола. В шандалах догорали свечи.

— Давайте присядем на прощание,— предложил Горький,— присядем и закусим.

— Я тоже голоден как волк,— согласился Владимир Ильич.

Это была самая большая награда для хозяйки.

Владимир Мартынович неотрывно смотрел на стенные часы.

— Прошу извинить, но я вынужден просить поторопиться,— снова напомнил он.

— Выпьем за здоровье дорогой хозяйки,— поднял рюмку Алексей Максимович и, обойдя стол, обнял Виргинию Карловну и поцеловал ее седые волосы.— Спасибо вам, дорогая наша мама!

Горький ушел.

Виргиния Карловна убирала со стола. Владимир Ильич, заложив руки за спину, взволнованный этой встречей, ходил по комнате из угла в угол.

— Большой человек, огромный талант,— вырвалось у него.— Как, Владимир Мартынович, он благополучно доберется?

— Можете быть спокойны, Владимир Ильич: дружинники передадут его по цепочке и в поезде у него будет сопровождение.

— Это большое счастье, что у нашей революции есть свой Буревестник. И нам надо его очень беречь.

Смирнов молча смотрел сквозь толстые стекла очков на Владимира Ильича и думал: «Какое счастье, что у нашей революции есть такой вожак».

— Пора и вам отдохнуть,— обратилась хозяйка к Владимиру Ильичу и провела его в комнату сына.

Владимир Ильич наотрез отказался спать на такой пышной, «генеральской» постели.

— На ней полагается спать только принцессе, и можно поручиться, что она не почувствует горошины. А я буду спать в кабинете Владимира Мартыновича, там отличный диван.

— Но он очень короткий,— пробовала возражать Виргиния Карловна.

— Тем лучше, я люблю спать, свернувшись калачиком.

Спокойной ночи. Спасибо.—И Владимир Ильич плотно прикрыл дверь кабинета.

— Мне что-то совсем не хочется спать,— слукавила Виргиния Карловна.— Я, пожалуй, почитаю, а ты отдохни.

— Нет,— твердо сказал сын,— мне поручили охранять Владимира Ильича, и я буду читать в столовой, а вы ложитесь.

Виргиния Карловна понимала, что возражать бессмысленно.

Владимир Мартынович извлек из портфеля завернутый в газету маузер, освободил его от бумаги и осторожно положил на стол. Уселся в кресло и раскрыл тетрадь. Это была рукопись Горького «Дети солнца», переписанная кем-то от руки. О «детях солнца» он писал в полутемной камере Петропавловской крепости.

Владимир Мартынович протянул руку и пододвинул револьвер поближе к себе.

За всю свою жизнь он не сделал ни одного выстрела и правила обращения с оружием знал только теоретически. В библиотеке он с опаской обходил ящики с бомбами, боялся толкнуть их или даже громко кашлянуть. По-настоящему умел обращаться только с книгами, которые страстно любил. В университетской библиотеке знал каждую полку. Библиотека была для него не книжным складом, не тихим местом — это был огромный увлекательный мир, населенный интереснейшими людьми.

Он разговаривал с героями книг как с живыми, дискутировал с авторами. Получая новую книгу, немедленно прочитывал ее и, пристраивая на полке, говорил: «Вот вам еще один товарищ по идее» или: «Теперь вы имеете возможность поспорить».

А сейчас читалось плохо. Владимир Мартынович прислушивался к скрипу полозьев и цокоту копыт на улице и понимал, что, если понадобится, он сумеет воспользоваться огнестрельным оружием.

В камине вспыхивали синие огоньки, чуть слышно попискивала во сне канарейка, на ломберном столе холодно блестел ствол маузера.

«ВАЗА»

На краю гранитной скалы легким зеленым облаком распушилась березка, рядом на огромном валуне укрепилась сосна, словно ей захотелось подняться повыше и взглянуть на окружающий мир. Горькой свежестью пахнут молодые березовые листья, а от черемухи и в лесу душно. Еще три недели назад, когда Владимир Ильич уезжал на съезд в Стокгольм, только сосны и ели выглядели нарядными среди голых деревьев, а теперь все цветет первыми, неяркими, неприметными цветами. Весна пришла в финляндский лес.

Надежда Константиновна уговорила Владимира Ильича совершить прогулку на велосипедах, передохнуть после напряженной работы на съезде. С широкой проселочной дороги она свернула на эту лесную тропинку, чтобы ехать друг за другом и не дать возможности Владимиру Ильичу разговаривать.

— Надюша, не пора ли сделать привал? — интересуется Владимир Ильич.

— Ты уже устал? — откликается Надежда Константиновна.

— Нет, не устал, но...

— Еще немного, за поворотом будет красивая поляна, там и отдохнем.

Владимир Ильич и не помнит, где эта поляна.

— Надюша, у меня спустила камера,— решительно говорит он и спрыгивает с седла.

Надежда Константиновна спешит на помощь. Подхватив двумя пальцами подол длинного платья, она бежит по тропинке, и солнечные блики, пробиваясь сквозь кружево зелени, танцуют в ее волосах.

Поравнявшись с велосипедом, она стучит носком туфли об одно колесо, о другое. Оба колеса тугие, упругие. Надежда Константиновна недоумевает:

— Все в полном порядке.

Он выдерживает ее испытующий взгляд.

— Значит, показалось,— говорит он виноватым голосом и ставит свой велосипед рядом с ее велосипедом.

— Так и быть, будем отдыхать,— соглашается она.— Ты только посмотри, какая красота кругом. А воздух-то, воздух какой! Дыши глубже...

— Прекрасно... прекрасно...— говорит рассеянно Владимир Ильич.

— Ты опять нервничаешь! — огорчается Надежда Константиновна.— Нарушаешь уговор. Посмотри, какие одуванчики на пригорке, словно пучки солнечных лучей. И сколько их! — Она срывает цветы и протягивает Владимиру Ильичу: — Смотри, как золотые!

— Было бы недурно, если бы они были и впрямь золотые. Тогда бы мы не испытывали этих дьявольских финансовых трудностей. Как нужны сейчас деньги, Надюша, ах, как нужны! И много денег. Очень много.

— Да, деньжат в партийной кассе маловато,— соглашается она.— А газета дорого стоит.

Владимир Ильич все более волнуется:

— Большевистская правда должна стать достоянием всей партии, всего рабочего класса. Нужна газета, и не одна...

— Володя! —останавливает его Надежда Константиновна.— Ты очень изменился, дурно выглядишь... Тебе надо отдохнуть.

— Да, я переустал,— соглашается Владимир Ильич.— А как тебе понравился Плеханов? А? Мирком да ладком с буржуазией! А Акимов? Помнишь, тот без всяких обиняков предложил поддерживать кадетов и разносил меня за оценку их роли. Он высказался даже более откровенно, чем его братья меньшевики... Удивительный народ эти меньше-

вики. Сколько нудного, интеллигентского словопрения и столько холопства!

Надежда Константиновна мягко кладет ему руку на плечо:

— Володя, может быть, обсудим все это завтра, вместе с товарищами? А сейчас будем собирать цветы. Мне хочется повезти маме в Питер большой букет. Помоги.

— Цветы? — спрашивает Владимир Ильич и с укоризной говорит: — Нехорошо обманывать друг друга. Я должен высказать тебе все свои мысли. Мне это необходимо, как дыхание. А разве тебя это не волнует?

Надежда Константиновна понимает, что увести Ильича от разговора о съезде невозможно, и она шутливо предупреждает:

— Я буду слушать тебя, но, чур, не нервничать и не воображать, что перед тобой меньшевики... Ведь теперь мы с ними объединились.

— Как масло с водой. Принятие съездом меньшевистских резолюций — дело случая. Меньшевики воспользовались численным перевесом.— Владимир Ильич прищурил левый глаз и вглядывается в глубь леса; и Надежда Константиновна знает, что он уже не видит ни деревьев, ни цветов: он снова в обстановке съезда.

— А какие другие результаты можно было ожидать? — говорит она.— Сорок шесть большевиков против шестидесяти двух меньшевиков.

— Побежденным я себя не чувствую, нет,— делает решительный жест рукой Владимир Ильич.— Съезд был нужный. У рабочего класса теперь единая партия. Мы отчетливо идейно размежевались. Это очень, очень важно.

— Что же теперь делать?

— Драться! — восклицает Владимир Ильич.— Мы поведем борьбу за нашу правду. Я об этом съезде хочу написать письмо питерским рабочим. Сегодня же засяду. Расскажу подробно и откровенно, как все было. И очень хочется мне,



Надюша, выступить перед большой рабочей аудиторией, потолковать по душам, поговорить с глазу на глаз...

Надежда Константиновна слушает его со все возрастающим волнением. Ей также дороги интересы партии, интересы рабочего класса.

— Но это невозможно,— протестует она.—При той слежке, которая за тобой ведется, это просто немыслимо.

— А может быть, и подвернется счастливый случай...

Оба замолкают.

Владимир Ильич смотрит вокруг и словно впервые видит весенний лес, слышит хлопотливый гомон птиц. Совсем близко мерно ухает море.

— Хорошо! Очень хорошо! Красиво здесь и даже торжественно. Очень успокаивает. Помнишь, месяц назад мы гуляли с тобой, под ногами хрустели ледяные корки, лес совсем был редкий, а теперь какая чащоба! — Владимир Ильич захватывает в пригоршни ветки молодого дуба, рассматривает новорожденные красноватые и сморщенные листья.— Хорошо!

Надежда Константиновна с облегчением вздыхает. Она понимает, что страшное напряжение у Ильича спало.

— Слышишь, как шумит море? — спрашивает она.

Море совсем близко. Волны набегают на пологий берег, ворошат сероватую гладкую гальку, словно ищут чего-то, и, обессиленные, сползают назад; на смену им катят другие волны.

Неумолчно, непрестанно ухает море, набегают на берег волны.

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно,—

напевает Владимир Ильич. Эту песню он любит с юности. Пел ее дуэтом с сестрой Ольгой.

Надежда Константиновна сидит на пеньке. Охватив колено сцепленными руками, она подтягивает:

Но туда выносят волны
Только сильного душой!
Смело, братья!
Бурей полный,
Прям и крепок парус мой.

Как хорошо чувствовать себя молодым, сильным!

В который уже раз приходит в их жизнь весна, и каждый раз она по-новому прекрасна. Прекрасна и трудна.

Владимир Ильич уже весело шутит. Грозит пальцем Надежде Константиновне, прищурив левый близорукий глаз. Это придает ему лукавый вид.

— Ваш тактический прием, милостивая сударыня, был разгадан в самом его зародыше. Сознайтесь, вы не случайно завели меня на эту узкую тропинку, в эту чащобу, чтобы ехать друг за другом и не дать мне возможности говорить... Вы думали, сударыня, отвлечь меня от мрачных мыслей? Да?.. Так вот, поэтому мне и «показалось», что я проколол камеру.

И оба смеются звонко и заразительно, и птичий гомон становится оживленнее.

— А теперь не пора ли ехать домой? — спрашивает Владимир Ильич.— Но возвращаться мы будем по широкой проселочной дороге.

— Хорошо, хорошо,— соглашается Надежда Константиновна, счастливая от сознания, что ей удалось хоть немного рассеять Владимира Ильича. Она легко садится на седло.— Догоняй!..

Солнце клонилось к западу, когда подъезжали к дому.

— Держу пари — у нас в гостях Владимир Мартынович,— говорит Владимир Ильич, придерживая калитку, чтобы пропустить Надежду Константиновну,—видишь, у крыльца галоши и на перилах зонтик.

— А дождя не было уже дней десять,— весело замечает она.

Оба они любят этого человека.

Смирнов сидел на веранде. Владимир Ильич дружески протянул ему руку и, чтобы дать возможность справиться со смущением — Владимир Мартынович заикался,— стал весело рассказывать, как на обратном пути со съезда у Аландских островов их сильно потрепала буря. Все — и большевики и меньшевики — одинаково страдали морской болезнью.

— Вот здесь единение было полное,— смеясь, заключил Владимир Ильич.

— Как поживает ваша матушка? — осведомилась Надежда Константиновна.

Владимир Мартынович передал привет от Виргинии Карловны и сказал, что она хотела поехать вместе с ним, но дом у них сейчас полон родственников.

— Нельзя же всех этих тетей, дядей, племянников и сестер оставить без присмотра,— заметил он.

— Их у вас так много? — удивилась Надежда Константиновна.

— «Племянников» саженей сто, а «дядей» пудов десять,— ответил Владимир Мартынович и поймал на себе веселый недоумевающий взгляд Владимира Ильича.

Смутившись, что сказанное им походит на неуместную шутку, пояснил: «племянники» — это бикфордов шнур, «дяди» — динамит, «тети» — бомбы, а «сестры» — нелегальная литература.

— Это мы с боевиками на таком эзоповском языке разговариваем.

— Замечательно! — воскликнул Владимир Ильич.— И Виргиния Карловна осталась одна со всем этим хозяйством?

— Да, да,— подтвердил Владимир Мартынович. Он уже справился со смущением и не заикался.— Я ее просил только не использовать бикфордов шнур в качестве упаковочного материала. Однажды она уже сделала это. А «дядю» товарищи обещали забрать — у матушки от него болит голова.

— И в библиотеке у вас тоже полно «родственников»?

— Многовато, Владимир Ильич. Я затем и приехал, чтобы кое-что выяснить. Меки — извините, бывшие меньшевики — теперь ведь мы объединились...

— Меньшевики меньшевиками и остались,— заметил Владимир Ильич.— Этот съезд показал, что у рабочего класса может быть только одна партия, партия большевиков... Да, да, я вас слушаю, Владимир Мартынович.

— Так вот, эти самые меньшевики утверждают, что съезд высказался против вооруженного восстания и теперь, мол, оружие ни к чему...

— Все ваши «родственники», Владимир Мартынович, пролетариату пригодятся. Только выселить их надо и из библиотеки, и из вашей квартиры. А резолюция съезда о вооруженном восстании, навязанная меньшевиками, неправильная, и настанет время, когда ее поправят, поправят на деле.

— Так я и думал,— обрадовался Владимир Мартынович.— Тогда вопросов у меня больше нет. Я еще успею на вечерний поезд, не правда ли?

— Мы успеем поужинать. Я все приготовила,— отозвалась Надежда Константиновна и пригласила к столу.

Сгустились сумерки. Неправдоподобно большая луна повисла над домом и отразилась в разноцветных стеклах веранды. Хозяин-швед назвал этот дом «Ваза» в честь шведской королевской династии. Он и не помышлял о том, что в течение двух лет первой русской революции этот дом будет служить убежищем для человека, который утвердит и возвеличит самый угнетенный и обездоленный класс общества — класс пролетариев.

ТИШИНА

Вот уже несколько минут директор департамента полиции, прижав к уху телефонную трубку, слушает гневный голос министра внутренних дел. Бледное лицо шефа полиции

покрылось малиновыми пятнами. Он пытается что-то сказать, но не может уловить паузы, чтобы вставить свое слово.

Перед столом директора департамента сидит адвокат Огородников, член Государственной думы, деятель кадетской партии. Он удобно расположился в кресле и, вытянув по ковру ноги, обутые в щегольские венские штиблеты, с тонкой усмешкой прислушивается к тяжелому дыханию шефа.

На стене висит портрет Николая II. Огородникову кажется, что царь лакированными сапогами опирается на лысину директора департамента полиции.

— Будет исполнено, господин министр! Примем все меры! Честь имею кланяться! — выпалил наконец шеф полиции и повесил трубку. Вытирая платком лицо, он покосился на Огородникова — не понял ли тот, как разносил его министр.— Прошу прощения. Дела, дела... Итак, я к вашим услугам.

— Влияние нашей партии, как вам известно, растет,— продолжал прерванную мысль Огородников.— В Государственной думе, на которую столь рассчитывает правительство, мы имеем больше трети мест. Это одно уже говорит о том, что народ идет за нами, за партией Народной свободы.

— Народ-то народ, а вот рабочие, милостивый государь! — пытается съязвить директор полиции, но и Огородников не остается в долгу.

— Видите ли,— говорит он,— бойкот Думы, к которому призывает социал-демократическая партия, вернее, часть ее, возглавляемая Лениным, сделал свое дело. Если бы не помощник присяжного поверенного Ульянов-Ленин, вам бы тоже не пришлось иметь этот неприятный разговор по телефону.

«Вот собака, слышал, все слышал»,— подумал шеф, но сделал вид, что не почувствовал щелчка.

— Так вот,— продолжал Огородников,— нам надо сломить бойкот рабочих. Девятого мая, в день перенесения мо-

щей святителя Николая из Мирликийска в Барград, в доме графини Паниной созывается публичное собрание. Мы приглашаем рабочих из всех районов Питера. Будут выступать наши лучшие ораторы. Придут противники Ленина из его же партии.

— Меньшевики? — уточняет шеф.

— Так точно. Весьма благонамеренные люди, хоть и социалисты. Мы предложим собранию резолюцию в поддержку нашей партии, в поддержку Государственной думы. Планы Ленина с бойкотом Думы потерпят крах.

Шеф повеселел:

— Отлично! Ловко придумано, господин Огородников.

— Я бы просил, ваше превосходительство, распорядиться, чтобы на митинг не присылали жандармов. Вокруг дома не должно быть полицейских и этих...— Огородников брезгливо поморщился,— филеров. Благопристойность митинга обеспечит правление нашей партии.

— Хорошо, хорошо, я дам распоряжение,— спешит согласиться шеф и думает о том, что в борьбе с главным злом — социал-демократией — все средства хороши, кадеты тоже.

Шеф полиции и член кадетской партии простились, довольные друг другом.

Адъютант доложил, что прибыли начальник губернского жандармского управления генерал-майор Клыков и начальник охранного отделения полковник Герасимов.

— Проси,— распорядился шеф и стал сердито перебирать бумаги на столе. Не поднимая головы, он буркнул что-то невнятное — не то «садитесь», не то «стыдитесь»,— и генерал и полковник решились сесть.

Продолжая перекладывать бумаги, директор департамента приказал Клыкову доложить обстановку в столице.

— По сведениям, представленным мне фабричной инспекцией, сегодня, первого мая, в Санкт-Петербурге бастует пятьсот...

— Разрешите заметить, более пятисот,— поправил начальника жандармского управления начальник охранки.

Клыков недовольно кашлянул и продолжал:

— Пятьсот с лишним промышленных заведений, сто двадцать тысяч рабочих не вышли на работу. Вверенные мне чины жандармерии не допускают скопища мастеровых, конфискуют знамена и красные нагрудные банты. В столице с утра было тихо, особых столкновений и эксцессов не произошло.

Шеф вскипел, и лицо его опять покрылось малиновыми пятнами.

— «Было тихо»! «Было тихо»! — крикнул он.— Я сам слушал эту тишину, будь она трижды проклята. Ни одного гудка! Такая тишина страшнее артиллерийской канонады. Вы что, забыли, генерал, прошлогоднюю «тишину»?

Нет, этого никто не забыл. Все помнили, как в прошлом, 1905 году по воле рабочих погасли топки в котлах, не текла вода по трубам, не выдавался уголь на-гора́, не бегали конки, паровозы застыли в депо. Рабочие вышли на улицы и потребовали: «Долой царское самодержавие!»

— Полтора года мы ведем борьбу со смутой, чуть ли не вся страна объявлена на военном положении, а сегодня в столице бастуют все промышленные заведения, все...

— Не все, далеко не все, ваше превосходительство,— попытался успокоить его Клыков.— «Арсенал» не бастует, пивоваренный завод Дурдиева работает...

— Я был бы счастлив,— воскликнул шеф почти торжественно,— если бы сегодня бастовал «Арсенал». Да! Было бы отлично, если бы бастовал пивоваренный завод Дурдиева. Да! — Шеф стучал по столу то правым, то левым кулаком, раскачивался из стороны в сторону, и Клыкову и Герасимову показалось, что портрет царя теряет опору.— Мы выстроили бы с вами этих рабочих и — с места шагом ма-а-рш! — отправили бы в Сибирь. А сто двадцать тысяч рабочих вы тоже в Сибирь сошлете? А? Кто виноват в том, что сегодня

бастуют все заведения столицы? Кто? — Шеф перевел свои выпуклые глаза на тонкое лицо с умным и холодным взглядом начальника охранки.

— Преступное сообщество, именуемое социал-демократией, ваше превосходительство,— ответил Герасимов.— Это они распространили в столице тысячи и тысячи листовок...

— А вы что зеваете?

— Я полагал, что порядок в столице — дело жандармского управления и полиции.— Герасимов скосил холодные глаза на Клыкова.— Мы, как вам известно, всецело заняты выявлением боевых рабочих организаций, складов оружия. В них главное зло.

— Главное зло в тайных печатнях,— раздельно и веско произнес Клыков.— Но с прискорбием должен отметить, что полковник Герасимов со своими людьми не может обнаружить эти печатни. Листовки подстрекают мастеровых на преступные дела, через листовки социал-демократы оповещают рабочих о своих планах. В печатнях главное зло.

— Позвольте, генерал, — едва сдерживая ярость, перебил его снова Герасимов.

— Не грызитесь, господа, не грызитесь,— строго заметил шеф.— Не туда целитесь. Дело много сложнее и куда проще. Подумали ли вы о том, какую власть над душами рабочих имеет Ульянов? Не тут ли корень зла? С боевыми организациями и террористами полковник справляется отлично. Но вот Ленин! Его книжки возмущают умы рабочих... Я давно подписал приказ о его аресте, почему он не выполнен? Я вас спрашиваю, почему? Полковник, доложите, какие вы имеете сведения об Ульянове-Ленине?

Герасимов недобро посмотрел на Клыкова и отчеканил:

— Ульянов почти ежедневно выступает на конспиративных совещаниях в Петербурге. Скрывается в Финляндии, куда нам заглядывать не велено. В прошлом месяце ездил на партийный съезд в Стокгольм. Каждый день печатает статьи в большевистских листках.

Шеф явно благоволил Герасимову, надеясь на его тайных агентов и филеров больше, чем на полуграмотных и тупых жандармов Клыкова.

— Полковник знает об Ульянове все; почему же вы, генерал, на основании его донесений не арестовываете Ульянова?

Клыков уловил недоброжелательство к себе и решил направить огонь на Герасимова:

— Полковник знает об Ульянове все. Он знает, где Ульянов был вчера, где находился два часа назад, а вот где он находится в эту минуту и где будет ночевать сегодня — этого-то полковник и не знает.

Герасимов даже не повернул головы в сторону генерала.

— Ульянов весьма и весьма опытный конспиратор, ваше превосходительство, и тем не менее мои филеры видят его почти ежедневно и тотчас докладывают в жандармское управление.

— А что толку? — раздраженно спросил Клыков.— Что толку в их докладах? Искать Ульянова все равно что искать в стогу сена иголку.

— Господа, я призываю вас к благоразумию! Ленин доступен тысячам черни и недосягаем для нас с вами. Да возможно ли это? Что у него есть: деньги? солдаты? У него, если хотите знать, нет даже собственной квартиры, и все его имущество можно уложить в солдатский сундук. Почему же сегодня сто двадцать тысяч рабочих Петербурга подчинились ему? В чем его сила? В чем, я вас спрашиваю?

— Ульянов сумел внушить рабочим, что они могут быть вершителями судеб всего человечества,— попытался оправдаться Герасимов.

— Нужно сделать так, чтобы у рабочих не было этого талантливого адвоката, а у нас с вами подобного прокурора. Запомните, господа, ваша честь, ваша карьера поставлены на карту. Пока существует социал-демократическая партия и Ленин на свободе — нам непозволительно спать спокойно.

Я даю вам право арестовать его в любом месте.— Шеф отдавал себе отчет, что его собственная карьера зависит от усердия жандармерии и охранки, и поэтому был милостив к генералу и полковнику.— Пора снять голову с революционного туловища,— многозначительно заключил он.

Клыков и Герасимов поднялись.

— Будет исполнено, ваше превосходительство,— щелкнули они разом каблуками.

— И, кстати,— остановил их шеф,— кадеты затеяли умное и полезное отечеству дело. Девятого мая в доме графини Паниной собирается народный митинг. Вы, генерал, своих жандармов туда не посылайте. Вам же, полковник, не мешало бы самому побывать там и поучиться у кадетов, как вести борьбу с социал-демократами. В Народном доме есть телефон, будете держать связь с генералом. Действуйте!

Клыков и Герасимов откозыряли.

ПО ДУШАМ

Наступил день 9 мая.

Моросил дождь, лохматые тучи низко ползли над Питером, задевая за шпиль Петропавловской крепости, Адмиралтейскую иглу, купол Исаакиевского собора. После полудня тучи разошлись, оставив на голубом небе клочья серых облаков.

К вечеру питерская окраина за Обводным каналом преобразилась. По Лиговке, как по Невскому проспекту, ехали экипажи с нарядными барынями и господами. Конки были переполнены. По панели густо шли рабочие. Все спешили в Народный дом графини Паниной. Лиговские обыватели сидели на скамеечках под акациями, которые даже в этот майский день выглядели чахлыми, и с любопытством наблюдали за необычным шествием. К митингам и манифестациям люди за последние полтора года привыкли, но вот чтобы гос-

пода и рабочие собирались вместе — такого видеть еще не приходилось.

В Народном доме шла подготовка к собранию: скатывали ковровые дорожки в коридорах, на втором этаже в вестибюле раздвигали в стороны белые мраморные фигуры и кадки с шуршащими пальмами, в зрительном зале задергивали тяжелые портьеры на стрельчатых окнах, чтобы белая питерская ночь не смешивалась со светом огромной люстры. На сцене поставили в ряд столы и покрыли их зеленой плюшевой скатертью.

Митинг был назначен на девять часов, но уже к восьми часам публика заполнила зрительный зал.

За кулисами в актерской комнате собрались деятели кадетской партии. Панина приехала последней. Миллионершу приветствовали стоя. Софья Владимировна была хороша собой и одета нарочито скромно, под народную учительницу.

— Я еле пробралась в собственный дом,— оживленно рассказывала она.— Тамбовская и Прилукская заполнены народом. Рабочие в праздничной одежде. Волнующее зрелище. Народ тянется к нашей партии, господа.

— Народ вручил свои судьбы партии Народной свободы,— высокопарно отозвался Огородников.

Панина вынула из-за пояса крохотные часики:

— Девять часов. Пора открывать.

Руководители кадетской партии двинулись в зал. Огородников заметил за кулисами маленькую фигуру меньшевика Дана.

— Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, Федор Ильич,— пригласил он.

— Благодарю,— ответил Дан,— я пойду в массы, к рабочим, там мое место,— и стал пробираться в зрительный зал.

Зал гудел.

Народу набилось так много, что не только сесть, но и встать было негде.

Надежда Константиновна пришла задолго до начала митинга и заняла место поближе к сцене и к проходу. Неприметным кивком головы она здоровалась с товарищами по партии, осматривала зал. Рабочих большинство, и среди них, как цветочные клумбы, питерские барыни в модных шляпках с цветами. Жандармов не видно. Из-за тяжелой портьеры на окне выглядывает смышленое лицо Ромки, значит, и Ефим Петрович должен быть где-то поблизости.

Графиня Панина в сопровождении свиты деятелей кадетской партии вышла на сцену, благосклонно приняла аплодисменты. Дамы занялись обсуждением покроя платья графини и внешности мужчин. Рабочие смотрели выжидательно.

— О чем говорить-то будут?—спросила громко пожилая работница.

— Байки сказывать про хорошую жизнь! — ответил рабочий в кумачовой рубашке.

— А будет она — хорошая жизнь-то? — допытывалась женщина.— Всё для господ. Они хорошей жизнью распоряжаются.

В левом проходе, забитом людьми, началось какое-то движение. Группа рабочих-дружинников энергично прокладывала себе путь. Среди них — Владимир Ильич. Он одет в синюю косоворотку и рыжеватый двубортный пиджак, который ему широковат. Надежда Константиновна увидела его, и знакомый страх сжал сердце. Она бросила украдкой взгляд направо, налево. Нет, появление этой группы в зале не привлекло внимания, взоры всех устремлены на сцену.

Владимир Ильич и рядом с ним Ефим Петрович остановились у крайнего окна, ближе к сцене. Ефим Петрович заглянул за портьеру — Ромка был на месте. Владимир Ильич поискал кого-то глазами, увидел Надежду Константиновну, и его взгляд сказал ей многое: и чтобы не беспокоилась, и что выступать он будет непременно.

Он вырвал из тетради полоску бумаги, написал на ней несколько слов, свернул как аптечный порошок и передал впереди стоящему. Внимательно следил за тем, как записка переходила из рук в руки, пока, наконец, не попала на стол президиума.

Председатель позвонил в колокольчик и объявил народный митинг открытым. Он пригласил члена ЦК кадетской партии Водовозова занять свое место за ораторским столиком.

Водовозов разложил на столе, как карты, мелко исписанные четвертушки бумаги, защемил на переносице пенсне и начал монотонно читать свою речь.

В зале стоял сдержанный шум. Профессорская речь мало кого интересовала. Не интересовала она, казалось, и самого оратора. Опустив вниз тяжелые, сонные веки, он что-то бубнил себе в прокуренные усы.

Ефим Петрович зорко оглядывал зал. У противоположной стены в кресле он приметил полковника Герасимова, одетого в штатский костюм, и очень обеспокоился. Ефим Петрович что-то шепнул своему соседу. Через несколько минут дружинники образовали вокруг Герасимова живую стену.

Ефим Петрович тронул Ромку за плечо.

— Проберись-ка вниз,— прошептал он.— У кабинета управляющего Григорий с «Вестингауза». Знаешь его?

— Неужели ж нет? — обиделся Ромка.

— Скажи ему тихо, на ухо, что Сыч припожаловал и что Ефим Петрович велел действовать. Понятно?

— Понятно! — подтвердил Ромка, сполз с подоконника и, как угорь, стал протискивать свое худое тело сквозь толпу.

В зале один оратор сменял другого, звучало много красивых слов о свободе.

Герасимов перебирал брелоки на часах, смотрел на лица рабочих: на одних было написано равнодушие, на других

разочарование, на многих усталость. Живую искорку интереса он заприметил у немногих. Почему же эти малограмотные и усталые люди превращаются в такую деятельную силу, когда ими управляет социал-демократическая партия? Оторвать бы от рабочих их питающую и возбуждающую социал-демократию, проникнуть в партию и вырвать ее сердце — Ленина. Но как это сделать? Хорошо бы внедрить в социал-демократическую партию агента, подобного Азефу.

Азеф — один из руководителей партии эсеров, агент охранки. Начальник охранки купил его за тысячу рублей золотом в месяц. Дорого заплатил. Но зато партия эсеров-террористов сразу потеряла свое страшное значение. С Азефом встречается только он, Герасимов, даже шеф полиции не знает его настоящего имени. Царь осведомлен. И всё.

Азеф ночами заседает со своими боевиками и разрабатывает планы террористических актов против особ царствующего дома и членов правительства. Он отечески нежно благословляет молодых эсеров на совершение террористических актов, а под утро встречается с Герасимовым и передает эти планы ему. Спустя неделю-две Азеф горько скорбит о повешенных террористах на заседании боевой организации эсеровской партии. Скорбит и снова предает.

Страшный человек! Чтобы его не разоблачили в своей партии, он иногда оказывается вдруг неосведомленным, и террористический акт совершается. Герасимов сам боится этого агента — Азеф может предать и его, начальника охранки, может подослать к нему своих убийц. Полковник с Азефом поэтому не ссорится и набавляет ему сотню-две золотых, когда тот настойчиво требует. Был бы такой агент в социал-демократической партии, Герасимов бы знал, где в данную минуту находится Ленин и что он будет делать в ближайшее время...

— Слово имеет господин Бартеньев,— прервал мысли Герасимова громкий голос председателя.

На сцену вышел маленький юркий человек. Герасимов пристально вгляделся в него. «А-а,— вяло подумал он,— социал-демократ Федор Дан. Сменил сегодня фамилию на Бартеньева. Не опасный. В охранке его карточка отмечена желтой галкой, как голова ужа».

— Братцы рабочие! — услышал Ромка голос оратора, выбираясь из зала в вестибюль.

Здесь было тоже тесно, и даже лестница, ведущая вниз на первый этаж, была забита народом. Имена ораторов и смысл их речей эстафетой передавались из зала.

Ромка поразился, какой галдеж стоял внизу. Все, о чем говорилось ораторами в зале, здесь горячо обсуждалось. «Что это за дарованная царем конституция, которая не дает рабочим никаких прав? Зачем нам Государственная дума, которая против царя пикнуть не смеет? Как добиться настоящей свободы?» — слышалось тут и там.

Григорий стоял у самых дверей кабинета управляющего, но Ромка не сразу до него добрался.

— Ну что? — спросил Григорий ястребка.

— Дядя Ефим сказал, что Сыч явился и пора действовать.

— Ясно,— ответил Григорий,— поможешь мне. Заходи быстро.

Ромка прошмыгнул в кабинет. В комнате был полумрак, свет от уличного фонаря освещал белого мраморного юношу, который, опершись одной рукой на каменный крест, в другой держал череп и задумчиво его рассматривал. Пахло цветами, чистотой, под ногами лежал толстый, как мох, ковер. Громко тикали огромные часы, и блестящая, как солнечный луч, стрелка равномерно перепрыгивала по кругу.

Вслед за Ромкой в кабинет зашел Григорий, запер дверь на ключ и отвернул угол ковра.

— Чтобы не наследить, ковер дорогой,— пояснил он.— Вот тебе кусачки. Забирайся ко мне на плечи.

Григорий был высокого роста, и Ромка чувствовал себя на нем прочно, как на дереве.

— Перережь провод, да побыстрее,— скомандовал Григорий.

Кусачки щелкнули, словно раскусили маленький твердый орешек. Ромка мягко спрыгнул на пол. Когда он, все еще красный от волнения, снова пробрался в зал, председательствовала графиня. Она приглашала послушать «уважаемого члена Государственной думы адвоката Огородникова».

Высокий и красивый Огородников поднялся и не торопясь подошел к ораторскому столу. Он чуть вздернул рукава у запястий и стал глубокомысленно рассматривать свои руки, поворачивая их то ладонью, то тыльной стороной. Дамы немедленно отметили, что руки у него тонкие и породистые, хотя фамилия «фи, какая вульгарная».

Когда водворилась тишина, Огородников грустно посмотрел в зал и доверительно сказал:

— Плохое у нас правительство, господа!

Зал грохнул от рукоплесканий. «Вот это правильно! Что правда, то правда!» — кричали рабочие. «Какая смелость!» — восторгались господа либералы.

— Плохое правительство,— повторил Огородников.— Но Государственная дума сделает так, чтобы это правительство стало лучше. Мы заставим его считаться с желаниями народа. Наша партия уже начала переговоры с правительством. Правда, пока за чашкой чая. Мы хотим сделать всё полюбовно, без насилия, без насилия, господа. Мы против насилия как сверху, так и снизу. Социал-демократы призывают к забастовкам, к стачкам. Кому это нужно?

— Нам, рабочим, это нужно! — крикнул пожилой рабочий с балкона.

— Рабочие должны поддержать нашу партию,— ответил Огородников,— отказаться от бойкота Думы, и мы обещаем защищать всех людей без различия на основе завоеванной

нами конституции. Мы должны быть вместе.— Огородников развел руки, словно хотел обхватить все три тысячи человек.— Представьте себе, господа, связанных по рукам одной веревкой либерала и социалиста, которых готов растерзать лев, огромный, дикий. Мы их призываем: разорвите веревку совместными усилиями, вам грозит опасность, а они вместо этого волтузят друг друга ногами. И это одобряет... кто бы вы думали? — Огородников сделал многозначительную паузу. Наступила тишина.— Ленин это одобряет, большевики. Они за насилие. А мы против всякого насилия. Самый умный и дальновидный социал-демократ Плеханов понял, что не надо было рабочим браться за оружие, что сила в единении либералов с социалистами. И мы аплодируем господину Плеханову, его мудрости...

«Ишь ты!» — взглянул на Огородникова прищуренным левым глазом Владимир Ильич.

Он стоял, чуть наклонив голову набок, слушал оратора и делал заметки в тетради. Он не чувствовал ни тесноты, ни ужасающей духоты, он только машинально расстегнул пуговку на косоворотке.

Огородников продолжал свою речь.

— Врет ведь,— досадливо сказал рабочий в кумачовой рубашке,— но врет складно, и черт знает, как его вывести на чистую воду.

— Ленина бы сюда,— откликнулся пожилой рабочий,— а то кадеты замутят голову сладкими речами.

Ефим Петрович повернулся к говорившему:

— А Ленин сумел бы ему ответить?

— Будьте уверены! Буржуи пользуются тем, что Ленину невозможно выступать на митингах. Жандармы сразу его схватят. Но ничего, он им в письменном виде ответ подаст.

«Гм, гм, любопытно, весьма любопытно»,— заметил про себя Владимир Ильич.

Огородников, перегнувшись через ораторский столик, с пафосом воскликнул:

— Народ проснулся! Он, как сказочный богатырь, прикоснулся к чудодейственному напитку свободы, поднесенному ему партией Народной свободы, и, выпив, почувствовал в себе силы великие. Идите за нашей партией, господа! Она друг народа. Она друг свободы.

В зале хлопали, не жалея ладоней, дамы кричали «браввиссимо» и посылали оратору воздушные поцелуи. Рабочие пожимали плечами: «Поди-ка разберись во всем этом. Может быть, господа кадеты и в самом деле добра желают».

Панина заглянула в записную книжечку.

— Наш следующий оратор — господин Карпов,— объявила она.

— Наконец-то!— прошептал Владимир Ильич, застегнул пуговку на вороте и стал пробираться вперед.

Ефим Петрович и несколько дружинников двигались за ним к сцене.

— Мы просим господина Карпова быть кратким,— продолжала Панина,— уже полночь, люди устали, а у нас еще много ораторов.

Сидящие в задних рядах вытягивали шеи, чтобы рассмотреть нового оратора.

До сих пор выступали известные всей стране адвокаты, профессора, члены Государственной думы, портреты которых часто появлялись в газетах. А Карпов? Кто такой Карпов?

— От какой партии? С какого завода? — шумели в зале.

Карпов легко и быстро взбежал по ступенькам на сцену и вежливо поклонился графине.

В разных концах зала ему захлопали и закричали «браво». Это были соратники Ленина, но их здесь было немного. Большинству собравшихся он был незнаком.

Надежда Константиновна с волнением наблюдала за Ильичем. Он подошел к ораторскому столику и, чуть опершись на него ладонями, неожиданно звонко и молодо воскликнул:

— Граждане!—и после паузы, как бы между прочим:— Господа!

На этом митинге пленительное и новое слово «граждане» было произнесено сегодня впервые и шелестом отозвалось в зале. Зал насторожился.

— Я постараюсь быть кратким и доступным, чтобы меня поняли и профессора.

— Весьма остроумное начало,— заметил Огородников.— Послушаем, что он скажет дальше.

Надежда Константиновна видела, что Ильич волнуется. На бледном лице горели глаза, ставшие из карих совсем темными, на крутом лбу блестели капли испарины. «Ну как ему не волноваться,— думала она,— ведь это его первое открытое выступление. Он так мечтал об этом!»

— Только что один из видных представителей Государственной думы,— продолжал Ленин,— присяжный поверенный Огородников утверждал, что буржуа и пролетариат связаны одной веревкой...

Владимир Ильич подошел к самой рампе, вгляделся в зал и тихо спросил:

— Есть здесь путиловцы?

— Как не быть? Есть! — ответило разом несколько голосов с балкона.

— Товарищи путиловцы, скажите, пожалуйста, вам приходилось видеть буржуа и рабочего, связанных одной веревкой, веревкой нужды, бесправия, угнетения, эксплуатации? Приходилось?

— Чего не приходилось, того не приходилось,— ответил пожилой путиловец под гул одобрения своих товарищей.

— Господин Огородников уверяет,— продолжал Владимир Ильич,— что либералы и рабочие, отданные на растерзание льву, объединяются для совместной борьбы. Отлично! Но как быть, если одни берутся за оружие, чтобы напасть на зверя, а другие, увидев на шее льва нагрудничек с надписью «Конституция», вопят: «Мы против насилия, бросайте

оружие!» Вы верите, товарищи, в нагруднички? — спросил оратор, обращаясь к переполненному балкону.

Смех и рукоплескания были ответом на его слова.

Герасимов впился глазами в Карпова. «Неужели это Ульянов? По одежде — рабочий, но этот высокий лоб ученого? Другого такого нет».

— Мы слушали с вами ласковые речи кадетов...— продолжал Владимир Ильич.

Его прервал господин в сюртуке, с золотым пенсне на носу:

— Мы именуемся теперь партией Народной свободы.

— Подите вы! — вдруг рассердился Владимир Ильич.— Вы — партия мещанского обмана свободы. Военно-полицейская диктатура празднует свои бешеные оргии, экзекуции и массовые истязания идут по всей России, а вы призываете к полюбовной сделке с царизмом, выступаете против насилий снизу. В феврале перед выборами вы обещали изгнать и отдать под суд преступных членов правительства, вы обещали созвать настоящую народную Думу. Почему вы не выполнили ваших обещаний?

Господин в золотом пенсне подскочил на месте:

— А кто вы такой? Кто вы — скажите-ка!

— Я — Карпов,— ответил Владимир Ильич и продолжал: — Может быть, многие из вас поверили, что кадеты — друзья народа и что они не собираются продать народную свободу царизму?

— От чьего имени вы говорите? — в бешенстве закричал Огородников.

— От имени рабочей партии. От имени пролетариата.

— Рабочие идут за нами. Вы сегодня в этом убедились,— надрывался Огородников.— Мы ведем пароход свободы.

Владимир Ильич быстро повернулся к нему:

— Вы — пароходные свистки, а рабочая партия в революции — это пар в котлах пароходной машины,— и, обращаясь к митингу, продолжал: — Будет пар в котлах — будут

свистеть и свистки. Будет сила у революции — будут свистеть и кадеты.

Рабочие дружно зааплодировали.

Герасимов отметил, что усталость и равнодушие как ветром сдуло, он видел, как интерес к оратору перешел в доверие к нему.

Начальник охранки поднялся с места и, извиняясь перед дамами, стал пробираться к выходу.

— ...Господин Огородников утверждал здесь, что у кадетов не было соглашения с царем и были лишь переговоры за чашкой чая,— продолжал развивать свою мысль оратор.

— Да, да, он так сказал,— подтвердили в зале.

— С кем же велись переговоры? — спросил Владимир Ильич притихший зал.— С Треповым! С тем самым Треповым, который дал приказ войскам и полиции против рабочих патронов не жалеть и холостых залпов не давать.

— Позор! Позор!..— раздалось со всех сторон.

Огородников выбежал к краю сцены.

— Никакого соглашения не было, велись только переговоры! — крикнул он.

— А что такое переговоры? — парировал в упор Владимир Ильич.— Вы — адвокат, господин Огородников, и отлично знаете, что переговоры — это желание соглашения, и в данном случае соглашения с царизмом, как быстрее и лучше задушить революцию.

В зале зашумели.

Барин в пенсне повернулся лицом к публике и, не жалея голосовых связок, закричал:

— Этот Карпов подослан Лениным!

Он заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. На его свист обрушился шквал рукоплесканий. Рабочие, сложив ладони коробочкой, усердно хлопали, словно стреляли из ружей.

Серебряный колокольчик в руке графини тщетно пытался восстановить тишину.

Герасимов поймал себя на том, что ему хочется дослушать до конца и понять, чем силен этот человек. Герасимов также подумал о том, что не делал ли он все время ошибки, направляя главные усилия на борьбу с боевыми организациями рабочих. «Но неужели Ульянов так неосмотрителен, что явился сюда, на многотысячный митинг, и даже не надел парика? Вот сейчас его упустить нельзя!»

— Пропустите, господа, у меня важное государственное дело.

— Помолчи ты, господин хороший,— отмахивался от него рабочий в кумачовой рубашке, оказавшийся рядом.— Послушай лучше, что говорит оратор.

В зале звучал уверенный голос Ленина.

Владимир Ильич ходил по сцене и разговаривал с тремя тысячами жадно слушавших его людей. Огородников сидел за столом президиума и строчил бумагу.

— Перед вами выступал господин Бартеньев.— Владимир Ильич поискал глазами маленького Дана.— Выступал не от имени всей социал-демократии, а от правого крыла, от меньшевиков. Он призывал идти за кадетами и уверял, что кадеты ищут поддержки в народе. В этом он прав. Но Бартеньев умолчал о том, что либеральная буржуазия смертельно боится революционной самостоятельности пролетариата. Почему он об этом умолчал? Потому что господа меньшевики сами не верят в силу и самостоятельность пролетариата и отводят ему в революции роль скромного чернорабочего.

— Вы замахиваетесь на решения Объединительного съезда,— вдруг вынырнул откуда-то Дан.

— Я признаю обязательность решений съезда, но некоторые из этих решений ошибочны, а ошибки надо исправлять,— заключил спокойно Владимир Ильич и вынул из кармана вчетверо сложенный лист бумаги.— Прошу заслушать предлагаемую мною резолюцию...

Надежда Константиновна удивленно посмотрела на

Ильича. Он не говорил ей, что будет предлагать собранию свою резолюцию. Значит, это решение созрело здесь, на собрании.

— Простите, господин Карпов, но у господина Огородникова тоже есть резолюция,— возразила председательствующая Панина.

— Это чересчур, господа,— нервно взывал Огородников.— Захватить трибуну и протаскивать большевистскую резолюцию. Прошу заслушать нашу резолюцию...

Но в зале шумели:

— Даешь резолюцию Карпова! Карпов, читай!

— У нас есть еще ораторы. Мы дадим им слово? — спросила Панина, едва добившись какого-то порядка в зале.

— Нет! — единым дыханием ответил зал.— Резолюцию Карпова!

Панина опустилась на стул. Владимир Ильич легким поднятием руки восстановил тишину.

Герасимов, потеряв самообладание, свирепо растолкал окруживших его дружинников, выбрался из зала. Вслед ему неслись слова:

— ...Собрание заявляет, что партия Народной свободы — кадеты — выражает лишь робко и неполно народные требования, не выполняет своего обещания объявить созыв всенародного учредительного собрания...

— Это ваше личное мнение. Собрание думает иначе! — закричал взбешенный Огородников.

Ульянов продолжал:

— Мы предостерегаем народ от этой партии, которая колеблется между народной свободой и угнетающей народ старой самодержавной властью.

— Правильно... верно...— подтверждали в зале.

— ...Собрание призывает крестьянскую «Трудовую» и рабочую группу в Государственной думе выступать решительно, совершенно независимо от кадетов, каждая со своими самостоятельными требованиями, и заявлять полностью

требования народа. Собрание обращает внимание всех, ценящих дело свободы, на то, что поведение самодержавного правительства и полная неудовлетворенность крестьянских и общенародных нужд делают неизбежной решительную борьбу вне Думы, борьбу за полную власть народа, единственно способную обеспечить свободу и нужды народа.

— Это же большевистская резолюция! — надрывался барин в золотом пенсне.

— Собрание выражает уверенность, что пролетариат по-прежнему будет стоять во главе всех революционных элементов народа.

— Вот это по-нашему! — крикнул рабочий с балкона.— А то кадеты распинаются, будто они ворочают рабочим классом.

Владимир Ильич протянул зачитанную резолюцию Паниной:

— Покорнейше прошу проголосовать.

— Голосовать! Голосовать! — потребовали рабочие.

— Будем голосовать резолюцию Карпова,— согласилась Панина, и было видно, что она уже справиться с собранием не может.

Руководство митингом перешло в руки этого коренастого человека с простонародной фамилией Карпов.

— Прошу поднять руки, кто согласен с резолюцией Карпова,— обратилась Панина к собранию.

Зал ощетинился тысячами вскинутых рук.

Ромка встал на подоконнике во весь рост, откинул портьеру и высоко поднял свою худую руку. Он голосовал первый раз в жизни.

— Да здравствует победоносная революция! — чуть откинувшись назад, провозгласил Ленин, поклонился Паниной и исчез в толпе рабочих.

А в это время в кабинете управляющего начальник охранки Герасимов яростно крутил телефонную ручку.

— Станция! Станция! Барышня! Почему никто не отве-

чает? Что за чертовщина? Барышня! — Герасимов крутил ручку, и взгляд его скользил по телефонному проводу.— Дьявольщина! — прошипел полковник, увидев, что с карниза над дверью безжизненно свешиваются два конца перерезанного провода.

Из зала на лестницы выплеснулась песня:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Рабочий в кумачовой косоворотке вскочил на подоконник, сдернул с себя праздничную рубашку и аккуратно стал ее разрывать на небольшие куски. И вот над головами людей затрепетали крохотные знамена.

Ромка и не заметил, как людской поток вынес его на улицу, и он вместе со всеми уверенно выводил сиплым мальчишеским голосом:

Ненавистен нам царский чертог...

Поздний час ночи. Громко цокают копыта по булыжной мостовой, высекая подковами искры. Сонный извозчик лениво погоняет лошадей, седоки не торопят.

— Я очень доволен сегодняшним днем,— говорит Владимир Ильич.

Он уже в котелке, в темном пальто, белый воротничок с галстуком пристегнут поверх косоворотки.

— Вот ты и поговорил по душам...— отзывается Надежда Константиновна.— Поначалу волновался...

— Как никогда!—признается Владимир Ильич.—И давно так не радовался, как сегодня. Замечательное чувство — контакт с рабочей аудиторией, и я счастлив, что моя резолюция принята вполне сознательно... Ты уловила какие-нибудь интересные реплики?

— Со мной рядом сидел профессор, очевидно из области юриспруденции,— смеется Надежда Константиновна.— Он

убеждал своего соседа, что из тебя получился бы великолепный адвокат.

Владимир Ильич рассмеялся так заразительно, что даже извозчик оглянулся — чего это господам так весело!

Надежда Константиновна всегда чувствует себя счастливой, когда слышит этот смех... Сложная у них жизнь, маетная. Но никакой другой, размеренной и удобной жизни она и не хотела бы.

— Ты что-то сказала? — прерывает ее мысли Владимир Ильич.

— Нет, просто думаю.

— О чем?

— Уж очень хороша весна и эти прозрачные майские ночи!

— И какая мерзкая жизнь на этой прекрасной земле...— Владимир Ильич взглянул на цветущие сады по обеим сторонам улицы.— Мне хотелось бы самому услышать, когда не поэты, а рабочие, крестьяне сами скажут: прекрасная штука эта жизнь!

В ЦЕРКВИ БРАТСТВА

«БУДЕТ ДРАЧКА»

В праздничном, приподнятом настроении перешагнул Горький порог церкви Братства. Прижав обеими ладонями широкополую шляпу к груди, сморщив гармошкой лоб, он пытливо вглядывался в людей. Делегаты съезда расположились группами под стрельчатыми окнами, на скамейках, стояли у стен. Гул голосов в лишенной благолепия молельне сильно резонировал под высокими сводами.

«Эх, шапку бы невидимку — походить, послушать, понаблюдать». Но где там — сразу попал в объятия и отвечал разом и на приветствия и на вопросы секретаря, пристроившегося на стуле у амвона.

— От какой фракции?

— Конечно, от большевистской. Делегат с правом совещательного голоса.

И снова пожимал руки, и часто-часто моргал, стараясь смахнуть слезы. Ком в горле — от счастья, а не от восторженных возгласов, не от аплодисментов, которыми встретили его делегаты партийного съезда. К славе привык, как к необходимости. Несколько месяцев назад тысячные толпы демонстрантов в Неаполе приветствовали его восторженными возгласами: «Эввива Горький! Абассо царь!» [1] Рабочий люд Италии не отделял Горького от революции.

[1] «Да здравствует Горький! Долой царя!»

В горячие дни борьбы Горький был вместе с русским рабочим классом, поставив ему на службу свой талант, всего себя. Квартира писателя походила тогда на боевой штаб, только письменный стол оставался в его распоряжении — стол, на котором были созданы бессмертные гимны революции: «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике».

Горький оглядывался вокруг. Сколько в этой церкви людей в косоворотках, в сапогах! Вот они, участники боев Красной Пресни, Иваново-Вознесенска, Читинской, Екатеринославской республик, питерские пролетарии! Все такие молодые! Мартов с улыбкой трясет руку, влюбленными глазами смотрит на него. Пробраться бы к Плеханову, к Ленину. Но Владимир Ильич сам протискивается к нему сквозь толпу.

— Очень, очень рад вас видеть. «Мать» прочитал. Поздравляю.

— Плохо, плохо написал, Владимир Ильич,—окает Горький и даже «Владимир» произносит как «Володимир».— Спешил.

— И правильно, что спешили. Весьма ко времени написано. Вот только интеллигенцию вы немного идеализируете.

— Как вижу, так и пишу.

— Разглядите яснее здесь. Предупреждаю — будет драчка. Занимайте место. Мы — большевики — сидим на правом фланге, так решили наши собратья-меньшевики. Они считают себя революционнее нас.

Звонок.

На кафедре Плеханов. Строгий, элегантный, уверенный. Все стоя приветствуют основоположника русского марксизма. Он выжидает, как бы позволяет любоваться собой, терпеливо ждет, глядя чуть усталыми глазами поверх голов.

Выступление Плеханова — это увертюра к съезду. О чем же пойдет разговор?

Сил пролетариата недостаточно для победы над реакцией; ему нужны союзники. Какие именно? Здесь не решить

этот вопрос, его решит съезд — уловил ведущую мысль Горький.

И по тому, какой ветерок волнения пробежал по рядам, понял: в этом гвоздь вопроса.

А потом состоялись выборы президиума. Плеханов попросил снять его кандидатуру. Сказал просто, но тоном, не терпящим возражений: «Не могу присутствовать на всех заседаниях. Болен».

В президиум выбрали Ленина, Дана, представителей от польской, латышской социал-демократии и от Бунда. Пять человек.

Члены президиума сменили за столом Плеханова. Съезд аплодировал. Горький не жалел ладоней, жадно смотрел на Ленина. Очень хотелось увидеть его в деле. До этого встречались в суматошной обстановке в ноябре пятого года на заседании ЦК. Поговорить обстоятельно не довелось. В прошлом, 1906 году виделись в Гельсингфорсе на квартире Владимира Мартыновича Смирнова. Притащил тогда за собой «хвост». Нервничал, не за себя — за Ленина. Сидели в маленьком кабинете Смирнова, присматривались, прощупывали друг друга. Почувствовал, что понравился Владимиру Ильичу. Сам был несколько удивлен — не увидел ничего от «вождя», встретил просто очень умного и милого человека. Несколько дней назад, по дороге на съезд, встретились в Берлине, жарко спорили о роли и месте крестьянства, в революционность которого Горький не верил. Друг друга не убедили, но Горький познал несокрушимую волю и убежденность Ленина. Не терпелось увидеть его в действии, глубже понять его и каждого из трехсот сорока двух делегатов съезда, призванных определить путь огромной крестьянской России. Пролетариат — это понятно и близко. Но сумеет ли он, русский пролетариат, деятельный, отважный и такой еще немногочисленный, поджечь отсыревшую душу русского крестьянина? Поднять и повести за собой русского мужика — это все равно что вскипятить Ледовитый океан.



Рабочему бы классу идти вместе с русской интеллигенцией — умной, жертвенной.

Но разговор об этом впереди. А сейчас не хотелось лишать себя праздничного настроения.

И вдруг, когда еще не затихли аплодисменты, возвещающие об открытии съезда, меньшевик Дан отделился от президиума, вышел вперед, развернул листок бумаги, обвел торжествующим взглядом радостных, возбужденных людей и, приподняв руку — внимание! — стал читать выспренне, как манифест:

— «Нижеподписавшиеся делегаты... выражаем глубокое сожаление,— он сделал ударение на слове «глубокое»,— что часть съезда нашла возможным избрать в президиум Ленина...»

Следовало четыре подписи.

Горький гневно кричал вместе со всем правым флангом, негодовал, протестовал. Протестовали и многие меньшевики и большинство центра — поляки, латыши.

Дан вернулся на свое место в президиуме, сел рядом с Лениным. Ленин сидел спокойно, словно речь шла не о нем, но Горький понимал, чего стоит ему эта невозмутимость. Председательствующий Азис уже не звонил, а стучал колокольчиком, словно гвозди забивал в стол. Едва ли высокие своды церкви были когда-нибудь свидетелями такого взрыва страстей.

Продолжать работу было невозможно. Первое заседание съезда закрылось. Праздничное настроение сменилось угнетенным состоянием духа.

«Будет драчка»,— вспомнил Алексей Максимович слова Ленина. О том, что у Ленина много врагов и в самой партии, знал и раньше. Ненавидел меньшевиков непримиримо, бескомпромиссно. Но такой пакости не ждал даже от них.

В церкви бушевали страсти. Плеханов с брезгливой гримасой пробирался к выходу. Дан следовал за ним.

— Вы забываете, что мы на партийном съезде, а не на студенческой сходке. Позор! — услышал Горький сердитый голос.

Плеханов не торопясь обвязал шею шарфом, натянул пальто и, нервически сжимая в руках шапку, покинул церковь.

— Товарищи, товарищи,— уговаривал Ленин своих единомышленников,— вы преувеличиваете значение этого факта. Сражение будет идти по более важным вопросам. Спокойнее.

Горький подошел к Ленину.

— До свидания, Владимир Ильич, до завтра,— сказал он, пожимая ему руку.

Говорить он не мог. Считал, что всякое слово лишнее, а сочувствие — оскорбительно.

Алексей Максимович, взяв жену под руку, шагал по вечерним улицам Лондона. Мария Федоровна понимала, что вступать с ним в разговор, когда он молчит, нельзя. Пусть остынет. А внутри у нее все клокотало от возмущения.

Алексей Максимович покашливал.

— Как страшно, Маруся,— наконец медленно произнес он.— Я чуть не полез в драку. Кричал что-то непотребное. Потом многое хотелось сказать Ильичу, но понял — слов не нужно.

— Может быть, нам зайти к нему и пригласить к себе, чтобы он не оставался в этот вечер один? — предложила Мария Федоровна.

— Нет, нет,— решительно возразил Горький,— я не удержусь, начну зверски ругаться. Ни к чему это... Побродим по улицам.

Лондон жил своей жизнью. Гремели трамваи, позванивали велосипедные звонки, сияли рекламой витрины торговых фирм.

Всё было как обычно, словно в этом городе ничего особенного не происходило.

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА СЕБЯ

Горький, опершись спиной о дверной косяк, остро и пытливо смотрел на Ленина. Вторую неделю он наблюдает его в действии.

Первые дни Алексея Максимовича занимал Плеханов. Он показался ему непроницаемым и загадочным. Приглядевшись острым взглядом художника, Горький увидел позу. Плеханов держал себя все время как перед фотокамерой — знал, что за ним наблюдают сотни глаз. Когда Плеханов выступал, Горький старался постигнуть уже не суть вопроса, а сущность человека, перед величием которого как-то робел.

Плеханов почти каждую фразу начинал со слова «я» и произносил его на английский манер с большой буквы.

— Я благодарю за те симпатии, которыми вы меня встретили... Я знаю, что некоторые обо мне говорят, что Плеханов уже не тот... Да, я недостаточно громко кричу «ура»,— усмехнулся он.— Но вспомните генерала Реада, воспетого Алексеем Толстым... Помните? «Вот ура мы зашумели, да резервы не поспели». Я действительно отказываюсь шуметь «ура» по приглашению большевиков. Некоторые большевики приписывают мне соглашение с абсолютизмом. Но разве я...

Рослый рабочий с кудрявой бородкой, в синей косоворотке поднялся с правой скамейки.

— Что было, то было, товарищ Плеханов,— строго сказал он.

Георгий Валентинович гневно вскинул брови. Не поворачивая головы, медленно перевел тяжелый взгляд на рабочего делегата и пригвоздил его к месту, выдерживая долгую паузу. Вздохнул. Вышел из-за кафедры, встал против дерзкого делегата.

— Товарищ! — с горестным упреком всплеснул руками Плеханов.— Вы кричите «было». И я уверен, что вы совер-

шенно искренне кричите это. Но ведь и та старушка, которая подложила вязанку дров в костер, сжигавший Гуса, тоже была совершенно искренна. И мне, подобно Гусу, остается воскликнуть: «Святая простота!» Святая простота,— повторил он, возвращаясь на кафедру.

Горький сгреб длинными пальцами прядь волос, надвинул ее на глаза. Ему было стыдно. Стыдно за Плеханова.

— Ленин оказался лжепророком,— продолжал Плеханов,— когда говорил, что можно назначить вооруженное восстание на середину или конец августа девятьсот шестого года.

— Ложь! Этого Ленин никогда не говорил! Вы лжете!— кричали, топали, неистовствовали делегаты на правых скамейках.

— Ведь врешь, и зачем врешь? — допрашивал Плеханова рабочий в синей косоворотке.

Горькому стало тошно, но вместе с тем хотелось до конца проследить основную мысль Плеханова, которую он искусно продергивал сквозь лабиринт цитат, анекдотов, исторических параллелей. И Горький следил за этой ниточкой, все яснее обнажавшей неверие Плеханова и в рабочий класс, и в революцию.

Плеханов любил себя и все в себе — и внешнюю элегантность, и холеную бородку, и изящество мысли. Каждый раз после удачного афоризма он замолкал и с восхищением следил за полетом своей мысли. Он пересыпал речь латинскими изречениями, нисколько не заботясь о том, что рабочие делегаты — а их было более ста человек — не знакомы с латынью. Часто Георгий Валентинович брался за пуговицу на сюртуке («любимую пуговицу»,— отметил Горький) и крутил ее, как подкручивают работающий на пределе механизм, хотя речь его текла плавно, блестя бархатным ворсом слов.

И за всем этим неверие, неверие, неверие...

Но ведь именно Плеханов провозгласил, что революция

в России победит только как пролетарская революция. К этому звал, этому учил. Почему же произошло такое превращение? Очевидно, сказался двадцатисемилетний отрыв от родной земли, и великий революционный взрыв пятого года он тоже наблюдал из своего далёка.

Разглядев позу, Горький утратил интерес к этому человеку. А потом уже не сводил глаз с Ленина.

Вот он сидит в президиуме и усердно что-то записывает в блокноте. Вид у него необычный: сбрил бороду, усы слегка обозначены и подчеркивают красивый волевой рот. И даже хорошо, что лыс, иначе волосы скрыли бы правильные формы купола головы. Чертовски молод, завидно молод, хотя всего на два года моложе его, Горького. Подвижен, настороожен. Слушает доклад Мартова. Мартов трогателен в своей искренности, в нем нет рассудочности Плеханова, его блеска, отточенности мысли. Но Мартов, сбитый с ног поражениями революции 1905 года и разуверившись в силах рабочего класса, чуть не со слезами взывает к буржуазии: «Спасите!» Горький видит, как у Ленина ходят желваки на скулах, как, слушая Мартова, он свирепеет. Мартов откровенно ищет «точек соприкосновения» с либеральной буржуазией, с кадетами.

Сколько отравленных злобой стрел пускают в Ильича меньшевики, стараясь как можно больнее ранить, оклеветать, оскорбить! Ленин отмахнулся, как от назойливой мухи, от очередного злобного эпитета по своему адресу, почесал тупым концом карандаша бровь и так застыл, боясь пропустить мысль оратора; карандаш в его руке снова энергично забегал по бумаге, иногда останавливался, начинал что-то чертить. Выпрямил спину, чуть развел плечи — устал сидеть. И вдруг подался вперед, как-то просветлел: выступает рабочий-большевик, и Ленин, слушая его, чувствует себя именинником.

Горький с нетерпением ждал выступления Ленина. Неужели не отобьет нападок от себя, не сразит противника

метким, острым афоризмом, не блеснет знанием истории. Нет, едва ли. Он будет говорить без оглядки на себя, на свое «я». Во всяком случае, не будет сравнивать себя с Яном Гусом, сжигаемым на костре. А ведь он действительно Гус и действительно на костре.

Ленин выступил. Выступил на съезде не один раз и говорил о главном — об исторической миссии пролетариата, о том, что рабочий класс должен быть вожаком, руководителем в революции.

Говорил просто, горячо, и мысль, кристально чистая, не подкрашенная красивостями, убеждала, поражала. Рабочий класс в ленинских выступлениях представал во всей силе и величии. Ленин высвобождал его крылья от тонких и крепких тенет, которыми старательно опутывали его меньшевики.

Горький наблюдал Ильича на заседаниях большевистской фракции. С какой заботливостью и почти нежностью помогал он готовиться к выступлениям рабочим делегатам, отвечал на сотни вопросов, и все это было подчинено единой цели — отстоять самостоятельность рабочего класса.

А в воскресенье ходил вместе со всеми на прогулки. До слез смеялся над немудрящими остротами бродячих циркачей, с наслаждением слушал органный концерт в Вестминстерском аббатстве и вызвался быть гидом при осмотре Национальной библиотеки Британского музея.

ГДЕ ДОСТАТЬ ДЕНЬГИ?

После особо бурного заседания, когда стало очевидно, что большевиков с меньшевиками разделяет непреодолимая пропасть, Владимир Ильич пришел к Горькому в гостиницу.

Его встретила Мария Федоровна.

— Как я рада, что вы пришли! Раздевайтесь. Алеша пошел проветриться, скоро будет.

Владимир Ильич повесил пальто и шляпу, крепко, обеими ладонями провел от бровей к затылку и прошел в комнату.

Это был мрачный номер гостиницы, обставленный громоздкой мебелью. Ковер на полу, тяжелые портьеры на окнах, казалось, не менялись целое столетие и приобрели бурый, прокопченный вид. По темным тисненым обоям прыгали отсветы от камина. В комнате пахло табаком и перегоревшим каменным углем.

И на этом угрюмом фоне как-то особенно светло выделялась фигура Марии Федоровны. В светло-сером платье, с копной рыжевато-каштановых волос, она казалась яркой и чистой свечой в мрачной комнате.

— У вас не сыро? — спросил Владимир Ильич.

— Как везде в Лондоне,— ответила Мария Федоровна.

— Мне показалось, что Алексей Максимович кашляет сильнее обычного. Он не простудился?

— Нет, но здешний климат переносит плохо, а главное— изнервничался за эти дни. Ох уж и возненавидел он меньшевиков!

Владимир Ильич подошел к тумбочке, на которой были сложены стопкой простыни, пощупал их.

— Мария Федоровна, вы посмотрите, простыни совершенно сырые. Не развесить ли их перед камином? На таких простынях и здоровый человек воспаление легких схватит.

Мария Федоровна рассмеялась.

— Милый Владимир Ильич! А я вот не догадалась...

И она, придвинув стулья поближе к камину, развесила на спинки простыни.

— Плохая я хозяйка. И с бухгалтерией совсем запуталась.— Она показала на стол перед диваном, заваленный грудой бумаг.— Ох и ругать же меня надо! Хотя в столовой торгуюсь, как на рынке, сама на кухне отбираю мясо, проверяю котлы, дегустирую. А деньги тают, тают...

— На наши интеллигентские желудки питание вполне

достаточное, но для рабочих делегатов маловато. Особенно плох суп, пожевать в нем нечего.

— Да, английские супы не для русского желудка. Мы с Алешей часто скучаем и по щам, и по гречневой каше. И когда бросаем где-нибудь якорь, я сама принимаюсь стряпать.

— Как у нас с деньгами? Сколько еще можем протянуть? — спросил Владимир Ильич.

— Плохо. Протянем максимум два-три дня, и если съезд к этому времени не закончится...

— Могу заверить вас, что не закончится, хотя меньшевики, кажется, не прочь и сорвать его.

— Тогда давайте соображать.— Мария Федоровна вытряхнула из ридикюля деньги и принялась считать.

Владимир Ильич с чувством трепетного уважения смотрел на склоненное лицо Андреевой. Тонкие пальцы неумело перебирали грязные, засаленные бумажки. Волосы золотистым облаком нависали над высоким лбом, в свете камина четко вырисовывался тонкий профиль. «Готическая актриса»,— назвал ее Станиславский. «Такой актрисы я в жизни не встречал,— говорил о Марии Федоровне Лев Николаевич Толстой,— и красавица, и чудный человек». «Феномен»,— дал ей партийную кличку Владимир Ильич.

Русская женщина! Не разгаданная и никем еще по-настоящему не оцененная. Фортуна щедро наградила ее и редкой красотой, и умом, и талантом. Слава великой актрисы, всеобщая любовь и почитание всегда сопутствовали ей. И всем она пренебрегла с какой-то удивительной легкостью: без чувства жертвенности отдала себя в распоряжение революции и, столкнувшись на жизненном пути с более могучим талантом — Горьким,— не раздумывая стала служить ему, поняла, что нужна ему. И с таким же вдохновением, с каким готовила роль Кете в пьесе Гауптмана «Одинокие», принялась изучать машинопись, чтобы переписывать его рукописи; между делом, словно шутя, овладела английским

языком, чтобы быть его переводчиком, чтобы не есть даром хлеб, не быть на иждивении. И не дрогнула, когда петербургское общество отвернулось от нее — «незаконной» жены Горького; и старалась превратить в забавный фарс шумиху, поднятую американскими газетами о русской актрисе, приехавшей в Америку с Горьким; и весело болтала, когда Горький с белыми от гнева глазами покидал вместе с ней гостиницу, из которой их попросили выехать. На съезде партии не хотела быть только почетной гостьей: взяла на себя тяжелую обязанность — кормить делегатов. Присматривалась, у кого нет на смену чистой рубашки или развалились сапоги, кого нужно показать доктору или получше накормить.

Мария Федоровна подсчитала колонку цифр и вздохнула:

— Бестолковая я хозяйка, право, мне нужно вынести порицание. Эх, не вовремя ушел из жизни Савва Тимофеевич, у него можно было бы перехватить.

Савва Морозов покончил с собой, оставив в наследство Марии Федоровне свой страховой полис — сто тысяч рублей. Из них сорок тысяч ушло на оплату морозовских стипендиатов, а шестьдесят тысяч Мария Федоровна передала в кассу большевистской партии. Но это капля в море. Издание газет, брошюр, организация побегов из тюрем и каторги, вывоз революционеров за границу — все это требует огромных средств. А где их взять? До поражения революции партию содержали сами рабочие, в партийную кассу поступали также взносы литераторов, интеллигентов. А сейчас интеллигенция отшатнулась, рабочие организации разгромлены. В Америке Горький и Андреева сумели собрать не больше десяти тысяч долларов. Большую часть своего гонорара Горький передает партии.

Владимир Ильич озабоченно тер лоб рукой.

— Съезд во что бы то ни стало надо довести до конца. Нельзя ли найти в Лондоне такого же Савву Морозова?

Мария Федоровна сокрушенно развела руками:

— Мы здесь никого не знаем. Надо посоветоваться с Алешей.

Она собрала со стола бумаги, уложила их в папку и поставила на стол коробку с воздушными гильзами, распечатала пачку душистого табаку и стала машинкой набивать гильзы.

— Как хорошо, что вы не курите,— сказала она.— Я подсчитала, Алеша через свои легкие пропустил дыма больше чем от полутораста тысяч папирос. Думала, что потрясу его этой цифрой, испугается, бросит курить. Но нет, он неисправим.

— Грешен, кругом грешен, Маруся,— отозвался Алексей Максимович. Он стоял у порога комнаты, пряча в мохнатые усы довольную улыбку.— Вот не знал, что у нас такой гость,— с чувством тряс он руку Владимиру Ильичу.

— Ну, как вам нравится наш съезд? — спросил Владимир Ильич.

— Великая школа! — ответил Горький.— И какой же подленький народ эти меньшевики, и как славно, что много рабочих на съезде!

— Сто шестнадцать промышленных рабочих, и большинство на наших, правых, скамейках.

— Чем все это кончится?

— Нашей победой,— уверенно ответил Ильич.— А для этого нужны деньги, чтобы закончить съезд. Где достать денег? Мы уже обращались к английским рабочим организациям, у них в кассе пусто, все съела забастовка.

— У меня, Владимир Ильич, денег нет, я живу, как богатый,— в долг.

— Надо выяснить, кто покровительствует церкви Братства.

— Если нужно в залог дать мое имя — я готов,— сказал Алексей Максимович.

У МИСТЕРА ФЕЛЗА

Алексей Максимович чувствовал себя неуютно и скованно в этом кабинете, где рядом с тяжелыми кожаными креслами стояли кокетливые стеклянные горки с образцами продукции: всевозможной формы куски мыла, запечатанные в яркие обертки, склянки с эссенциями, тюбики с мылом для бритья, казалось, распространяли сладковатый запах сквозь стекло. Стены кабинета были увешаны рекламными плакатами. Младенец в пышной кружевной мыльной пене восторженно обещал, что он вырастет крепким и сильным, потому что мама моет его мылом Фелза; синеокая красавица с золотыми волосами доверительно сообщала, что своей красотой она обязана кремам фабрики Фелза; розовощекий старик с пышной голубоватой шевелюрой уверял, что он сохранил и волосы и бодрость духа, употребляя жидкое мыло Фелза. Мистер Фелз, старый, грузный англичанин с квадратным подбородком и седыми козырьками бровей над маленькими щелочками глаз, с обширной лысиной, аккуратно разлинованной реденькими прядками волос, зачесанными от уха до уха, был хмур и неповоротлив.

Беседу вела Мария Федоровна. Прежде чем войти в дом к Фелзу, Алексей Максимович предупредил ее:

— Переговоры веди ты, я буду только представительствовать.

— Нет,— возразила Мария Федоровна,— ты говори что угодно, даже можешь читать стихи, но чтобы англичанин видел, что я перевожу.

— Мне очень лестно познакомиться с русским писателем. Много о вас слышал, но, к сожалению, ваших произведений не читал,— признался Фелз.— Чем могу служить?

— Мистеру Горькому известно, что вы являетесь покровителем церкви Братства и фабианского общества, которое ставит своей целью социализм.

— Христианский социализм,— уточнил англичанин.

— Да-да,— поспешила согласиться Мария Федоровна.— В церкви Братства заседает сейчас съезд Российской социал-демократической партии, которая ставит своей целью построение социалистического общества.

— Христианского? — поинтересовался Фелз.

— Человеческого, народного,— пояснил Горький.

— Для окончания съезда партии необходимы деньги, и мистер Горький надеется, что вы окажете помощь и дадите заем партии.

— Сколько же вы хотели бы получить? — спросил Фелз, отщипнув ножницами кончик сигары.

— Скажи ему: чем больше, тем лучше,— подсказал Алексей Максимович, отказавшись от предложенной ему сигары и затянувшись папиросой.

— Мистер Горький просит пять тысяч фунтов,— с самой очаровательной улыбкой произнесла Мария Федоровна.

Фелз внимательно посмотрел на жену писателя и отметил про себя, как хороша бы она была на плакате с большим куском мыла в руках.

— Таких денег у меня нет.

— Сколько бы вы могли дать?

— А какие гарантии я получу? — поинтересовался Фелз.

— Подпись мистера Горького и президиума съезда.

— Все эти господа имеют недвижимое имущество?

Мария Федоровна рассмеялась.

— О нет.

Мистер Фелз задумался.

— Я хотел бы своими глазами посмотреть, что это за съезд, что за люди присутствуют на нем. Тогда и решу. Могу я посетить съезд?

— Мистер Горький полагает, что это возможно.

ДВА КРЫЛА

Мистер Фелз в вечернем костюме явился в церковь. Мария Федоровна провела его на хоры, где расположились гости съезда и где их ждал Алексей Максимович.

Очередное, двадцать второе заседание съезда уже началось. В молельне стоял невообразимый шум.

— Ого,— произнес Фелз, вставив монокль в глаз,— это похоже на заседание нашего парламента при обсуждении бюджета!

Горький усмехнулся.

— Скажи ему, Маруся, что он прав: обсуждается вопрос о возможности дальнейшей работы съезда ввиду отсутствия денег.

— Меньшевистская фракция не дает согласия на продление съезда, у нас нет денег! — выкрикивал с места молодой высокий грузин.

— Мы не можем оттягивать обсуждение принципиальных вопросов,— ответил ему рабочий в синей косоворотке, тот самый рабочий, которого Плеханов взглядом пригвоздил к месту.

— Закрыть прения... Приступить к обсуждению главного вопроса... Закрыть съезд... Заслушать Ленина!..— улавливал из общего шума выкрики Горький.

Мартов вскочил на скамейку и, размахивая руками, что-то доказывал. На него шикали большевики. Приставив ладони рупором ко рту, Мартов призывал на помощь председателя:

— Прошу остановить господ, которые устраивают здесь скандалы!

— Занесите в протокол, что Мартов называет нас господами! — кричали с правых скамеек.

Председатель с трудом навел порядок.

— Слово об отношении к буржуазным партиям предоставляется Владимиру Ильичу Ленину! — выкрикнул он.

И сразу наступила неожиданная тишина.

Владимир Ильич, энергично размахивая рукой, в которой сжимал блокнот, вышел к трибуне.

Большевики встретили его дружными аплодисментами. Владимир Ильич протестующе поднял руку — не будем терять времени! — сразу начал речь:

— Вопрос об отношении к буржуазным партиям стоит в центре принципиальных разногласий, давно уже разделяющих на два лагеря социал-демократию.

Фелз сбросил в ладонь монокль, заправил за уши очки в толстой оправе, чтобы лучше разглядеть оратора.

— Вам переводить? — спросила его Мария Федоровна.

— Благодарю. Я в русских делах все равно не разберусь. Оратор из России или эмигрант?

— Приехал сюда из Петербурга.

Голос оратора звучал сильно, убежденно. Вот он вышел из-за трибуны и, протянув руку по направлению к левым скамьям, чеканит каждое слово, в чем-то обвиняет их при полном одобрении сидящих справа. Фелзу стало ясно, что оратор выражает мнение правых.

Делегаты на правой стороне оторвались от спинок скамеек, подались вперед, внимают оратору. На левых скамейках сидят вразвалку, перешептываются, бросают какие-то злые реплики, которые гневом взрывают сидящих справа. Здесь две партии, два враждебных друг другу лагеря, понимает англичанин. Сидящие в центре не устраивают обструкций оратору, но они не едины. Вот впереди человек в очках, по виду европейский интеллигент. Он прислушивается, подставив согнутую ладонь к уху, не выражая ни своего одобрения, ни протеста. Но вот, кажется, речь оратора захватывает и его, в чем-то убеждает. Он все чаще в знак согласия кивает головой и досадливо машет рукой, когда начинаются выкрики слева.

Горький забыл об англичанине. Забыл обо всем. Опершись подбородком на сложенные одна на другую ладони, он

слушает Ильича и чувствует, как очищается от сомнений, как приводит в порядок собственный строй мыслей. Так бывает в дороге на рассвете, когда мгла стирает очертания пейзажа,— о нем догадываешься, его стараешься представить. Кажется, что небо светлеет над высокими вершинами гор, дорогу впереди прерывает овраг и вокруг непроходимая чащоба. Но вот всходит солнце, и то, что принимал за горы, оказывается густой грядой облаков, а там, где, казалось, залегли тучи, вырисовывается вдруг горный хребет и густой, непроходимый лес превращается в стройный, чистый бор.

В речи Ленина четко и зримо предстают общественные силы России в революции. Все становится на свое место. Ленин выводит пролетариат в авангард. Вот его место в истории. Его союзник против царя и помещика не буржуазия, а крестьянство.

Горький видит, как речь Ленина сплачивает силы большевиков, дробит левый, меньшевистский, фланг, отрывает одного за другим представителей центра.

Теперь уже видно, что многие делегаты в косоворотках, в рабочих пиджаках неловко себя чувствуют среди меньшевиков: они сердцем и умом с сидящими справа, с большевиками. И центр уже явно на стороне Ленина.

Ильич не поучает — он анализирует, не подбирает эпитеты в отношении меньшевиков, а вышелушивает из их многословных выступлений основные положения и доказывает их несостоятельность. Слышишь не то, как он говорит, а *что* он говорит: слова, заряженные большой мыслью, превращаются в идею, которая овладевает умами, очищает, воодушевляет.

Мария Федоровна взглянула на Алексея Максимовича. Он вытирал ладонями слезы. Так бывает с ним всегда, когда он открывает для себя чудо, созерцая великое творение художника. Он по-настоящему счастлив, а когда счастлив — плачет.

Ленин закончил речь:

— ...пролетариат пойдет дружнее и смелее на новую социалистическую революцию.

— Хорошо, Маруся, хорошо,— говорил Горький, аплодируя Ильичу.— Словно топал по болоту, застревал в камышах, дышал гнилостными испарениями, и вдруг тебя подхватило чистым потоком и вынесло на раздолье, на чистый воздух. Ах, как хорош Ильич!

Фелз поднялся с места и, засовывая очки в футляр, сказал:

— Это удивительный оратор! Он меня в чем-то убедил, хотя я не понял ни одного слова. Но я увидел сильного лидера и увидел две враждебные друг другу партии. Для какой же из них мистер Горький просит заем?

— Для обеих,— пояснила Мария Федоровна.— Это две фракции одной партии, два ее крыла.

— Одно крыло орлиное, а другое — летучей мыши,— заметил Горький, обращаясь к Марии Федоровне.

— Все делегаты из России? — прикидывая что-то в уме, спросил фабрикант.

— Да,— ответила Мария Федоровна,— за исключением нескольких человек, которые постоянно живут в эмиграции.

— Ну что ж,— сказал Фелз,— наша община называется Братством, и мы должны помогать друг другу. Я дам заем, но под солидные гарантии.

— Какие?

— Заемное обязательство должны подписать все участники съезда и указать, какой организацией и из какого города они делегированы.

— Но это может причинить большие неприятности этим людям. Все они разыскиваются полицией, и если этот список попадет в руки царского правительства...— возразил Горький.

— Мне нужны крепкие гарантии,— холодно ответил Фелз.— Если делегаты выполнят взятое на себя обязательство и вернут мне долг, им ничего не грозит. Я даю вам мои

капиталы, члены съезда дают мне в залог свою безопасность, русский писатель — свое имя.

Горький помрачнел. Капиталист понимал, что самая большая драгоценность для этих людей — свобода.

— Сколько при этих условиях вы можете дать? — спросила Мария Федоровна.

— Семнадцать сотен, не больше...

Перед началом вечернего заседания делегаты съезда подписывали заемное обязательство — подписывали кличками и фамилиями, под которыми выступали на съезде.

ВСЕ СТАЛО ЯСНО!

Поздно вечером Владимир Ильич вернулся в гостиницу. В вестибюле его дожидались Алексей Максимович и Мария Федоровна.

— Ну как, выдал деньги ваш мыловар?

Мария Федоровна, сияющая, как после успешной премьеры, взяла под руку Владимира Ильича. Вошли в номер. Андреева не торопясь стянула лайковые перчатки и стала выкладывать на стол деньги. Владимир Ильич перебирал пачки и радовался, как ребенок.

Горький сидел в стороне и, положив шляпу на колени, от души смеялся. Никогда он не думал, что такого бессребреника, как Владимир Ильич, могут обрадовать эти зеленые и синие продолговатые бумажки, эти пачки денег, похожие на толстые плитки детского шоколада.

— Какое счастье! — повторял Владимир Ильич.— Теперь мы сможем продолжить работу съезда. И, безусловно, победим!

Мария Федоровна бережно укладывала деньги в ридикюль.

— Как дороги бывают эти проклятые деньги! — заметил Горький.

— Да, да,— подхватил Ильич.— Теперь съезд закончит работу, мы обеспечим делегатам обратный выезд. Спасибо вам.

— Вы не представляете себе, Владимир Ильич, как начинил меня этот съезд. Как все стало ясно, и как все встало на свое место. Спасибо вам.— Алексей Максимович крепко сжал руку Владимиру Ильичу.— Итак, до завтра.

— Спасибо, спасибо, дорогая Мария Федоровна,— растроганно благодарил Владимир Ильич Андрееву.— И не потеряйте, пожалуйста, ридикюль.

Мария Федоровна звонко рассмеялась и крепко прижала сумку к груди.

Горький с женой вышли из гостиницы; моросил мелкий дождь, тускло светили фонари. Алексей Максимович поднял голову. В освещенном окне стоял Владимир Ильич. Горький снял шляпу и широко помахал.

Владимир Ильич показывал знаками, чтобы Горький поднял воротник пальто и водрузил на место шляпу, укоризненно покачивал головой: мол, простудитесь.

Горький надвинул на глаза шляпу, поднял воротник и, не отрывая глаз от освещенного окна, тихо произнес:

— Ах, Маруся, как хорош Ильич! Великое дитя окаянного мира сего!

Моросил мелкий дождь, масляными пятнами расплывался свет уличных фонарей, тренькали рожки редких извозчиков, в домах одно за другим гасли окна.

ДОМИК НА СКАЛЕ

ПОЗДНИЙ ГОСТЬ

Вальс Сибелиуса звучал празднично, молодо, и фрёкен Анна попросила сестру исполнить его еще раз. Был субботний вечер. Сестры отдыхали. Фрекен Анна всю неделю растолковывала студентам правила спряжения немецких глаголов и теперь, удобно устроившись в глубоком кресле, вышивала. Сонни тоже наскучили ежедневные музыкальные упражнения с учениками, и она еле дождалась субботнего вечера, чтобы разучить новый вальс любимого композитора.

Обе женщины были уже немолоды: у фрекен Анны серебрились виски, фрекен Сонни по утрам тоже с опаской поглядывала в зеркало. За последние десять — пятнадцать лет в жизни сестер Винстен мало что изменилось: попугай все так же красовался в своей клетке и выкрикивал все те же давно заученные слова; карликовые кактусы не росли и не старели; увеличилось лишь число вышитых Анной подушечек, да темнее становилось с каждым годом в комнатах от разросшегося вокруг леса. По-прежнему приходили и уходили ученики и квартиранты, грозные события в мире проносились стороной, как проносится ураган или гроза. И если бы не зеркало, можно было подумать, что жизнь в этом домике остановилась...

В гостиной было тепло и уютно. На фортепьяно и на круглом столе горели свечи, и причудливые тени трепетали по стенам. Попугай, засунув клюв в перья, покачивался в коль-

це; белый шпиц, похожий на большой клубок шерсти, дремал у ног Анны.

Трудно было поверить, что за стенами дома угрюмо шумят голые деревья и ноябрьский ветер сметает с мокрых скал желтые листья.

Прогромыхал поезд, и свисток паровоза пронизал лес.

Анна принялась сматывать нитки: когда через станцию Оглбю проходит вечерний почтовый поезд, значит, пора идти спать.

Прозвучали заключительные аккорды. Сонни опустила руки на колени. Грохот поезда всегда напоминал, что совсем близко, в двенадцати километрах отсюда, в Гельсингфорсе, еще шумно. Там только начинается разъезд из театра.

— Как давно мы не были с тобой в опере, мне так хочется послушать петербургских артистов! — пожаловалась Сонни, повернувшись на круглом табурете к сестре. В ее синих глазах засверкали слезы.— Мы давно с тобой не веселились, так редко бываем в обществе.

— Не надо гневить бога,— строго заметила Анна,— нам хорошо и здесь. Я привыкла к тишине и покою. Покой сейчас главное в жизни.

И, словно наперекор ее словам, шпиц вдруг хрипло тявкнул, а попугай повернул голову набок и сверкнул настороженным глазом. «Карл, Свен, Юхан, сюда!» — закричал он по-хозяйски басом.

По каменным плитам дворика кто-то шел. Сестры переглянулись: кто мог быть в такой поздний час?

Раздался стук в дверь.

Попугай воинственно завертел головой и продолжал сзывать мужчин.

Анна взяла со стола тяжелый подсвечник и, загораживая пламя рукой, пошла в переднюю. Сонни шествовала за ней, молитвенно сложив руки.

— Во имя святой девы, кто это? — спросила Анна по-шведски.

— Друг госпожи Колан, инженер Петров,— ответил спокойный мужской голос с сильным славянским акцентом.

Анна боязливо открыла дверь.

Пламя свечки на тоненьком фитильке затрепетало и чуть не погасло.

— Добрый вечер! — произнес незнакомец, сняв блестевший от дождя котелок. Лысеющий высокий лоб и светлые усы совсем не старили его, живые темные глаза смотрели мягко и приветливо.

— Добро пожаловать! — ответила Анна и пригласила гостя пройти в комнату.

Шпиц отправился спать на свою перинку, а Сонни накрыла клетку попугая темным платком, и он замолчал.

— Это покойный отец научил попугая кричать, чтобы непрошеные гости думали, что мы с сестрой не одни в доме,— объяснила Сонни, как бы извиняясь за попугая.

Незнакомец понимающе кивнул головой.

— Фру Колан сообщила мне, что вы можете сдать комнату с полным пансионом и что мне можно явиться к вам даже в такой поздний час,— сказал он хозяйкам и попросил разрешения говорить по-немецки.

— Да, да, фру Колан говорила нам о вас. Мы можем отвести вам комнату во флигеле, там живут два финских студента, но они приходят только ночевать...— Сонни уже совсем успокоилась.— Как вы нашли дорогу в темноте? — поинтересовалась она.

— Фру Колан очень подробно описала мне, как пройти от станции к пансиону «Гердобакка». Я мог бы найти ваш пансион с закрытыми глазами.

За два дня до этого у сестер побывала фру Колан, подруга юности Анны. Теперь она была замужем за финским офицером и жила в Гельсингфорсе. Фру Колан попросила сдать комнату русскому инженеру, весьма благовоспитанному человеку, которого ей рекомендовала почтенная старушка «Виргиния Смирноф».

Анна накинула на плечи шаль и пригласила нового квартиранта во флигель.

— У господина Петрова приятные манеры, и он, видно, интеллигентный человек,— поделилась с сестрой Анна, вернувшись из флигеля.— Он раскрыл саквояж, и я увидела там книги. Он сказал, что целые дни будет писать и по вечерам выходить на прогулку в лес. Я пригласила его обедать с нами...

— Может быть, он русский революционер? — боязливо спросила Сонни.

— Я уверена в этом,— спокойно ответила Анна.

Сонни испуганно взглянула на сестру:

— Но подумай, что пишут газеты!

Газеты приносили из России страшные вести. Смертные приговоры, казни, погромы. Русский царь жестоко мстил народу за революцию. Говорили, что царь собирается отнять у финнов их конституцию, русские жандармы уже без стеснения заглядывают в Финляндию.

Анна подняла глаза на картину, висевшую над диваном: белокурая девушка с такими же синими, как у Сонни, глазами держит в руках книгу «Финляндская конституция», а огромный злющий орел распластал над головой девушки черные крылья, пытается вырвать книгу из ее рук и вонзить когти в обнаженные плечи...

— Конечно, инженер Петров здесь не случайно,—задумчиво говорит Анна.— Иначе зачем бы фру Колан просила никому не рассказывать, что у нас живет русский.

...Владимир Ильич осмотрел свое новое жилище. Перед окном — письменный стол, у противоположной стены — узкая кровать, возле нее — умывальный столик с большим фаянсовым тазом и кувшином. У стены, напротив двери,— диван, заваленный множеством вышитых подушечек, перед диваном — круглый стол. Справа от двери угол комнаты занимает зеленая изразцовая печь.

Владимир Ильич вынул из жилетного кармана часы и

завел их ключиком. Был первый час ночи — пожалуй, еще можно поработать. Снял пиджак, повесил на вешалку, вынул из саквояжа люстриновую куртку, порядком поношенную, надел ее и уселся за стол...

Тяжелые капли дождя шлепаются в стекла и извилистыми ручейками сбегают вниз. За окном мечутся по ветру черные тени ветвей.

Перед глазами Владимира Ильича возникает огромная Россия. Миллионы разоренных крестьянских дворов. Темные, униженные мужики, тоскующие по земле. А земля в руках помещиков и кулаков, и почти у каждого более пятисот десятин лучшей земли.

В дни революции крестьяне жгли ненавистные им помещичьи усадьбы, восставали против рабской жизни, забирали в свои руки землю.

Теперь революция подавлена. Озверевший царизм пытается снова загнать народ под ярмо. Партия большевиков готовится к новому штурму. Как вызволить крестьянина из беды? Советчиков у мужиков много, в друзья набиваются все. Но кто из них честен, бескорыстен? Только рабочий класс, большевики.

Путь, который предлагают большевики,— это уничтожение помещичьих владений, передача всей земли в собственность государства. Но не царское правительство помещиков и капиталистов должно распоряжаться землей. Без свержения царизма земля не станет народным достоянием.

Рабочие и крестьяне совершат эту революцию, и рабочий класс будет ее руководителем.

Этот вывод надо доказать, научно обосновать и прежде всего разбить аграрные программы лжедрузей крестьянства — октябристов, кадетов, эсеров, меньшевиков...

Чуть постукивая полусогнутыми пальцами по столу, Владимир Ильич что-то говорит шепотком, затем обмакивает перо в чернила и начинает писать...

ОГОНЬ

— Уж очень у нас с вами, Владимир Мартынович, деловой вид, это может броситься в глаза,— заметила Надежда Константиновна и предложила своему спутнику взять ее под руку.

Они шли по шоссе, недавно проложенному через лес и скалы. На обочинах еще высились груды присыпанных снегом камней и гравия.

— В прошлом году здесь по ночам гремели взрывы,— сказал Владимир Мартынович, поглядывая на покрытые инеем гранитные скалы по обеим сторонам дороги.

Надежда Константиновна кивнула головой. На финляндской земле, усеянной древними валунами, без динамита дороги не проложишь...

— Дорогу, по которой мы с вами, Надежда Константиновна, шагаем, прокладывали большевики,— неожиданно добавил Владимир Мартынович.

Надежда Константиновна вопросительно посмотрела на своего спутника. Повадку Владимира Мартыновича говорить загадками она знала.

— Наши боевики изобрели в прошлом году новые бомбы,— продолжал Смирнов,— готовились к вооруженному восстанию. Ну, а пока новое оружие не испытано, его и за оружие считать нельзя. Где же его испытать? Мы узнали, что финны строят здесь шоссе и взрывают по ночам скалы. И вот наши боевики «включились» в строительные артели. Финны диву давались — заложат динамит в одном месте, а взрывы происходят... в двух местах. Это наши испытывали бомбы. Финны до сих пор не знают, что большевики помогали им прокладывать дорогу.

— Большевики многим помогают прокладывать путь,— задумчиво сказала Надежда Константиновна.—Может быть, нам пора разойтись в разные стороны? За поворотом виден поселок. Это и есть поселок Оглбю?

— Да, да, я объясню вам, как пройти дальше. Здесь я уже примелькался. Лучше вам идти одной.— И Владимир Мартынович показал дорогу.

— Надеюсь, сестры Винстен впустят меня,— сказала Надежда Константиновна.—Обратно в Гельсингфорс я доберусь сама. Спасибо вам.

Они распрощались.

Надежда Константиновна, засунув руки в муфту, пошла вперед. Владимир Мартынович долго смотрел ей вслед.

В комнате холодно, на подоконнике наросты льда. Печка полна дров. Под дровами — горка березовой коры, на печном карнизе — коробок со спичками. Владимир Ильич подносит зажженную спичку к коре, и березовые шкурки, сердито треща, свертываются в тугие катушки. Огонь слизывает прозрачную шелуху, цепляется за шероховатую поверхность поленьев и прирастает к ним. И вот уже задрожали, заискрились сизо-желтые астры огня. Мокрое полено брюзгливо зашипело, запузырилось, огонь проворно отскочил и, вытянувшись плашмя под сырым поленом, пополз к задней стенке печки... В комнату выбился горьковатый запах дегтя.

Владимир Ильич прикрыл решетчатую дверцу печки — огонь забурлил, заревел, железная решетка заходила ходуном и отчаянно задребезжала. Ярко-красные угольки стали вываливаться из отверстий решетки, они падали на медный поддон и мгновенно покрывались серым пушистым пеплом.

Владимир Ильич не заметил, как дверь в комнату открылась.

— Я так и знала, что ты и тут уговоришь хозяев доверить тебе печку.

Владимир Ильич быстро обернулся:

— Надюша! — и протянул обе руки навстречу Надежде Константиновне.— Как я рад, что ты здесь! Никак не думал,

что сегодня приедешь.— Он помог Надежде Константиновне снять пальто и пододвинул стул поближе к огню.— Садись сюда, милый друг, у тебя совсем застыли руки. Я сейчас попрошу чаю.

Надежда Константиновна осмотрелась. Опять новое пристанище. Сколько же за последние два года, спасаясь от шпиков и преследований охранки, Ильич сменил квартир, мест ночевок! Она задумалась. Кажется, квартир двадцать, если не больше...

Она села перед печкой. Огонь освещал ее усталое лицо.

— Ну, как ты? — спросил Владимир Ильич, вернувшись от хозяйки и вглядываясь в лицо Надежды Константиновны.

— А тебя по-прежнему мучает бессонница? — вместо ответа спросила она.

— Нет-нет, сплю как сурок.

— Что-то не верится, ты дурно выглядишь. Много работаешь.— Надежда Константиновна посмотрела на большие стопки книг и журналов, разложенные на столе и стульях, и груду отчетов Государственной думы на подоконнике.— Откуда столько?

— Большая удача, Надюша: Владимир Мартынович снабжает. Вчера привез даже отчеты Думы. А рукописи мои печатает барышня из императорского финляндского сената — тоже его забота. И, представь себе, барышня из сената делает эту сверхурочную работу довольно дешево.

Фрекен Анна торжественно внесла поднос с чашками и печеньем и пригласила к столу.

Надежда Константиновна с большой похвалой отозвалась о сахарных крендельках, горкой уложенных в сухарнице, и фрекен Анна расцвела от удовольствия.

— А ты по-прежнему сладкогрызка! — заметил Владимир Ильич.

Хозяйка ушла, и Надежда Константиновна смогла рассказать о положении в Питере. Проваливаются одна за дру-

гой типографии, целые партийные группы. Видно, охранке удалось внедрить провокаторов в партию. Жандармерия получила приказ перейти границу и действовать в Финляндии «как у себя дома». Против большевиков натравлены отборные полицейские силы.

Надежда Константиновна вынула из-под подкладки муфты пачку писем, протянула их Владимиру Ильичу.

— Читай, а я пока наведу порядок в твоем хозяйстве,— сказала она и, сняв с вешалки пиджак, принялась укреплять на нем пуговицы.

— Ты чем-то обеспокоена? — спросил Владимир Ильич, чувствуя, что Надежда Константиновна взволнована.— Ну-ка, признавайся, почему приехала на два дня раньше? Почему нарушила «конвенцию»?

— Просто так, соскучилась...

— А еще почему? — допытывается он.

— А еще... еще товарищи просили передать тебе циркуляр департамента полиции, в устной копии, конечно. В нем много забавного.— Она отложила пиджак в сторону.— Послушай-ка, что там написано: «Владимир Ильич Ульянов, псевдоним Н. Ленин. Потомственный дворянин. Православный...»

— Ну, это как сказать,— пожимает плечами Владимир Ильич.

— «Женат, роста среднего».

— Это правильно.

— «Бло-о-ондин»,— смеется Надежда Константиновна и посматривает на рыжеватые усы Владимира Ильича.

Смеется и он.

— «Возраст сорок два — сорок четыре года».— Эти слова она произносит уже совсем лукаво.

— Вот это возмутительно. Это просто черт знает что такое.— Владимир Ильич встал и прошелся по комнате.— Надюша! Неужели мне и в самом деле можно дать на пять—семь лет больше? А?.. Теперь я понимаю, почему шпики на

меня часто поглядывают в недоумении. Им, наверно, говорят, что глаза у меня голубые и кудри вьются хмелем... Ну-ну, а дальше?

— Дальше? Дальше написано вот что: «...того Ульянова арестовать, обыскать и препроводить в распоряжение следователя 27-го участка города Санкт-Петербурга».

— Так и написано: «Препроводить»?.. Ну, это не выйдет!

Владимир Ильич снова зашагал по комнате.

— От какого числа циркуляр? — спросил он быстро.

— От двадцать третьего июня тысяча девятьсот седьмого года.

— Сегодня ноябрь, а циркуляр до сих пор не исполнен.

— И нельзя допустить, чтобы он был исполнен,— заметила Надежда Константиновна.

— Совершенно верно. Значит, мне надо дописать аграрную программу и подготовиться к тому,— он чуть помедлил,— чтобы выбраться в зону недосягаемости. Давай-ка подумаем, кому ты можешь передать свои дела в Питере и что еще надо сделать.

Они занялись обсуждением неотложных дел, и замороженное окно в домике на гранитной скале искрилось и мерцало до самого рассвета.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ

С тяжелой корзиной, нагруженной провизией, фрекен Анна подошла к газетному киоску на Сенатской площади. Дважды в неделю приезжает она за продуктами в Гельсингфорс; сегодня надо еще купить газеты инженеру Петрову.

Афиши с заголовками газет наклеены по обеим сторонам киоска на огромных щитах. «Восшествие на престол шведского короля Густава-Адольфа». Анна перекрестилась,

она была набожной шведкой. «Во Владивостоке двадцать матросов приговорены к смертной казни и двадцать четыре к каторге. В Варшаве к смертной казни приговорено четыре мятежника». Она перевела взгляд на другую афишу. «В Киеве исключено из университета 700 студентов и 1500 курсисток с женских курсов». «В Кутаиси закрыты все учебные заведения». «В Москве за невзнос платы за обучение исключено 1398 студентов». «В Московский университет введена полиция»...

Наскоро отобрав пачку газет на русском, шведском и немецком языках, она кивнула проезжавшему мимо извозчику. Хотелось поскорее оставить эту площадь с бронзовым русским царем на пьедестале, выбраться из города, не видеть этих сообщений о казнях, отгородиться от всех ужасов. Страшно подумать, что творится в России...

Когда фрекен Анна вернулась домой, ее квартирант уже дожидался в гостиной. Он тут же взял газеты и начал быстро их просматривать. В «Петербургской газете» отчеркнул карандашом сообщение: 23 ноября в Питере бастовало 11 тысяч рабочих в знак протеста против суда над социал-демократической фракцией Государственной думы. Какая нужна беззаветная вера в свою партию, чтобы в обстановке такого жесточайшего террора поднять голос в защиту партийных представителей! Рабочие верят своей партии. Просматривая кадетскую «Речь», Владимир Ильич усмехнулся. Любопытно! На станции Келломяки агенты охранного отделения произвели обыск на даче какого-то Ульянова. «Решили, наверное, что я в Финляндии снимаю дачу на свое имя».

Он бросил «Речь» на стол, но взгляд его задержался на объявлении в широкой рамке. Кадетская газета приглашала покупать сочинения Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Владимир Ильич рассмеялся. Вот что значит коммерция! Газета выступает против большевиков, предает анафеме марксистов и в то же время призывает покупать марксист-

скую литературу. Не мудрено — за объявления платят деньги, и немалые.

Анна выкладывала из корзины покупки и с недоумением смотрела на квартиранта.

— Что вас так развеселило, господин Петров?

— Прочитал забавное объявление. Любители наживы дешево продают свои принципы, фрекен Анна.

— О господин Петров, напротив, все ужасно подорожало, особенно молоко. Городские газеты призывают покупателей устроить бойкот и не покупать молока, пока на него не снизят цены.

— Боюсь, что это не поможет. Покупатели разрозненны, а молоком торгует объединение...

В гостиную вбежала Сонни: на ней был фартук, в руках большая деревянная ложка.

— К нам идет констебль и с ним русский полицейский,— сообщила она срывающимся голосом.

— Карл, Свен, Юхан, сюда! — закричал попугай.

Владимир Ильич быстро встал со стула, подошел к Сонни и притронулся к ее руке:

— Пожалуйста, будьте спокойны. Примите их как следует и поговорите...

— Но я должна пригласить их в эту комнату! — с отчаянием воскликнула Сонни.

— Конечно,— подтвердил Владимир Ильич.

— А вы?

— Обо мне не беспокойтесь, я останусь под защитой фрекен Анны,— ободряюще улыбнулся инженер Петров.

Сонни набросила на продолжавшего кричать попугая темный платок и, ничего не понимая, вышла в переднюю, чтобы встретить непрошеных гостей.

Когда она ввела констебля и полицейского в гостиную, она увидела, что квартирант сидит за ученическим столом, лицом к окну, и, подперев щеку левой рукой, что-то старательно пишет.

Анна сидела по другую сторону стола с раскрытой книгой в руках.

— Это хозяйка пансиона фрекен Винстен.— Констебль отрекомендовал Анну русскому полицейскому.— Она учительница немецкого языка, всеми уважаемая барышня. Мы не помешаем вам, фрекен Анна?

— Надеюсь, что нет,— спокойно ответила Анна.— У меня урок. Все необходимые справки вам даст сестра.

Сонни тем временем ждала, пока констебль договорится с полицейским — они объяснялись по-русски,— и посматривала на Анну.

— Назовите мне неправильные глаголы первого спряжения второго класса,— сказала Анна по-немецки своему ученику.

Инженер Петров ответил:

— Неправильный глагол ершрекен [1]. Ершрекен, ершрак, ершрокен. Но я, фрекен Анна, предпочитаю употреблять этот глагол с отрицанием. Алзо, вир хабен унс нихт ершрокен [2].

— Совершенно верно,— подтвердила учительница. Она вполне овладела собой и придирчиво спрашивала ученика, искренне удивляясь его великолепному знанию немецкой грамматики.

Русский полицейский записал фамилии двух студентов, которых назвала Сонни, и оглянулся, чтобы получше разглядеть ученика фрекен Анны.

Тот сидел вполоборота, не отнимая руки от лица, и читал по-немецки. Полицейский заметил только лысеющую голову студента.

— Что это за человек? — спросил он у констебля.

— Финский студент,— ответил тот.

Полицейский осведомился у Сонни, не приходил ли к ним русский, по фамилии Ульянов, или Ильин, а может быть, Ленин, возможно даже — полицейский полистал тет-

[1] Пугаться *(нем.)*.

[2] Итак, мы не испугались *(нем.)*.

радь — Карпов, мужчина огромной силы и с громовым голосом.

— Нет, нет,— убежденно ответила Сонни,— такой человек к нам не являлся.

Анна отметила, как весело смеялись глаза инженера Петрова.

Русский полицейский строгим тоном через констебля передал Сонни, что, если такой человек у них появится, они должны немедленно заявить в полицию.

Собравшись уходить, он еще раз исподлобья бросил взгляд на ученика фрекен Анны. Студент что-то с увлечением читал, словно был в комнате только вдвоем с учительницей. Анна кивала в такт чтению головой и, забыв о полицейских, повторяла вслед за инженером Петровым:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
Дитя, и муж, и старец пусть ведет... [1]

— Крамольная картинка,— буркнул полицейский констеблю, указывая на изображение белокурой девушки с книгой в руках.— Власти в Петербурге за распространение этой картинки весьма строго карают. Да-с! Обратите внимание,— приказал он констеблю.

Проводив полицейских, Сонни, обессиленная, опустилась на стул. Она чуть не плакала от пережитого волнения.

— Что будет? Что будет? Он так пристально смотрел на вас, господин Петров. Констебль тоже был чем-то смущен.

— Все прошло отлично, уверяю вас,— успокаивал встревоженных хозяек Владимир Ильич.— А вы действительно мужественные женщины.

— Алзо, вир хабен унс нихт ершрокен! — повеселевшим голосом ответила Анна.

---

[1] Гёте, «Фауст».

*

Под вечер пришел Владимир Мартынович. Он был взволнован и заикался больше обычного.

— Я привез плохие вести, Владимир Ильич. У меня только что была барышня из сената — та, что перепечатывает ваши рукописи. Сегодня она печатала решение императорского финляндского сената о выдаче царскому правительству всех русских революционеров.

— Что ж, от финляндской буржуазии иного и ждать было нечего. Вы предупредили товарищей?

— Да, да. Кроме того, приезжал товарищ из Питера и просил вам передать, что петербургская судебная палата вынесла приговор об уничтожении книги «Две тактики». Вынесено решение о конфискации вашего сборника «За 12 лет», и возбуждено дело о привлечении автора книги к суду.

— И, как мне кажется, охранке стало известно мое местопребывание... Давайте-ка подумаем, дорогой Владимир Мартынович, как поступить дальше.— Владимир Ильич прошелся по комнате.— Очень прошу вас помочь Надежде Константиновне выбраться в Стокгольм. Ей понадобится несколько дней на организацию дел в Петербурге. Я выеду в Швецию немедленно. Мне нужен паспорт, лучше немецкий. Уйду отсюда следом за вами. Хозяйкам скажу, что поехал в Гельсингфорс по делам и скоро вернусь. Вам же нужно будет приехать сюда завтра и расплатиться, забрать книги. Сейчас не следует создавать впечатления моего бегства. Это обеспокоит хозяек — они и так сегодня поволновались.

— Опять в Швейцарию? — спросил Владимир Мартынович.

— Да-да, в сонную, затхлую Женеву, в растреклятую эмиграцию.

ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА

Пассажиры почтового поезда Гельсингфорс — Або дремали под равномерное постукивание колес, удобно устроившись в креслах. Был одиннадцатый час ночи. В купе вместе с Владимиром Ильичем ехали пожилые люди — муж и жена. Муж спал, прикрыв лицо носовым платком, и звучно храпел. Его жена, чопорная шведка, слегка толкала мужа в бок и озабоченно поглядывала на многочисленные саквояжи и баулы. Глаза ее стали все чаще и чаще закрываться, и, привалившись к плечу мужа, она тоже заснула.

Владимир Ильич, сидя в кресле, казалось, дремал. Иногда он открывал один глаз и посматривал на фотографию какого-то собора, висевшую в рамке под стеклом на противоположной стене купе. Не поворачивая головы к двери, он, словно в зеркале, видел на блестящей поверхности фотографии отражение прогуливающегося по коридору мужчины. Движения мужчины были неторопливы, одет он был в хороший костюм, высокий белый воротничок плотно облегал его жилистую шею. Внимание Владимира Ильича привлек нарочито равнодушный вид этого странного пассажира. Перед каждой остановкой поезда и во время остановок он проходил мимо застекленной двери купе и скользил по фигуре Владимира Ильича оловянным, равнодушным взглядом. «Шпик,— определил Владимир Ильич,— и, несомненно, из питерских, натренированный. «Недремлющий». Я его даже где-то видел».

Когда поезд остановился, Владимир Ильич надел пальто, шапку и направился к выходу. «Недремлющий» шагал по коридору.

Увидев своего поднадзорного в пальто, шпик растерялся, но затем опрометью бросился в свое купе, схватил пальто и, никак не попадая в рукава, опять выскочил в коридор. На площадке он чуть не сбил с ног задержавшегося Владимира Ильича.

Предположение Владимира Ильича оправдалось. За ним следили.

На следующей остановке Владимир Ильич снова вышел прогуляться и больше уже не снимал пальто, тем более что в вагоне заметно похолодало.

На одной из остановок он заметил вторую пару оловянных глаз.

«Прислали подкрепление»,— отметил Владимир Ильич.

Теперь сыщики выходили на остановках по очереди.

Поезд прибыл на станцию Литтойнен. Это была последняя остановка, а там уже Або — западный пограничный пункт княжества Финляндского, тупик Российской империи. Там кончался железнодорожный путь. У города Або река Аура сливалась с водами Ботнического залива. Дальше была только одна дорога — по морю.

На станции Литтойнен Владимир Ильич вышел на перрон и стал прогуливаться — точно так же, как он это делал раньше, на предыдущих станциях. Теперь, пожалуй, он шагал чуть медленнее и был более задумчив.

Оба шпика ходили за ним по пятам. Еще бы! Не хватало, чтобы на последней остановке перед Або поднадзорный ушел из их рук.

Раздался второй звонок. Владимир Ильич не торопясь поднялся в вагон и прошел на свое место.

Третий звонок, свисток — и поезд тронулся.

«Недремлющий» заглянул в купе, уже не таясь и не стесняясь. Его поднадзорный сидел в своем кресле и изучал пароходное расписание, разложенное на столике.

Филер тихонько хихикнул и зашел в купе к напарнику.

В Або все должно быть подготовлено: пока подойдут агенты охранного отделения, он с напарником схватит поднадзорного за руки, а у вокзала за углом их ожидает полицейская карета.

Поезд набирал ход.

Вскоре в окне вагона замелькали портовые огни Або.

— Я пойду в конец вагона и буду идти сзади него, а ты выходи вперед,— распорядился «Недремлющий».— Да смотри в оба: прозеваешь, голову оторвут.

«Недремлющий» прошелся по коридору и бросил взгляд в знакомое купе. Пожилой швед снимал с полки корзины, баулы, саквояжи. Его жена водрузила себе на голову шляпу и прикалывала ее огромной булавкой к волосам. Супруги загородили все купе, и шпик не сразу смог разглядеть своего поднадзорного. Он прошел дальше по коридору и, возвращаясь обратно, вновь заглянул в купе и тут обнаружил, что его не видно. Что за оказия?

Предчувствуя что-то неладное, шпик рванул дверь в купе, грубо отстранил супругов и почти ткнулся носом в пустое кресло у окна. К ужасу своему, он понял, что его в купе нет...

На столе лежало раскрытое пароходное расписание Або—Стокгольм. «Недремлющий» тронул пальцами оконное стекло — стекло было на месте.

Филер метнулся к себе в купе.

— Его там нет,— только и мог он произнести.

Оба шпика ринулись в тамбур.

Проход в другой вагон был закрыт, об этом они позаботились раньше, чтобы поднадзорный не мог пройти в другие вагоны на ходу поезда.

«Недремлющий» выглянул с площадки наружу.

Мимо проносились темные силуэты деревьев, телеграфных столбов. Ледяной ветер со снегом хлестал в лицо.

«Матерь пресвятая богородица, куда же он девался?»

Расталкивая пассажиров, «Недремлющий» ворвался в злополучное купе.

— Где русский? — крикнул он в лицо оторопевшему шведу.— Вы с ним заодно?

Он готов был избить этого толстого шведа, не желавшего понимать по-русски.

— Мин готт! Что случилось? — восклицала перепуганная дама.

— Успокойся, дорогая, это, наверное, русский сыщик принимает нас за революционеров.

— Возмутительно! — ответила жена.

Филеры вошли к себе в купе, и «Недремлющий» посмотрел на напарника ненавидящими глазами...

Курносый паровоз, распушив пары, пыхтя и отдуваясь, подходил к станции Або.

ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА

В этот день сестры Винстен сели обедать, как всегда, в два часа. Стол был сервирован по-прежнему, меню было обычное для пятницы: гороховый суп, красная рыба с картофельным пюре. Размеренная жизнь в пансионе текла своим чередом, но сестрам было необыкновенно грустно.

Вот уже несколько дней, как инженер Петров уехал, а каждый раз разговор за обедом почему-то возникает только о нем.

— Помнишь, Анна, как он старательно заучивал шведские слова и никак не мог правильно произнести шю [1] и как смеялся сам над своим произношением?

— Смеялся звонко и очень весело. Так могут смеяться только хорошие люди,— отозвалась Анна.— А как тонко он понимал музыку! Я уверена, что он и сам неплохо музицирует. Помнишь неправильные глаголы? Когда я увидела русского полицейского, у меня от страха похолодели руки и замерло сердце, а он говорит: «Неправильный глагол — ершрекен». Сказал таким тоном: мол, бояться нечего, и глаза стали хитрыми-хитрыми. У меня и страх прошел.

— Очень милая у инженера Петрова жена, наверно, они

[1] Семь *(швед.)*.

теперь вместе,— задумчиво произнесла Сонни.— Помнишь, мы не хотели ее впускать?

— Ну, уж здесь виноват был сам господин Петров,— перебила сестру Анна.— Ты ведь отлично помнишь, что он предупредил нас о том, что к нему в среду приедет товарищ. Он не сказал — жена, он сказал — камрад. А фру Петрова приехала в понедельник. Хорошо, что у нас были сахарные крендельки, они ей очень понравились.

И сестры вспоминали, вспоминали без конца...

Сонни в который уже раз пересказывала сестре, как в тот вечер к инженеру Петрову пришел смешной и милый человек в очках, с необычайно высоким лбом и удлиненной головой. Он приходил к нему и раньше, но всегда со связкой книг и подолгу засиживался. В этот раз пробыл несколько минут.

После его ухода инженер Петров сказал, что ему нужно отлучиться по срочным делам. Когда Анна вернулась из города с покупками, квартиранта уже не было. К ночи он тоже не вернулся. Не возвратился и на следующий день. Сестры очень беспокоились, но в сумерках второго дня снова пришел человек в очках, передал сердечный привет от инженера Петрова, принес шестьдесят марок за квартиру...

— Шестьдесят марок и пятьдесят пенни,— уточнила Анна...

Наутро сестры наводили порядок в комнате инженера Петрова. Сонни открыла шкаф и ахнула: на вешалке висела аккуратно расправленная люстриновая куртка, в которой квартирант всегда работал. Сонни взяла ее в руки. Куртка хранила на себе складки на сгибах рукавов, на локте была аккуратно вшитая заплатка, и одна пуговица больше других — видно, ее случайно подобрали вместо потерянной.

Сестры были очень огорчены. Как же теперь вернуть инженеру Петрову его куртку?

— Может, дать объявление в газетах? — предложила

Сонни, но Анна строго заметила, что Сонни совсем еще легкомысленное дитя: такое объявление может ему только повредить.

Решили спрятать куртку в сундук. Инженер Петров обнаружит пропажу и приедет за ней или при случае кого-нибудь пришлет.

В комнате оставалась груда газет — сестры целый вечер топили ими печку. Анна, прежде чем бросить газету в огонь, бегло просматривала энергично отчеркнутые инженером Петровым на полях газеты строчки, многочисленные значки «нотабене», вопросительные и восклицательные знаки, и ей становилось понятно, на чьей стороне симпатии инженера Петрова и против кого направлены иронически звучащие «Сик!!». Газетные статьи говорили о самоотверженной борьбе русских рабочих против самодержавия и о жестоком терроре царизма, направленном против революционеров. Теперь Анна не могла пройти мимо киоска, чтобы не купить газеты. Это стало привычкой. Как-то само собой получилось, что, пока инженер Петров квартировал в пансионе, жизнь сестер была заполнена, с ним было беспокойно, но интересно, а теперь спокойная, размеренная жизнь стала пустой и незначительной.

После обеда Сонни села за фортепьяно. Вальс Сибелиуса не радовал. Анна подошла к жардиньерке с кактусами. Они пахли пылью. Белый шпиц грустными глазами следил за хозяйкой.

Неожиданно воинственно закричал попугай, и Анна кинулась к двери — не Петров ли это? Нет. Посетитель был в форме лейтенанта финляндской полиции. Он заявил хозяйкам пансиона, что ему, Пармонену Эйно, велено расследовать некоторые вопросы, связанные с пребыванием у них «главного русского революционера Ульянова-Ленина». Лейтенант протянул сестрам фотографию, на которой они сразу узнали инженера Петрова.

— Знаете ли вы этого человека?—спросил полицейский.

Сонни широко раскрыла глаза и с испугом посмотрела на сестру.

Анна тронула ее за руку и ответила, что не помнит, чтобы видела когда-нибудь этого человека.

— Не хитрите, фрекен Анна,— сказал Пармонен.— Нам отлично известно, что Ульянов-Ленин жил у вас в пансионе под именем инженера Петрова.

— Где же он теперь? — спросила Анна.

— За границей.

Сестры вздохнули с облегчением.

— Я должен установить, — продолжал полицейский,— как ему удалось выехать за границу, минуя порт Або, и кто помог ему бежать. Что вы можете сказать?

О, Сонни и Анна теперь всё понимали!

— Что мы о нем можем сказать? Инженер Петров был великолепно образован. Он хорошо владел немецким языком, отлично знал спряжения глаголов. Ты, Сонни, конечно, хорошо помнишь: «Алзо, вир хабен унс нихт ершрокен»? — Анна выразительно посмотрела на сестру.

— Да, да, он умел вести себя. Он не закурил бы в нашем доме без разрешения,— как бы между прочим заметила Сонни.

— Он и не курил вовсе,— добавила Анна.

Полицейский поискал глазами пепельницу и погасил сигарету.

— Его интересовали все области науки и искусства...

— Меня это не касается,—прервал сестер полицейский.— Мне поручено выяснить, с чьей помощью Ульянов-Ленин скрылся за пределы Российской империи.

— К нашей помощи он не прибегал,— сказала Анна.

— Не на аэроплане же он улетел... Кто вам его рекомендовал?

— Инженер Петров явился в пансион сам, по объявлению в газете.

— Кто его навещал?

— Они не оставляли нам своих визитных карточек.

— Вам нечего бояться, фрекен, вам ничто не угрожает. Ваш долг — только помочь установить, каким путем Ульянов скрылся за границу,— примирительным тоном убеждал полицейский сестер.

— Инженер Петров не обсуждал с нами своих планов, он был просто нашим квартирантом,— пояснила Анна.

— Может быть, у вас остались какие-нибудь бумаги, документы или вещи вашего квартиранта? — не унимался полицейский.

— О да! — вспомнила Сонни про люстриновую куртку.— Он оставил...

— Он оставил,— перебила Анна сестру,— очень хорошее о себе воспоминание, господин лейтенант.

СКВОЗЬ ЛЕДЯНУЮ МГЛУ

В ПОРТУ

Стояла хмурая декабрьская ночь. Ветер тащил с моря тяжелые тучи, и они засыпали город Або колючим, шуршащим снегом. Глухие удары волн о причалы доносились до тихой улочки, упиравшейся одним концом в каменную ограду церкви. Люди спали. Улица казалась необитаемой, и только в доме коммерсанта Вальтера Борга светилось окно.

Гуго и Свен так и не успели раздеться. Они сидели на отцовском диване в теплых куртках, зимних башмаках, с шапками на коленях. Вальтер Борг шагал по комнате и с нескрываемым беспокойством расспрашивал сыновей:

— Может быть, вы затеяли игру в снежки и опоздали к поезду?

— Мы говорим правду, отец.— Старший, Гуго, вскинул на отца глаза, полные обиды.— Уверяю тебя, что твой товарищ с этим поездом не прибыл. Мы видели всех, кто вышел из шестого вагона.

— Да, из вагона номер шесть...— подтвердил Свен.

— Ты говоришь, к этому вагону подошло много русских? — спросил отец Гуго.

— Да, они встретили двух мужчин и сразу стали их ругать. Ругались по-русски, и мы со Свеном ничего не поняли. Человек с коричневым саквояжем и с газетой в правой руке из вагона не выходил.

— Это просто невероятно,— сокрушался отец.— Мне звонили из Гельсингфорса уже после того, как он уехал. Куда же он мог деваться? (Сыновья молчали.) Марш спать! Через три часа разбужу, пойдете к утреннему поезду.

Мальчики ушли спать, смущенные и огорченные.

Отец прилег на диване, но понял, что сна не будет. Он взял с полки книгу. Не читалось. Сел за стол и стал просматривать фирменные счета и письма. Завтра кончается срок рекламации за подмоченный сахар. Если он не поедет к поставщику, «Торговый дом Вальтер Борг и сыновья» потерпит убыток. «Ну и черт с ним, с этим сахаром!» Борг отодвинул в сторону бумаги. Его занимала только одна мысль: куда мог исчезнуть Ульянов? Неужели мальчишки опоздали к поезду и он сейчас бродит по улицам Або?

Чуткое ухо уловило скрип калитки. Кто-то быстро поднимался по ступенькам.

Борг выбежал в коридор, распахнул дверь.

— Наконец-то! Здравствуйте, товарищ Ульянов. Мои мальчишки вас прозевали? Я так и думал. Где же вы были до сих пор? — Борг помог гостю снять пальто.

— Мальчики напрасно ходили на вокзал... Они уже спят? — шепотом спросил Владимир Ильич, проходя в комнату.— Дело в том, что шпики не оставляли меня своим вниманием от самого Гельсингфорса, и я понял,— он лукаво прищурил глаза,— что в Або полиция готовит мне пышную встречу. На последней остановке перед Або... как она называется?

— Станция Литтойнен.

— Совершенно верно. На станции Литтойнен я их перехитрил. Поезд тронулся, я углубился в изучение пароходного расписания, они нырнули к себе в купе. Тогда я забрал свой саквояж, выбрался на площадку вагона и... покинул поезд. Благо на откосах сугробы глубокие. Сюда пришлось добираться пешком.

Владимир Ильич ходил по комнате, потирая пальцами

уши. Щеки у него пылали, веки глаз припухли от ветра и снега.

Вальтер Борг стоял потрясенный. Выпрыгнуть из поезда на полном ходу, ночью! Какой страшный риск! И вот он живой, невредимый.

— Это бог знает что такое! — воскликнул Борг.— Сейчас же приготовлю пунш, и — в постель!

— А вы приготовили мой отъезд в Швецию?

— Сейчас, сейчас все расскажу. А пока, разрешите, я принесу пунш, иначе вы рискуете заболеть от простуды, товарищ Ульянов.

— Теперь я доктор Мюллер,— предостерегающе поднял палец Владимир Ильич.— И, чтобы вы знали, я — геолог. Только что прибыл из Германии, интересуюсь абоскими известняками. Намерен пробыть в этих краях день-два — и обратно в свой фатерланд [1].

Борг понимающе кивал головой.

— И, кстати, пунш я не пью, а стакан горячего чаю — с удовольствием.

Хозяин ушел готовить чай. Владимир Ильич шагал по комнате, заложив руки за спину под пиджаком и чуть наклонив голову к плечу. Как же выбраться из Финляндии? Что может придумать Борг? Обычный путь на пароходе исключен, порт сейчас несомненно под неусыпным наблюдением полиции. Как же добраться до Швеции, чтобы оттуда ехать дальше в Швейцарию? Он подошел к карте, висевшей на стене, и стал ее рассматривать. Быть может, подняться выше на север страны и там перейти по льду? Или переправиться на рыбачьей лодке по фарватеру, пробитому ледоколом? А может, обойти пешком Ботнический залив? Любопытно, сколько это будет верст? Не меньше семисот.

Вальтер принес чай, хлеб, сыр, расставил все на столе. Его пышущее здоровьем лицо болезненно морщилось, когда он поглядывал на усталого Владимира Ильича.

[1] Родина *(нем.)*.

В торговых реестрах Або Вальтер Борг числился добропорядочным коммерсантом, но всю свою жизнь и свое торговое предприятие он подчинил интересам партии социал-демократов. Своих двух сыновей он тоже готовил на службу рабочему классу.

— Ну, так как же вы будете отправлять меня в Стокгольм, дорогой товарищ Вальтер?

— Я договорился с капитаном парохода.

— На пароход мне нельзя,— подхватил Владимир Ильич.— Хорошо бы через шхеры, где пешком, где на лодке.

— Надо будет поговорить с финляндскими активистами. Есть здесь один студент, член шведского рабочего союза Людвиг Линдстрем. Завтра, когда вы отдохнете, мы пойдем к нему.

— Нет, нет, не завтра, а немедленно, сейчас же.— Владимир Ильич решительно отодвинул стакан в сторону.—Полиция, конечно, разыскивает меня в Або. Нельзя допустить, чтобы меня нашли в вашем доме. У нас с вами еще очень много дел, товарищ Вальтер.

— Да, это верно.

Через несколько минут Владимир Ильич и Борг шагали по заснеженным переулкам города.

Было еще совсем темно, когда Людвиг Линдстрем пришел на извозчичью биржу и потребовал для немецкого профессора Мюллера пару свежих лошадей.

— До острова Кирьяла,— предупредил Линдстрем.

— Кто это едет в такую рань? Все люди спят, и лошади не отдохнули,— проворчал извозчик.

— Профессор очень торопится, лошади должны быть готовы немедленно,— настаивал энергично студент.

Профессор стоял рядом с саквояжем в руках.

— Ох, уж эти немцы,— бурчал возница, спеша под сердитым взглядом профессора подтянуть подпруги,— аккуратный народ, ничего не скажешь. Не любят даром терять время...

В ШХЕРАХ

К полудню лошади, поседевшие от инея, подвезли путников к большому низкому строению. Вывеска над воротами гласила, что это постоялый двор Фредриксона и сыновей. Фредриксон, старик с широченной грудью и маленькими светлыми глазками на загорелом лице, встретил гостей на пороге дома.

Линдстрем шепотом произнес пароль.

— Гуд даг! Велькоммен! [1]— пробасил хозяин.

В просторной комнате за обеденным столом сидели члены семьи Фредриксона — жена, сын, невестка.

Владимир Ильич подал каждому руку.

— Доктор Мюллер,— отрекомендовался он.

Гостей пригласили за стол. Хозяйка положила им на тарелки по большому куску картофельной запеканки с салакой. Ели в полном молчании. Финны не любят много разговаривать, особенно за едой.

После обеда хозяин отвел гостей в спальню: в любой момент на постоялом дворе могли появиться чужие люди.

— Надо помочь господину профессору добраться до Стокгольма,— сказал Линдстрем, взяв на себя роль переводчика.— Есть ли у вас проводники?

Помедлив, Фредриксон ответил:

— Будут не раньше, чем через месяц.

— Профессор очень спешит, и проводникам будет уплачено,— пояснил студент.

— Много денег не обещайте, я весьма ограничен в средствах,— предупредил профессор студента, уловив из разговора, что речь идет об оплате услуг.

Линдстрем ничего не сказал: главный довод у него был в запасе.

[1] Добрый день! Добро пожаловать! *(швед.)*

После длительных переговоров было решено, что старик Фредриксон сегодня же ночью отправится в шхеры и выяснит возможный путь в Стокгольм.

— Вам придется поселиться в летнем домике,— предложил он.— Там у меня хранится разный крестьянский инвентарь, но, надеюсь, он вам не помешает.

Одну из комнат хозяева освободили от сельскохозяйственных орудий, оставив на стенах хомуты, дуги, уздечки. Жена Фредриксона вымыла пол, отец с сыном притащили кровать, похожую на гармонь и на ночь раздвигавшуюся в широкую постель, поставили маленький стол, кушетку, два стула. Вытопили печь.

Перед отъездом Фредриксона студент сообщил ему, что профессор сильный и умный враг русского царя.

Это был главный довод, который заставил старика поторопиться.

*

Дневной свет проникает в комнату сквозь щели ставен.

Подставив тетрадь под полосу света, Владимир Ильич пишет. Изредка он поднимается со стула и быстро шагает по комнате из угла в угол, чтобы согреться и что-то обдумать.

Людвиг сидит у окна и старается углубиться в книгу. Это плохо ему удается — в комнате холодно и неуютно.

Студент с интересом наблюдает, как из-под руки профессора на страницы тетради ложатся ровные строчки. Он пишет уже больше часа, отрывая руку от тетради только затем, чтобы обмакнуть перо в чернильницу или чтобы перевернуть страницу. Пишет как под быструю диктовку. Вот он дописал до конца последнюю страницу, поднялся, вынул из саквояжа чистую тетрадь, разложил ее на столе. В верхнем углу обложки аккуратно вывел карандашом «24». «Двадцать четвертая тетрадь,— отметил студент, удивляясь тому, что профессор, не заглядывая в предыдущую тетрадь, продолжа-

ет излагать прерванную мысль.— Как можно так быстро писать научную работу? Поразительно!» — думает Людвиг.

Когда стемнело, молодая хозяйка принесла ужин — сухой хлеб, жареную салаку, кувшин с брусничной водой. Людвиг завесил окно половиком и зажег лампу. Владимир Ильич с удовольствием и умело растопил печурку. После ужина предложил студенту прогуляться.

— Привычка ежедневно гулять у меня с юных лет,— сказал он.

Людвигу эти прогулки очень нравятся. Ульянов говорит по-немецки, сильно грассируя, и студент старается ему подражать. Людвигу приходится отвечать на много вопросов и объяснять значение нужных профессору шведских слов.

Когда Владимир Ильич проявляет нетерпение с отъездом, студент простодушно замечает, что профессор может спокойно жить в Финляндии, так как «его охраняет финляндская конституция». Линдстрем гордится тем, что Финляндия получила одну из самых демократических конституций в мире. Он согласен, что ее завоевали для финляндского народа русские рабочие в Декабрьском восстании 1905 года, но все же это — «финляндская конституция».

— Вы находитесь под ее защитой,— говорит он Владимиру Ильичу.— Я знаю, вы первый русский, который потребовал признания права наций самим устраивать свою судьбу. Вы истинный друг нашего народа...

— Но не вашей буржуазии,— живо возражает Владимир Ильич.— Финляндская буржуазия напугана русской революцией. Она с готовностью выдает царизму русских революционеров и думает своей услужливостью уберечь себя от насилий царизма. Но нет, это ей не поможет. Не поможет! Царь уже превратил финляндскую конституцию в пустую бумажку.

Ночью Людвиг долго не может заснуть. Неужели финны могут выдать профессора? Чудовищно. Русский царь мстит народу, но почему финны заодно с царем? Это профессор

делит финнов на рабочих и буржуазию, а для Людвига Линдстрема финляндский народ един, все финны — члены единой семьи. Но единой ли на самом деле? Теперь Людвиг не уверен в этом.

На третьи сутки на рассвете, в густой снегопад, вернулся Фредриксон и разбудил профессора и студента.

— Выезжать надо немедленно, сейчас же,— предупредил он.—Полиция уже рыщет по шхерам и, конечно, не оставит без внимания постоялый двор. Финляндские полицейские получили приказ задерживать русских революционеров.

Старик велел запрягать лошадь.

— С нами поедет Вильгельм,— пояснил он.— Старший сын Карл у меня важная персона: он лоцман и сопровождает только царей,— шутливо, но и не без хвастовства заметил Фредриксон.

— Не он ли посадил царскую яхту на мель этим летом? — поинтересовался Владимир Ильич.

— Э-э, нет. Карл имел честь сопровождать по шхерам и Аландским островам царскую яхту на пароходе «Элякон», когда их величество Александр Третий совершал прогулку по морю. Это было в тысяча восемьсот девяностом году. Карл из рук его величества получил золотой... Вот как, господин профессор,— важно сказал Фредриксон.— Жаль, что Карла нет дома, он рассказал бы вам подробнее об этой поездке.

Рассвет еле обозначился бледной кромкой на горизонте. Владимир Ильич дружески пожал руку Линдстрему, поблагодарил его и пожелал ему счастья.

— Желаю успеха в ваших делах,— растроганно прощался студент.— Вы даже не подозреваете, как мне было интересно с вами и как много вы возбудили мыслей...

Владимир Ильич уселся в санки рядом с Фредриксоном. Лошадьми правил Вильгельм.

ПАРОЛЬ

В поселке Паргас их ожидала неудача: человека, который должен был проводить профессора Мюллера дальше, не оказалось дома. Хозяйка молча пододвинула к столу два стула, смахнула рукой воображаемые крошки и соринки с чистой скатерти и ушла в другую комнату. Профессор полистал словарик и пытался завязать разговор с Фредриксоном, но старик не понимал его: напряженно мигал белыми ресницами, кивал головой и затем неожиданно спрашивал: «Вад?» [1]

Часа через два Фредриксон поднялся с места и стал что-то объяснять. Владимир Ильич понял одно — старик с сыном не могут больше ждать: постоялый двор остался без мужчин и им пора домой.

Фредриксон протянул профессору неровно обрезанный кусок открытки. Владимир Ильич спрятал его в карман.

Хозяйка принесла чашку кофе, поставила на стол вазочку, в которой лежало несколько квадратиков печенья с оттиском «Жорж Борман». Владимир Ильич принялся составлять с помощью словаря фразы для предстоящего разговора с хозяином. Составить фразу по-шведски дело не трудное, а вот как постигнуть произношение? Фрекен Анна дала ему несколько уроков, но их было недостаточно.

В соседней комнате послышался мужской голос.

«Наконец-то пришел хозяин!» — с чувством облегчения решил Владимир Ильич.

Мужчина что-то отрывисто спрашивал, хозяйка отвечала. Затем дверь открылась, и в комнату вошел финский полицейский.

Владимир Ильич вопросительно посмотрел на вошедшего.

— Виктор Карлсон,— шаркнул полицейский.— Лошади у крыльца. Поехали!

[1] Что? *(швед.)*

«Считать себя арестованным или как?» — подумал Владимир Ильич и решительно спросил:

— Мне нужно основание.

— Пожалуйста! — Полицейский вынул из нагрудного кармана замысловато обрезанный кусок цветной открытки.

Владимир Ильич внимательно рассмотрел его и приложил к этому куску вторую половину открытки, оставленную Фредриксоном в конверте. Куски совпали. На открытке была изображена белокурая девушка и орел со злющими глазами, с крыльями, как черная туча.

Пароль был правильный. Страхи напрасны.

Полицейский Виктор Карлсон был членом тайной организации финляндских активистов. Организация ставила своей целью борьбу за самостоятельность Финляндии. Финляндские активисты охотно помогали тем, кто вел борьбу с русским царизмом.

«ДЕТ ГОР ИНТЕ!» [1]

Дорога привела к одинокому красному домику на скалистом холме. Домик резко выделялся на фоне снега и покрытых инеем скал, и даже окна в нем рдели, отражая закатное солнце.

— Ну, вот и приехали! — важно возвестил Карлсон. Он слез с облучка, привязал лошадь и с силой толкнул ногой дверь.

Владимир Ильич отметил, что ни в одном финском доме он не видел замко́в или прочных запоров.

Небольшая комната-кухня, куда они вошли, блестела чистотой. На полу разостланы светлые домотканые половики, бревенчатые стены украшены самодельными ковриками, на полке у большой печки сияют начищенные медные кастрюли. От печи до стен, под самым потолком, протяну-

[1] Не пойдет! *(швед.)*

лись тонкие шесты, а на них нанизаны круглые и плоские, как лепешки, хлебы.

Карлсон о чем-то вполголоса переговорил с хозяином, кивнул хозяйке и торопливо ушел. Он должен был поспеть на дежурство.

Владимир Ильич сел рядом с рыбаком на широкую скамью и сказал по-шведски:

— Друг, мне нужно как можно скорее попасть в Стокгольм. Как это сделать?

Рыбак коричневым суковатым пальцем набивал трубку. Он молчал, так как не мог делать разом два дела—набивать трубку и разговаривать. Наконец трубка разожглась, он затянулся, окинул медленным взглядом своего гостя, словно оценивая его силы, и произнес:

— Дет гор инте! Не пойдет! Нет дороги. Ни пешком, ни на лодке. Надо ждать, пока станет лед.

Гость вынул из кармана словарик, полистал его и спросил:

— А когда лед станет?

— Это знает один господь бог.

— Те-те-те! — воскликнул Владимир Ильич.— Вы сказали: ни пешком, ни на лодке. А если и пешком и на лодке? Идти по льду, а лодку толкать перед собой. Я видел, как однажды шли рыбаки по Финскому заливу.— Владимир Ильич жестами показывал, как это будет выглядеть.

— Дет гор инте! Не пойдет! — упрямо твердил рыбак.— Лед не выдержит человека, лодка не пробьется через ледяную кашу. Надо ждать, пока станет лед.

Рыбак отвел гостю каморку, служившую спальней.

Утром Владимир Ильич поднялся вместе с хозяевами. Умываясь в кухне, он заметил, что за ним наблюдают большие любопытные глаза.

— Пойди, пойди сюда, давай познакомимся!

Из-за печки вышел мальчуган и отвесил гостю поклон:

— Вильхо.

— Мюллер,— в тон ему назвал себя Владимир Ильич.

Жена рыбака, приглаживая белые волосы на голове мальчонки, рассказала профессору, что это их племянник, он живет с родителями на дальнем острове, где нет школ, и приезжает сюда на зиму учиться.

— Ты идешь сегодня в школу? — спросил гость, полистав книжечку.

Вильхо приподнялся на цыпочки и прокричал:

— Не-е-ет! Я у-у-учусь три ра-за в не-де-лю!

— Почему ты кричишь? — поинтересовался профессор.

— Чтобы ты лучше меня понял.

Тетка Тайми зашикала, дядя Вейно кинул на дерзкого мальчишку свирепый взгляд, а гость запрокинул голову и так хорошо и радостно рассмеялся, словно ему на крючок попалась большая семга. Он вытер глаза, заглянул в словарик и уже серьезно сказал:

— Ты совершенно прав, Вильхо. Когда плохо говоришь на иностранном языке, походишь на глухонемого.

Хозяйка поставила на стол большую миску, полную печеной салаки. Хозяин встал на скамейку и аккуратно срезал ножом с шеста два хлебца. Хлеб был жесткий, как железо, его пекли один раз в месяц и подвешивали к потолку, чтобы высох и чтобы достать его было не легко. «Вот так же впрок пекут хлеб земледельцы всего мира»,— подумал Владимир Ильич.

Хозяин словно угадал мысли гостя:

— Салаку море бесплатно дает, а хлеб — его надо на скалах выращивать и каждое зерно пóтом поливать.

— Пожалуйте к столу, господин профессор,— пригласила хозяйка.

После завтрака Владимир Ильич разложил в каморке на столе таблицы и стал выписывать на листке бумаги длинные столбцы цифр.

Вильхо стоял у двери спальни и наблюдал.

Рыбак подозвал племянника:

— Никому не говори, что к нам приехал гость. Если кто спросит, есть ли у нас чужие, отвечай: никого нет.

— А почему нельзя похвалиться, что у нас в доме гость? — удивился мальчуган.

— Чтобы люди не завидовали. И нельзя задавать так много вопросов, скоро станешь седым,—рассердился дядя.— Не мешай ему. Садись за уроки.

Вильхо взял в руки книгу.

Рыбак вытащил из угла на середину кухни сеть, устроился на полу и принялся латать дыры. В умелых руках замелькал челнок. Поглядывая в приоткрытую дверь спальни и вспоминая слова Карлсона, Бергман думал: «Неужели это и есть самый сильный враг царя? А с виду — обыкновенный учитель».



Владимир Ильич приступил к заключительной главе «Аграрной программы». Он заканчивал 26-ю тетрадь. Свыше четырехсот страниц уже написано за последние недели. Конечно, можно было бы сделать больше, но эти переезды...

Чистых тетрадей больше нет. Владимир Ильич вышел на кухню и спросил у хозяина, нельзя ли купить в лавке несколько тетрадей.

Вильхо вскочил на скамейку, вынул из шкафа тетрадь и протянул гостю:

— Хочешь, дам одну?

Владимир Ильич покачал головой:

— Одной мне мало.

Вильхо достал еще: отец купил тетрадей на целый год.

Это были обыкновенные ученические тетради в синих обложках с белой наклейкой посередине.

Вильхо удивился: профессор, а пишет в школьной тетради.

Когда стемнело и буквы стали сливаться в одну полоску, Вильхо заглянул в спальню.

— Что ты так много пишешь?

— Решаю трудные задачки,— ответил серьезно гость.

— А ты их решишь?

— Решу обязательно.

— Знаешь что? — зашептал Вильхо.— Ты спрашивал про дорогу на Стокгольм. Зачем тебе идти по льду? Еще провалишься! Погода плохая, лед слабый. Поезжай обратно в Або и там садись на пароход. Уж очень интересно ходить на пароходе по морю, это тебе не парусная лодка.

— Хорошо, я подумаю,— ответил Владимир Ильич и погладил мальчика по голове. Затем зажег керосиновую лампу, вспомнил свою лампу под зеленым абажуром и снова погрузился в работу.

Семья села обедать.

— Господин профессор, пожалуйте к столу!

Но Владимир Ильич не слышал слов хозяина. Опустив левое плечо, наклонив набок голову, он продолжал сосредоточенно писать.

— Пожалуйте к столу, господин профессор,— повторил рыбак чуть громче.

Владимир Ильич оглянулся.

— Сейчас, сейчас, спасибо.— Он поднялся со стула, с сожалением отрываясь от работы.

Вышел в кухню, сел за стол — и вот он уже полон внимания и интереса к жизни этой семьи, к их заботам. Он расспрашивает Бергмана, как тот умудряется сеять на скалах, какие культуры выращивает, интересуется уловом рыбы, бюджетом семьи, размером аренды за клочки земли, вовлекает в разговор даже молчаливую и застенчивую хозяйку и сразу становится своим человеком в доме. «Я, кажется, овладел музыкальным ударением,— думает Владимир Ильич, быстро перелистывая словарик,— эти люди меня понимают».

— Вы говорите по-фински? — спрашивает он у хозяина.

— Нет.

— Вы — швед?

— Я — финн, все мои предки финны, а вот родной язык помню плохо. Шесть столетий мы были под властью шведов, и они сделали все, чтобы мы забыли свой язык. Скоро будет сто лет, как русский царь добивается того же. Дет гор инте! Не пойдет!.. Скажите, господин профессор, когда Финляндия наконец получит самостоятельность и будет ли такое благо от царя?

Хозяйка подвигается ближе. Этот вопрос ее тоже волнует.

Владимир Ильич внимательно посмотрел на рыбака:

— Финляндия получит право на самостоятельность, дорогой Бергман. Непременно получит. Но не от царя, друг мой. Есть только одна сила в мире, которая принесет право на независимость,— это победа русских рабочих.

— Когда русские рабочие победят, они про нас забудут. У нас в народе говорят: «Ома маа — мансикка, му маа — мустикка».

— Как, как? — заинтересовался Владимир Ильич.

Рыбак перевел финскую поговорку на шведский язык: «Своя страна — земляника, чужая — черника».

— Нет, дорогой товарищ. У рабочего класса интересы много шире. В программе русских рабочих записано добыть свободу не только для себя, но и завоевать право на самостоятельность финнам, полякам и другим народам.

— Помоги им бог...— шепчет жена рыбака.

— Ну, а как лед? — не терпится узнать Владимиру Ильичу.

— Ждать надо. Вода стоит еще высоко.

Повышение воды в шхерах — признак потепления, это Владимир Ильич знает. При падении воды — жди ветра северного, а с северным ветром станут и льды.

После обеда Вильхо заговорщически прижал палец к губам и подозвал профессора к окну. В деревянной коробке из-под английских сигар, которую он достал из-за печки,

хранились сокровища мальчика. Вильхо первым делом показал гостю длинную серую полоску — высушенную змеиную шкурку. Примерил ее себе на шею, как галстук, и с гордостью сказал:

— Я сам убил эту змею. Знаешь, сколько здесь змей в скалах — не сосчитать! А раз мужчина увидел змею, он должен ее убить, ведь так?

В коробке были винтики, рыболовные крючки, просмоленные нитки.

— Ты, наверное, змей не боишься,— убежденно сказал Вильхо,— я слышал, дядя говорил тетке Тайми, что ты самый сильный враг царя. Это правда?

— Нет, дядя ошибается. Одному царя не одолеть, с ним заодно все богатеи. Нужно, чтобы против царя и богатеев пошли все рабочие и крестьяне.

— И рыбаки тоже?

— Да, и рыбаки.

— И тогда одолеют?

— Непременно.

ОПАСНЫЙ ПУТЬ

Вот уже несколько дней Владимир Ильич отрезан от всего мира. Последнюю газету он видел в Оглбю, у сестер Винстен. Никаких известий о России у него нет. Никакой возможности действовать активно. Каждый день пребывания его здесь, в шхерах, дает возможность врагам рабочего класса безнаказанно вести разрушительную работу в партии. Этого допустить нельзя. «Надо найти способ выбраться отсюда в ближайшие же дни»,— думает Владимир Ильич.

Прошло еще два томительных дня.

Утром после обычного вопроса: «Как лед?» — Бергман невозмутимо ответил, что раньше Нового года отсюда не выбраться. Лед еще не окреп, на следующей неделе начинаются

рождественские праздники, а кто же в праздник предпринимает такое путешествие?

— Нет,— твердо возразил Владимир Ильич.— Мне надо быть в Стокгольме до рождественских праздников.— Он вынул из кармана вырезку из газеты с расписанием пароходного сообщения.— Мы должны выйти завтра утром, чтобы успеть к шведскому пароходу. Через два дня на Стокгольм пойдет финский пароход — я не могу им воспользоваться, а там наступит рождество.

Рыбак помолчал, потоптался на месте и вышел на улицу.

Владимир Ильич посмотрел в окно. Бергман вытащил из-под навеса небольшую плоскодонную лодку и принялся ее оснащать. Впереди уключин прибил стойки длиной в пол-аршина, а на них, поперек лодки, прикрепил шест. Понятно! Молодец Бергман. Держась за шест с обеих сторон, можно будет идти по льду и двигать лодку вперед. Встретится большая полынья — залезай в лодку и отталкивайся от льдин багром.

Закончив работу, Бергман зашел в дом и сообщил, что к отъезду все готово, кроме погоды: ветер северо-восточный, температура минус два градуса, вода убывает медленно.

Он неодобрительно покосился на хромовые сапоги русского и что-то коротко сказал Вильхо. Мальчуган тотчас оделся и убежал. Вернулся с огромными рыбацкими сапогами, смазанными остро пахнущим рыбьим жиром.

— Отправляться нужно ночью, пока спят женщины,— сказал рыбак,— а то женщина увидит — вся округа узнает.

Вечером он выходил проверять направление ветра и измерял уровень воды. Дул северо-восточный ветер силой до четырех баллов, уровень воды в шхерах понижался — понижалась и температура воздуха. «Все идет хорошо»,— говорил рыбак.

Профессор и мальчуган сидели на скамейке. Оба что-то

мастерили. Гость острым финским ножом «пуку» вырезывал коня из куска сосновой коры. У коня получалась слишком крутая шея, как у шахматной фигуры. Таких коней Владимир Ильич научился резать в ссылке, в селе Шушенском, когда его одолело желание сразиться в шахматы. Мальчик старался подражать профессору и старательно резал кору, но у него получалась фигура, мало похожая на коня.

Время уже было позднее, и Вильхо пошел спать, прижав к себе «настоящего» коня карей масти, подаренного ему профессором. Коробка из-под сигар у мальчугана пополнилась новым сокровищем.

Ночь коротали втроем за чашками остывшего кофе — хозяйка, рыбак и их гость. Сидели молча. Домик наполнял шум моря, шорох сползающей за волной гальки. Сидели и слушали море, и не слушать его было нельзя, и слушать, ничего не делая, нестерпимо. При сильных порывах ветра со шкафа словно сдувало какой-то чистый и нежный звук.

— Это кантеле поет,— улыбнулась хозяйка, подошла к шкафу и сняла с него музыкальный инструмент, очень похожий на старинные русские гусли.

Она положила кантеле на стол и пальцами, давно потерявшими гибкость, тронула струны. Суровая мелодия вплелась в шум моря, а потом перекрыла собой рокот волн, шуршание гальки и заполнила до краев маленький рыбацкий домик.

— Пора! — сказал Бергман.

Хозяйка осторожно приложила ладони к струнам и погасила звуки.

Владимир Ильич подошел к женщине и крепко пожал ей руку:

— Большое спасибо! Большое спасибо за все!

Скупая улыбка, как зимнее солнце, осветила лицо женщины.

Вильхо лежал на кровати и из-за полога наблюдал за сборами. Вот профессор надел большие рыбацкие сапоги, дядя Вейно подвязывает шарф. Сейчас они уйдут, о нем забыли.

— Жаль, что Вильхо спит,— сказал профессор, лукаво покосившись на полог, из-за которого выглядывал нос и блестевшие от слез глаза мальчугана.

— Нет, не сплю я! — крикнул Вильхо, вскочил с постели и бросился к профессору.— Неужели ты уходишь? Скоро рождество. Я наломаю еловых веток, тетя Тайми сделает из них венок. Ведь сделаешь, тетя Тайми? Да?

— Сделаю, сделаю, иди спать,— отвечала тетка.

— Мы зажжем свечи. Будет рождественская елка. Неужели ты уедешь?

— Ничего не поделаешь,—с огорчением ответил гость.— Я должен быть в Стокгольме до праздников, у меня там срочные дела, весьма срочные.

Профессор попрощался с Вильхо. Бергман открыл дверь, и в кухню с улицы пополз туман.

Ду-у, ду-у! — донесся с моря гудок.

Ого-го-го! — откликнулся второй.

Это гудели в тумане пароходы, чтобы не наскочить друг на друга и чтобы береглись рыбачьи лодки.

Ду-у, ду-у, ого-го-го! — перекликались пароходы.

Тетка Тайми прикрутила лампу, села у окна и, сложив ладони, стала читать молитву.

Вильхо лежал, замерев от страха. Он рос в шхерах и знал, что в такую погоду идти по льду трудно и опасно. Он подобрался к окну. За стеклами белым дымом клубился туман.

— Тетя Тайми, как же дядя и профессор идут в таком тумане? Ведь и маяка не увидишь.

— Когда у человека великая цель, она ему вместо маяка служит, тогда и туман ему нипочем и ледяную мглу он одолеет,— ответила женщина.

*

Суровый край Абоские шхеры. Тысячи островов густо разбросаны в Ботническом заливе. Есть среди них острова большие — на них разместились целые поселки, есть и совсем крохотные — трем чайкам на них тесно.

Зимой, покрытые снегом и спаянные между собой льдом, шхеры походят на вздыбленные и застывшие волны.

Мгла окутывала острова. Из открытого моря, с большого фарватера доносились протяжные гудки пароходов. Казалось, заблудившиеся в тумане большие птицы взывали о помощи.

Держась с обеих сторон за шест, путники двигали лодку вперед. Она громыхала деревянным днищем по неровной поверхности. Ноги срывались с валунов, засыпанных снегом, и проваливались в глубокие сугробы. Владимир Ильич правой рукой держался за шест, а в левой нес рыбацкий фонарь. Потом они спустились с острова и пошли по льду. Глубина воды под ногами была двадцать семь футов.

Темная белизна простиралась вокруг, темно-белым было и небо. Справа в тумане, где-то между небом и землей, мелькал огонек. Бергман вел каким-то извилистым, одному ему известным путем. Каждые двадцать — тридцать шагов он останавливался, издавая возглас: «Я-гха!» — брал из лодки багор и острым наконечником и сильным движением вбивал его впереди лодки, проверяя, насколько прочен лед.

Северный ветер усиливался, стегал по лицу, в свете фонаря летели космы игольчатого снега.

Прошли не больше двух километров от дома, а силы уже иссякали. Оба вспотели, на бровях и ресницах застыла стеклянная бахрома.

Наступал рассвет — серый и немощный, который, казалось, никогда не разгорится в ясный день.

Перед островком, до глянца отполированным водой и ветром (такие острова лоцманы называют «бараньими лбами»),

чернела огромная полынья. Путешественники в первый раз забрались в лодку и веслами, показавшимися очень легкими, в несколько взмахов приткнулись к ледяной кромке. Потом они волоком перетащили лодку через «бараний лоб».

— Теперь надо перебраться на тот остров.— Бергман показал рукавицей прямо перед собой, где в тумане лежало ледяное поле, беспорядочно заваленное торосами и запорошенное снегом.

Двигались медленно, прощупывая ногой каждую пядь.

Стараясь действовать согласованно с движениями Бергмана, Владимир Ильич вглядывался в даль. Скалистые острова возникали перед его глазами, как мираж, и исчезали, затягиваясь льдистой мглой. Гудки пароходов оповещали, что и в открытом море и на большом фарватере все еще лежит туман.

— Много ли мы прошли? — спросил Владимир Ильич рыбака.

— Самое длинное — позади, самое трудное— впереди,— загадочно ответил Бергман.

Он все чаще останавливался, произнося свое «я-гха», и оно звучало то как тревога, то как вопрос, а то и как яростное ругательство.

Владимир Ильич облюбовал большую плоскую льдину. Он решил перебраться на нее. Но что такое?.. Нога скользнула по ледяной горке и нырнула в воду. Противоположный конец льдины стал быстро подниматься. Владимир Ильич покрепче ухватился за шест и шагнул на соседнюю льдину. Огромная льдина с легкостью поплавка скрылась под водой.

Владимир Ильич взглянул на своего спутника и по остекленевшим от ужаса глазам понял, как велика опасность.

— В лодку, скорее в лодку!

Кто крикнул это? Может быть, рыбаку это почудилось?

Быстро, осторожно, слаженными движениями оба подтянулись к лодке, волоча по зыбким льдинам ноги. Шест скрипел под тяжестью повисших на нем тел. Почему-то вспомнился старый журавель у колодца в Шушенском. Спутники одновременно схватились за уключины и рывком перебросились внутрь лодки.

— Сáтана пéр-р-ркеле! — тяжко выругался Бергман, садясь на банку.

Он вытащил из внутреннего кармана комбинезона трубку и сунул ее в рот. Руки дрожали. Владимир Ильич тоже почувствовал озноб и, не в силах сдержать дробного стука зубов, неожиданно рассмеялся.

— А вода здесь прохладная.

Льдины тихо терлись о лодку.

Бергман развернул большой тюк войлока, привязанный к банке, и вынул оттуда сапоги Владимира Ильича.

Сапоги были совсем теплые, как будто их сняли с печки. Внутри них лежали шерстяные носки, засунутые туда заботливой хозяйкой. Рыбак поймал благодарный взгляд профессора и отвел глаза в сторону.

Держа в руках носки, Владимир Ильич спросил, не промок ли Бергман. Нет, он не промок. На нем брезентовый комбинезон с притачанными сапогами.

Владимир Ильич сменил носки и сапоги и стал делать энергичные движения руками, чтобы согреться. Ему вспомнился весенний день прошлого года в Куоккала. Они с Надеждой Константиновной ехали по лесной тропинке на велосипедах. Сделали привал. Надежда Константиновна отбивала такт ногой и весело подбадривала: «Вдох — выдох, вдох — выдох...»

Бергман тем временем извлек из войлока какой-то металлический цилиндр. Осторожно открутил крышку, и из посудины повалил душистый пар горячего кофе.



— Чудесное применение артиллерии,— отозвался Владимир Ильич, с наслаждением отпивая из снарядной гильзы горячий напиток.

Подкрепившись, они взялись за работу. Отталкиваясь баграми от тяжелых и вертких льдин, подвели лодку к ледяной кромке, опробовали ее крепость, вытащили лодку на лед и снова двинулись в путь.

Теперь уже не более полукилометра отделяло путников от острова Нагу, у которого проходил главный фарватер. Там нужно было дожидаться шведского парохода, идущего из Або на Стокгольм.

Эти сто — двести метров показались самыми трудными. Лодка обледенела и стала вдвое тяжелее, тащить ее приходилось через заросли кустарника. Забрызганная водой одежда покрылась ледяной коркой.

У Владимира Ильича нестерпимо ныли ноги: хромовые сапоги стали тесными.

Ветер сбрасывал на путников вороха колючего инея. Из-под носа лодки выскочил белый заяц с желтоватыми подпалинами, и Владимир Ильич даже ахнул: «Ружьишко бы!» Повел глазами на Бергмана, но не нашел сочувствия у рыбака.

Сквозь деревья блеснула водяная дорога, проложенная ледоколом между островами. Еще немного усилий, и можно будет, сидя в лодке, дожидаться парохода.

Бергман отбил от лодки надстройки — они могут привлечь внимание, да и надобности в них больше нет. Лодку он оставит у знакомого портного Шёхольма, а сам вернется домой открытым путем на пароходе через Або.

Туман рассеивался. Гудки пароходов гасли один за другим. Ледяные просторы из серых становились зеленовато-голубыми. Наступил день. Владимир Ильич и Бергман сидели в лодке и внимательно всматривались в даль, с нетерпением ожидая парохода.

Неожиданно для обоих над деревьями высокого острова

заколыхался серый султан дыма. Пароход! Вот он вылезает из-за островов, словно раздвигая их в стороны. На узкой водяной дороге пароход кажется огромным.

Владимир Ильич снял с шеи шарф и принялся энергично им размахивать...

Их заметили.

Колеса парохода взбивали на месте воду, разгоняя плавающие обломки льдин. Вода вокруг закипела белым ключом. С борта спускали шлюпку с матросом.

Владимир Ильич обеими руками сжал руку Бергмана, потом сильным движением привлек его к себе и обнял за плечи.

— Люклиг реза! Люклиг реза! [1] — взволнованно шептал рыбак.

*

«Что мог делать немецкий ученый в шхерах, да еще зимой?» — качал головой капитан шведского парохода. Но, собственно, о чем раздумывать? Капитан обязан взять человека на борт в открытом море. И в бортовом журнале была произведена соответствующая запись.

...Владимир Ильич вышел на палубу. На пароходе — обычный рейсовый день. Размалеванный угольной пылью кочегар, высунувшись из люка, с наслаждением глотает холодный свежий воздух. Свою тысячу предобеденных шагов отмеряет на палубе свободный от вахты первый помощник капитана. Матросы закрепляют только что поднятую на борт шлюпку.

До самого горизонта лежат ледяные поля, дует северный ветер, и кажется, что Ботнический залив промерз до дна и существует только эта водяная дорожка, пробитая ледоколом. Но это не так. Поднявшаяся вода взломала льды, и их ровная белизна обманчива. Никакой ледяной панцирь не может сковать моря, утихомирить его.

[1] Счастливого пути! *(швед.)*

Владимир Ильич быстро идет к себе в каюту, раскрывает ученическую тетрадь в синей шершавой обложке, на которой пишут ученики в Абоских шхерах, и дописывает последние строки своей работы:

«...периодами временного затишья в массовом действии мы должны воспользоваться, чтобы критически изучить опыт великой революции, проверить его, очистить от шлаков, передать его массам, как руководство для грядущей борьбы».

...Пройдут девять с лишним лет титанического вдохновенного труда, и Владимир Ильич Ленин в апреле 1917 года все с той же несокрушимой верой в силу и талант русского рабочего класса возвратится в Россию, чтобы встать во главе Революции, преобразующей мир.

1959—1961

ВСТРЕЧА

Повесть



Глава 1

ПИСЬМА

Пока дети малы, мать — творец своих радостей. Возьмет дитя на руки — ее дитя. Прильнет губами к теплому, нежному тельцу, почувствует, как торопливо и деятельно бьется маленькое сердце — часть ее сердца, и захлебнется от ликующей радости.

Ночью наклонится к кроватке, и ровное дыхание ребенка — награда за ее трудовой день, и сами тогда слетают с губ матери тихие песни о счастливой и прекрасной доле маленького нового человека. Самые проникновенные, свет-

лые, окрыляющие слова придуманы матерью и только подслушаны поэтами. Заболеет дитя, и мать обретает еще большие силы, вступает в самоотверженное единоборство за новую жизнь, которая стала для нее дороже собственной. В этой борьбе мать не падает духом, не теряется, не опускает руки, как бы молода и слаба она ни была.

Мать мужает вместе с детьми.

И благословенна мать, которая умеет вовремя отпустить руку ребенка и не выказать страха, когда он делает первые шаги в жизни на своих еще не окрепших ногах.

Вырастают дети и выбирают себе дороги. Дети никогда не идут по проторенным дорогам отцов, они продолжают их или ищут свои, новые и всегда неожиданные для матери. Она остается одна на перекрестке, откуда расходятся пути ее детей. Она стоит и смотрит им вслед и вместе с ними смотрит вперед.

Для материнского сердца каждый из ее детей всегда остается ребенком, даже если у этого ребенка есть уже свои дети и блестит седина на его висках. Но не у всякой матери хватит зоркости и мужества, чтобы на склоне лет отправиться в трудный путь со своими детьми и не отстать от них, не окликнуть перед лицом опасности, уметь улыбнуться и найти бодрое слово в самый горький час.

И пока жива мать и тебе в дни успеха и в годину лишений есть кому сказать певучее и нежное слово «мама» — ты молод и силен; и чем дольше будет с тобой мать, тем ярче будет гореть твое сердце.

Мария Александровна сидит в кресле у окна, перечитывает письма своих детей, черпает в них новые силы, перестает чувствовать себя одинокой.

Писем много.

Вот самая большая пачка, перевязанная синим шнурком,—это письма от сына Володи и его жены Надюши. Угол-

ки конвертов помяты, края пообтерты. Прежде чем попасть в руки матери, письма побывали в цензуре, в охранке, не раз их забирали во время обысков жандармы и полицейские. Многие письма вовсе без конвертов — они посылались матерью по кругу всем детям и снова возвращались к ней, вновь перечитывались и укладывались в шкатулку.

За обыденными фразами о здоровье, погоде, за описанием прогулки мать умела угадывать душевное состояние сына, видеть сложности и трудности его работы. А обнаружив в письме грамматическую ошибку, понимала, что письмо содержит тайнопись, и знала, кому из детей передать его для расшифровки. Жаль, что нельзя было сохранить и этих писем.

Пачка красочных открыток и писем старшей дочери, сердечного друга матери — Ани. Круглые буквы плотно прижаты одна к другой, и строчки походят на тугие пружинки. Быстрое перо не успевает отрываться от бумаги, и слова соединены легкими черточками. Здесь же приписаны крупным размашистым почерком строки ее мужа — Марка Тимофеевича.

Писем от Мити мало: не любит он писать, но уж если засядет, напишет письмо большое, пересыпанное шутками. За него аккуратно пишет ровные и ласковые письма его жена Тоня.

Марусиных писем тоже не много. Почерк у Маруси легкий, и, как Митя говорит, буквы в ее письмах, словно молекулы газа, стремятся разлететься в разные стороны. Написаны письма главным образом из тюрьмы и из-за границы. Маруся старается быть неотлучно при матери. В ссылку и под надзор полиции они почти всегда отправляются вместе. И не только с ней — младшей дочерью, с каждым из своих детей стремилась мать разделить трудную судьбу. Мария Александровна пробыла в ссылке и административной высылке больше, чем каждый из ее детей. И тюрьмы Питера, Москвы, Киева ей хорошо знакомы: много-много часов про-

вела она в холодных приемных этих тюрем, ожидая свиданий и простаивая в очереди с передачами.

На самом дне шкатулки два письма. Одно от Оленьки из Петербурга. Помечено 8 апреля 1891 года. Пишет, что ровно через месяц будет дома. А ровно через месяц, 8 мая, умерла от брюшного тифа, умерла в день четвертой годовщины казни Саши.

— «Ровно через месяц буду дома...» — шепчут губы матери.

А вот последнее письмо Саши...

Эти письма Мария Александровна знает наизусть и мысленно читает их по ночам, когда все в доме спят, и последние слова привета Саши и Оли проносятся светлыми метеорами перед ее глазами...

Как было бы хорошо перечитать все эти письма вслух с Ильей Николаевичем, поделиться с ним своими мыслями! Его портрет на письменном столе.

Мария Александровна чужда суеверий и всяких галлюцинаций. Но, когда она глядит на портрет мужа, ей часто кажется: то складка между бровями залегла глубже и стали строже глаза, и он не одобряет ее смятения оттого, что задержалось на несколько дней письмо от Ани; то, придя со свидания в тюрьме, когда удалось передать не только чистое белье, но и какие-то важные новости от других детей, она читает в глазах мужа одобрение.

Двадцать три года нет рядом с ней Ильи Николаевича, и каждый день она чувствует его отсутствие, особенно сильно тоскует в праздники.

А до этого было двадцать три года супружеского счастья, большой и удивительной любви, которая со временем не гасла, а светила все ярче. Каждый день они с радостью открывали друг в друге новые прекрасные стороны души, и это ощущение светлого счастья, взаимного уважения и безграничного доверия освещало всю семью, передавалось детям.

Илья Николаевич был в семье примером справедливости,

мудрости, душевной бодрости, физического и нравственного здоровья. «Так сказал папа! Папа так не поступил бы! Это не под силу даже папе»,— часто слышалось в семье Ульяновых. Илья Николаевич постоянно тревожился за здоровье своей хрупкой жены и всячески оберегал ее.

Рядом с мужем Мария Александровна чувствовала себя уверенно и спокойно.

А в тот январский день ее охватила безотчетная тоска, от которой она не могла отделаться. Илья Николаевич захворал. Доктор не нашел ничего опасного, а Мария Александровна не сомкнула глаз всю ночь. Утром Илья Николаевич почувствовал себя лучше, и доктор заверял, что нет оснований для беспокойства. Мария Александровна вышла в сад и долго ходила по расчищенным дорожкам, подставив пылающее от волнения лицо под вихрь снежинок, стараясь справиться с тоской в сердце. Вернулась домой. Илья Николаевич сидел в кабинете за письменным столом со своим помощником и вносил дополнения в законченный годовой отчет. За обедом шутил над непривычно растерянным видом своей Машеньки, потом предложил Володе сыграть партию в шахматы, которые сам выточил из пальмового дерева, но раздумал и прилег на диван.

Мария Александровна заглядывала к нему в кабинет. Спит. Подошла к мужу и не могла поверить, что его уже не стало.

«У Ильи Николаевича глубокий обморок»,— уверяла она врача.

«Он не умер, нет»,— протестовала она всем сердцем, а разум уже подсказывал, что не момент смерти самое страшное, а будущее без него, друга и мужа; разумом понимала, что судьба ее детей зависит теперь от ее мужества, от ее душевной стойкости.

Пришла домой с кладбища с глубоко запавшими глазами. Собрались многочисленные родственники, знакомые.

Мария Александровна сердечно благодарила за внима-

ние, за сочувствие. Нет, помощи никакой не нужно. Если не будет пенсии, она может работать, у нее диплом учительницы. Старшей, Анне, уже двадцать два года. Кончит Бестужевские курсы, будет тоже учительствовать. Саше — двадцать лет, он на верном пути ученого. Володя и Оля в следующем году окончат гимназию, и, она надеется, тоже с медалями, как Аня и Саша. Нет, нет, помощи не нужно, справимся сами. У детей обеспеченное будущее.

Через год арестовали Сашу... затем Анну... Никто из знакомых не предложил помощи ей — матери, дети которой обвинялись в покушении на жизнь царя. Многие родственники постарались порвать отношения с семьей Ульяновых, и, когда Мария Александровна шла по улице, бывшие друзья не узнавали ее или спешили перейти на другую сторону.

«Удивительная судьба у наших детей,— думает Мария Александровна, глядя на портрет мужа.—Бывало, ты строго разбирал первые стихи Ани, а вечером, когда дети отправлялись наверх спать и мы оставались вдвоем, ты со счастливым видом говорил мне, что в Аниных стихах много добрых, смелых мыслей. «Не будем хвалить ее, пусть старается писать лучше»,— предупреждал ты меня.

...В тебе, Волга, сила родного народа,
Стремленье к свободе всей русской земли.
И именем павших за правду, за братство
Недаром зовутся утесы твои...—

вспоминала Мария Александровна строки из Аниного стихотворения.

Хоть в Волге и нету каскадов, порогов,
Хоть смерчей в ней нет и не дует пассат,
Но бури на Волге грозны и опасны,
И в бурю попасть туда будешь не рад...

Валы набегут и завоют, застонут,
Разверзнутся бездны одна за другой...
И силы, что были так долго в застое,
Со всеми преградами ринутся в бой...

Ты перечитывал ее стихи и басни и уверял, что Аня будет поэтом и писателем.

Судьба Саши — ученого-зоолога — была для тебя ясна, и ты очень гордился сыном — будущим профессором. Часто мы думали с тобой, а кем же будет Оля — музыкантом или филологом? Уже в девятнадцать лет она великолепно владела четырьмя языками, радовала меня поразительными успехами в музыке. А после смерти Оли, разбирая учебники, я нашла на полке «Капитал» Карла Маркса и по ее пометкам в книге увидела, к чему она стремилась.

Митю ты хотел видеть доктором, Марусю учительницей.

Как тревожило нас будущее Володи! «Уж очень легко все ему дается,— сетовал ты.— Не помешает ли ему в жизни удивительная способность схватывать все на лету, шутя готовиться к самым трудным экзаменам...» После казни Саши Володя сдавал экзамены за гимназию. Сильную волю, целеустремленность, способность сосредоточенно работать проявил он даже в те дни, когда мучительно и тяжко переживал гибель брата и друга».

И еще больше укрепилась вера и уважение матери к сыну, когда он, изгнанный из университета «бунтарь», самостоятельно за два года прошел пятилетний университетский курс и блестяще сдал экзамены экстерном... Стал помощником присяжного поверенного, выступал в Самарском суде, защищал интересы крестьян-бедняков. Все сулили ему блестящую карьеру адвоката. Но мать знает, что ее сын никогда не мечтал об адвокатской карьере, им владело страстное желание выигрывать не тяжбы отдельных лиц, а дело всего народа.

«Володя—мечтатель,— думает Мария Александровна,— поэт и художник, хотя стихов не писал даже в ранней юности, никогда не рисовал — даже мальчишкой». Но как-то в дни революции пятого года рассказал матери, что после выступления на большом рабочем митинге ночевал у одного

искусствоведа, увидел у него альбом с репродукциями картин, просидел всю ночь, перекладывая листы меловой бумаги, и с восхищением думал о талантливых людях, способных не только увидеть, но и раскрыть красоту и правду жизни и показать ее другим. Когда малокровное питерское солнце заглянуло к нему в комнату, он закрыл недосмотренный альбом, пожалел о том, что нет времени заниматься живописью, и помчался на совещание. С особым жаром и страстью громил он меньшевиков, которые изо всех сил старались доказать, что хорошей жизнью должны распоряжаться господа, что из их рук рабочий и крестьянин получат ими отобранные, ими оцененные и ими разрешенные радости жизни.

Жена Володи — Надя — в ранней юности мечтала быть учительницей, жена Мити —Тоня — детским врачом, а Марка — мужа Ани — с детства привлекала профессия инженера.

Аня и Саша, Володя и Оля, Митя и Маня... Каждому из них была уготована дорога прямая и ясная, сулящая успех, благородное дело, обеспеченную жизнь. А все они выбрали себе пути самые тяжелые, никем не проторенные, опасные дороги, жизнь, полную лишений и скитаний. «Что же заставило наших детей отказаться от благополучной жизни?» — спрашивает Мария Александровна, перебирая письма. И, помедлив, твердо отвечает: «Честность».

«Счастье их трудное, но это подлинное счастье. И я знаю, что ты, Илюша, одобрил бы избранный ими путь. Да ты и сам, того не подозревая, готовил их к этому с детства...»

С портрета на Марию Александровну смотрели умные с прищуринкой глаза мужа.

И долго перебирают руки матери конверты с почтовыми штемпелями многих городов России, Финляндии, Швейцарии, Франции, Англии, Дании и других стран и городов, куда забрасывал партийный долг ее детей.

После смерти Ильи Николаевича не было года, чтобы

кто-то из детей не сидел в тюрьме, не находился в ссылке, под полицейским надзором, не вынужден был жить в эмиграции, как сейчас Володя. И, пожалуй, из всех лет этот год —1910— наиболее благополучный. Все дети на свободе, Маруся с матерью, недавно в Москве были Анна и Дмитрий, и вот скоро встреча с сыном Владимиром.

Мария Александровна вынимает из конверта его последнее письмо:

...Насчет нашего свидания в августе было бы это архичудесно, если бы не утомила тебя дорога. От Москвы до Питера необходимо взять спальный, от Питера до Або тоже. От Або до Стокгольма пароход «Буре» — обставлен отлично, открытым морем идет 2—3 часа, в хорошую погоду езда к а к п о р е к е. Есть обратные билеты из Питера. Если бы только не утомительность железной дороги, то в Стокгольме чудесно можно бы провести недельку!

Все предусмотрел. Обо всем подумал.

Мария Александровна перевязывает пачки писем, укладывает в шкатулку, довольная улыбка трогает ее губы.

Хорошо начался год 1910-й, и так много хорошего сулит он впереди...

Глава 2

ЗВОНОК

— Барышня, купите фиалки! — Мальчишка помахивал смятым букетиком цветов, перевязанным тонким мочалом.

Мария Ильинична протянула мальчишке монету, взяла фиалки, слегка встряхнула их и поднесла к лицу. От влажных цветов шел еле уловимый аромат. Весна!

Трамвай весело прогромыхал через Тверскую и, раскачиваясь из стороны в сторону, покатил по Садово-Триумфальной, вдоль липовой аллеи, расцвеченной розовыми, готовыми вот-вот лопнуть почками. У панели из-под булыжника высунулись ярко-зеленые усики травы; в подстриженном, еще голом кустарнике хлопотали воробьи. Весна... А на сердце у Марии Ильиничны не по-весеннему сумрачно. Именно сейчас, когда наладились связи и чувствуется, как снова проявляется нетерпение рабочих, ей приходится покидать Москву, оставлять партийную работу.

Мария Ильинична свернула в Воротниковский переулок и, миновав особняк с зеркальными окнами, остановилась у ворот, взглянула на объявление, наклеенное на чугунном столбе:

Недорого даю уроки французского языка.
Имею диплом учительницы Сорбоннского университета.

Дом Сувирова (во дворе), кв. 7
М-ль Ульянова М. И.

Объявление уже полиняло от дождей, а учеников так и не нашлось. Впрочем, может быть, это и к лучшему. Зачем сейчас они? Придется принять предложение, полученное через газету, ехать в Финляндию домашней учительницей. Легко сказать: ехать. А мама? Хорошо ли ей будет в деревне у Мити? А что скажет Володя? В последнем письме он дал понять, чтобы решала сама. В Москве оставаться дальше нельзя. Слежка идет упорная.

Сквозь чугунную решетку Мария Ильинична заметила, как от дворника Алексея поспешно отошел молодой парень в суконной поддевке, в картузе лабазника. Третий день он попадается ей на глаза и утром и днем.

Дворник спешил открыть калитку.

— Здравствуйте, барышня, милости просим,— угодливо суетился он.— Калиточку мы теперь запираем от нищих, уж

больно много их развелось, чего доброго — и в квартиру забраться могут.

Мария Ильинична быстро прошла по двору. У деревянного флигеля собрались нянюшки и кухарки со всего дома. Они катали с горки крашеные яйца, грызли семечки. Шла пасхальная неделя, и по всей Москве под ногами похрустывали яркие скорлупки яиц.

В окне первого этажа большого сувировского дома шевельнулась занавеска. Мама ждет.

В подъезде Мария Ильинична на секунду остановилась. Какое же решение она принимает, что скажет маме? Под ногами на кафельной плитке назойливая рекламная надпись:

ЗАВОДЫ АКЦ. ОБЩ.
ДЗЕВУЛЬСКИЙ И ЛЯНГЕ
ОПОЧНО-СЛАВЯНСКЪ

Она встряхнула головой, словно освобождаясь от последних сомнений, взбежала по ступенькам и дважды нажала кнопку звонка.

Мария Александровна встретила дочь у дверей. Уже давно ждала, сидя у окна, ждала ее звонка. Этот легкий торопливый звонок Мани везде, где приходилось им обитать за долгие годы скитаний, звучал для матери как музыка, от которой легко и светло становилось на сердце, улетучивались страхи. Дочь вернулась домой... От ее волос и блузки попахивает махорочным табаком. Значит, опять была где-то на окраине, с рабочими.

Через хозяйскую столовую мать и дочь прошли к себе в комнату. Мария Ильинична протянула матери цветы, заметила на столе письмо.

— От Володи? — Она взяла конверт.— Нет, из Питера. От товарища по партии — Ефима Петровича. Условным языком сообщает, что на днях привезет литературу. Отлично.

Мария Ильинична села за стол, накрытый к чаю. Небольшая комната с высоченным потолком, обставленная тяжелой хозяйской мебелью, не кажется чужой. Мама ко всему приложила руки, придала «меблирашке» жилой вид. Перед фотографиями Саши и Оли на пианино — кувшин с нарциссами, мамин мешочек с рукоделием в кресле и шкатулка с письмами, швейная машинка. Все это свое, знакомое с детства, домашнее. Как хорошо, когда тебя дома встречает мама! Карие глаза с золотыми точечками светятся любовью, и мамина удивительно ясная и спокойная улыбка сразу вносит умиротворение, успокаивает. Мария Ильинична обняла за плечи мать, прижалась к ней головой. Мама маленькая, хрупкая на вид, а какая в ней душевная стойкость! Рядом с ней всегда хочется быть лучше, решительнее.

Мария Александровна перебирает тонкими пальцами поблекшие фиалки, устраивает их в низкую вазу перед портретом Ильи Николаевича, вопросительно смотрит на дочь.

— Мамочка, кажется, я решила окончательно. Еду в Ино-Нéми. Условия прекрасные: сорок рублей в месяц при полном пансионе.

— И вдобавок к этому сосновый лес и свежий воздух — это просто великолепно, — радуется решению дочери Мария Александровна. — И я наконец буду за тебя совсем, совсем спокойна.

— Будет ли доволен Володя моим решением? — вздыхает Мария Ильинична. — Я читала и перечитывала его письмо, и мне почему-то кажется, что он не очень одобрительно относится к моему переезду.

— Я этого не увидела из письма, ты напрасно беспокоишься.

— Здесь так нужен каждый наш человек. Прибыла литература. Начались забастовки. Мамочка, ведь это может быть начало нового подъема! А я должна уезжать куда-то в Финляндию, отсиживаться там... Что делать? Может быть, остаться?

— Подумай сама, Марусенька, хорошенько подумай. Мое сердце — плохой тебе советчик. Оно может ошибиться. Как бы поступил Володя на твоем месте?

— Когда я уезжала из Парижа, Володя строго наказывал, чтобы мы не уподобились телятам, которых можно легко запереть на засов. «Работать и беречь себя для того, чтобы иметь возможность работать», — говорил он. И еще Володя сказал, чтобы мы очень берегли тебя и не оставляли одну.

— Обо мне, дорогая, не беспокойся, — ласково говорит Мария Александровна. — У Мити в Липитинó мне будет неплохо. Он и Тоня всегда так внимательны ко мне, и я не прочь пожить с ними. А тебе в тюрьму сейчас никак нельзя. При твоем здоровье...

От одной только мысли, что дочь может опять попасть в тюрьму, сердце матери сжалось от боли.

Всего несколько месяцев назад Мария Ильинична перенесла операцию аппендицита. В России эта болезнь считалась опасной, люди гибли от нее тысячами. Хорошо, что приступ захватил в Париже, у Владимира Ильича. Больше всего тогда боялись напугать маму. Скрывали от нее и болезнь и операцию. Владимир Ильич писал брату тревожные письма. Парижские врачи предлагали операцию, «...но без твоего совета боюсь решить. О т в е ч а й н е м е д л е н н о...— просил он Дмитрия Ильича.— Маме не пишу, ибо боюсь напугать ее зря». А потом, когда операция прошла благополучно и опасность миновала, Владимир Ильич написал матери подробное письмо. «Не сердись, что не писал сразу о Маняше», — извинялся он.

Мария Ильинична вернулась в Москву и стала пропадать по вечерам — вместе с оставшимися на воле большевиками восстанавливала партийные организации, налаживала их работу. Приходила каждый раз домой бледная, измученная долгими блужданиями по улицам, чтобы ускользнуть от шпиков. Мать с тревогой наблюдала за дочерью. «Только бы

Маню не арестовали теперь, еще не оправившуюся после операции. Не могу без ужаса подумать об этом, для меня это будет хуже смерти»,— признавалась она старшей дочери Анне. Много раз принималась за письмо Володе, чтобы посоветоваться с ним, но каждый раз откладывала — как ему напишешь обо всех сложностях, и следует ли докучать ему своими материнскими тревогами?..

— Все будет хорошо, все наладится, ты вернешься к своим любимым занятиям, — говорит Мария Александровна, поглядывая на помрачневшее лицо дочери. — Давай сыграем в четыре руки из «Травиаты».

Мать зажигает свечи на фортепьяно и раскрывает ноты. Они садятся рядом. Мария Александровна уверенно берет аккорд. Мария Ильинична вначале путается, ее мысли еще далеко, но маленькие умелые руки матери заставляют дочь вести мелодию, и они обе погружаются в мир прекрасного. Трепетный свет играет в серебряных волосах матери, в черных, мягких косах дочери. Перестает тренькать гитара в соседней комнате, смолкают голоса в столовой, кухарка на кухне обращается с кастрюлями, как с хрупкими сосудами. Всех захватывает рассказ о большой и печальной любви.

Мария Александровна мягко заканчивает игру. Дочь берет руки матери и прижимает к своему лицу.

— Хорошо с тобой, очень! — шепчет она.

Мать молчит. Нет, нельзя давать волю не только печали, но и нежности, они отнимают силы у сердца, и можно расплакаться.

Уже лежа в постели, Мария Ильинична думает о том, что нервы у нее пошаливают, что нужно аккуратнее по утрам делать холодные обтирания и гимнастику по Мюллеру, пить железо с мышьяком, как рекомендует Митя.

Прозвенели последние трамваи, все реже цокают копыта по мостовой, барышня за перегородкой с грохотом повесила на стену гитару.

Уснули жильцы в меблированных комнатах дома Сувирова. Уснула Москва.

Мать и дочь проснулись разом от резкого звонка в коридоре, ударившего по нервам в этот глубокий час ночи.

Мария Александровна пошарила рукой спички на комоде, зажгла свечу и стала одеваться.

— Это не к нам, мамочка,— глухим голосом проговорила Мария Ильинична, а сама торопилась заколоть на затылке косу.

— Спокойно подумай, нет ли у тебя каких бумаг, совершенно спокойно подумай.

— Есть, есть, письмо от Ефима Петровича,— шепчет Мария Ильинична и раскрывает ридикюль.

— Давай я спрячу.

— Нет, я сама...

— Дай-ка сюда,— твердо говорит мать, берет письмо и прячет за корсаж юбки.

А в дверь комнаты уже барабанят.

— Кто там? — спрашивает Мария Александровна.

— Дворник это, Алексей. Труба водопроводная подтекает, простите, проверяем,— отвечает за дверью голос.

Ох уж эти ночные аварии с водопроводом, горящая сажа в печных трубах, срочные телеграммы — как все это хорошо знакомо!

Мария Александровна откинула крючок. В коридоре — пристав, позади дворник, полицейские, женщина, повязанная платком.

— Нам Марию Ильину Ульянову.— Пристав шаркнул ногой.— Дельце до них есть,— и сделал движение, чтобы пройти в комнату.

— Я ее мать,— ответила Мария Александровна.— Сейчас она оденется...— А сама подумала о том, что Марусе надо дать время внутренне подготовиться ко всему этому.



— Потом оденется.— Пристав порывался войти в комнату.

Мать встала у дверей, маленькая, спокойная. Пристав пожал плечами. Полицейские топтались на месте. Дворник угодливо смотрел на пристава. «Стоит ли с ними церемониться?» — говорил весь его вид.

— Обыск требуется у вас произвести, да-с,— сказал пристав.— Предписание московского оберполицмейстера.

В коридоре послышались испуганные голоса. Пристав повернулся на каблуках.

— А ну, чего глаза пялите! Марш по местам, не вашего ума дело! — прикрикнул он на жильцов квартиры, выглядывавших из дверей.

Двери захлопнулись.

— Войдите,— раздался голос Марии Ильиничны.

Пристав шагнул в комнату.

Полицейские приступили к обыску, стали срывать чехлы с мебели, с грохотом отодвигали ящики комода и выбрасывали оттуда белье, предварительно встряхивая каждую вещь. Дворник отвинчивал дверцу печи. Молодой полицейский с веснушчатым лицом подошел к открытому пианино, любопытствуя, тронул пальцем клавишу. Фортепьяно охнуло.

Пристав сосредоточенно перелистывал нотные тетради.

Мария Александровна сидела и наблюдала. Полицейским было не по себе под ее взглядом.

Мария Ильинична стояла у окна и, стараясь сдержать озноб, покусывала нижнюю губу.

Пристав взял с пианино Сашину и Олину фотографии. Мать вздрогнула.

— Вы не смеете! — вырвалось у Марии Ильиничны.

— Маня, успокойся,— тихо сказала Мария Александровна.

Не первый раз она видит, как забирают в охранку портреты детей и мужа, и каждый раз больно щемит сердце. Вот

пристав вынул из шкафа шкатулку с письмами, бросил на стол альбом в бархатном переплете. Там фотографии детей. Шкатулка и альбом не раз побывали в охранке.

Женщина, сдвинув платок на затылок, сидела и разматывала клубки из мешочка Марии Александровны. Копна кудрявой разноцветной шерсти образовалась у ее ног, а она все разматывала и передавала приставу смятые комочки бумаги, на которых была намотана шерсть.

Марию Ильиничну перестало знобить, в глазах ее заиграли озорные огоньки. Ей вспомнилось, как мама в детстве обучала ее вязанью. А вязать Маруся была не охотница. Однажды Мария Александровна сказала дочери, что, когда она вывяжет весь клубок, на кончике нитки получит сюрприз. Маруся старалась, ее подгоняли любопытство и желание получить подарок.

На конце нитки была привязана маленькая дощечка шоколада.

«Никаких сюрпризов не будет, сколько ни разматывай»,— думала Мария Ильинична, глядя на тупое лицо женщины.

Полицейские сидели на стульях и прощупывали швы на одежде, мяли толстыми сильными пальцами подушки. Пристав брезгливо выбросил нарциссы и заглянул внутрь кувшина, поболтав в нем воду; не пощадил и фиалки.

— Произвести личный досмотр! — приказал он женщине, когда та кончила разматывать нитки.— Отведите по одной в ванную комнату, разденьте и тщательно обыщите.

Мария Ильинична побледнела. Ее мать будет подвергнута оскорбительному осмотру. О письме Ефима Петровича она в этот момент даже не подумала.

Мария Александровна, идя в ванную, была занята только одной мыслью — как сохранить от глаз полицейских это письмо.

— Ну, чего же вы, раздевайтесь! — сказала женщина.

Мария Александровна стояла не двигаясь.

— Вы что, не слыхали? — повторила грозно полицейская.

— Вам приказано раздеть меня...

Женщина сделала шаг к ней, встретилась со взглядом строгих, темных глаз, которых нельзя, невозможно было ослушаться, посмотрела на тонкие пальцы, сжимавшие концы шали, и у полицейской дрогнули губы. Она поняла, что не под силу ей такое. Не может она прикоснуться к этой женщине с белой головой.

— Ладно, пойдемте обратно, чего уж там,— сказала, вздохнув, полицейская и открыла дверь ванной комнаты.— Ничего на ней нет,— буркнула она приставу.

Мария Александровна взглядом дала понять дочери, что беспокоиться не надо, письмо не нашли. Женщина повела в ванную Марию Ильиничну.

Полицейские обыскивали коридор, переднюю, кухню.

— Ловко, барышня, работаете,— сказал пристав, вернувшись в комнату.— Ничего не обнаружено, ну да есть другие доказательства вашей преступной деятельности, от которых вам не отвертеться, нет. На этот раз придется сесть надолго, если не навсегда,— зло сказал он и стал писать протокол.

— Вы хотите запугать нас,— ответила Мария Ильинична.

Повадки полицейских ей были известны. Они всегда представляли дело тяжелее, чем оно было на самом деле, стремясь терроризировать ближних, и прежде всего мать.

— Одевайтесь,— распорядился пристав.

Мария Александровна крепко поцеловала дочь. Глаза ее были сухи.

— Будь здорова, Марусенька, за меня не волнуйся. Все необходимые вещи я тебе привезу.

Мария Ильинична в сопровождении полицейских идет по коридору. Мать смотрит ей вслед. Каждый раз, когда поли-

ция уводит кого-то из детей, перед глазами Марии Александровны встает Саша.

Захлопнулась выходная дверь, и распахнулись комнаты «меблирашек», загудел коридор. Мария Александровна вернулась к себе. На полу валяется распростертая Манина ночная рубашка.

Мать приводит в порядок разгромленную комнату, достает из-за корсажа письмо, сжигает его на свече, бережно собирает нарциссы и фиалки, ставит их в воду.

Глава 3

ЗАСАДА

Увели Марусю, унесли письма, фотографии близких, и комната кажется тюремной камерой. Мать не сдерживает больше слез.

— Горько мне, Сашенька, плачу я,— в отчаянье шепчет она.— А плакать нельзя, дорогой мой друг. Нельзя. Надо чем-то заняться. У Мани нет теплой кофты, а я не успела ее довязать.

Мария Александровна вытирает глаза, прикрепляет к волосам наколку, принимается за вязанье. Спицы дрожат, пальцы не слушаются. Она уже три недели вяжет эту кофту. Левый рукав вязала, когда с тревогой ждала сообщений от Ани, и наконец пришло долгожданное письмо, что у нее все спокойно. Воротник два раза распускала, сбившись со счета, размышляя о Володе. Стосковалась по нем. Думала — скоро увидится, поедет к нему, а вот теперь... что-то будет, что-то будет? А если пристав сказал правду и Маруся сядет надолго? Или еще хуже... Но нельзя так! — строго приказывает себе Мария Александровна. Почему, когда детям плохо, придумываешь самый страшный исход?

— Нельзя так! — уже вслух говорит она.— Надо думать о том, чтобы им было хорошо.

Пальцы задвигались энергичнее, перестали дрожать. Тянется бесконечная тонкая нитка, петли нанизываются на спицы, петли превращаются в плотную ткань. А распусти эту кофту, прочитаешь, как по телеграфной ленте, мысли матери. Если бы горькие думы весили, пушистая кофта стала бы тяжкой кольчугой. Но тяжесть горя остается на сердце матери, а ее любовь может превратить простую нитку в защиту от тюремной сырости, от тягостного одиночества.

Мелькают спицы, нанизываются одна на другую мысли. Лишь бы разрешили передачи! Кипяченое молоко и свежие яйца — лучшее лекарство от тюремного малокровия. Надо сократить личные расходы, чтобы хватило пенсии, чтобы Маруся ни в чем не чувствовала нужды. В Публичной библиотеке она подберет для нее книги. Хорошая книга — добрый друг в камере; будет часто писать — ласковое письмо о домашних делах, новой музыкальной пьесе раздвигает тюремные стены, прибавляет силы.

Ритмично постукивает указательный палец о спицу, напряженно работает голова матери, обдумывая предстоящую борьбу за здоровье, жизнь, бодрый дух младшей дочери.

Надо поесть, сберечь силы. И Мария Александровна зажигает спиртовку. Не хочется выходить на кухню, чтобы не возбуждать злорадного любопытства жильцов. Варит яйцо. По привычке считает до трехсот.

Сегодня не принесли газет, нет писем. Все забирается в охранку.

Написать разве Володе? Ане? Вызвать Митю? Нет, не надо торопиться. Завтра выясню, где Маня, тогда и напишу... Пойти посоветоваться? Куда? К кому? У Марии Александровны нет друзей ее возраста. Ее друзья — друзья ее детей. А пойдешь к ним — навлечешь и на них беду. Надо терпеливо ждать и все хорошенько обдумать. Завтра начнет она ходить по тюремным канцеляриям, судебным инстанциям,

писать прошения. Сколько она уже исписала таких прошений, борясь за своих детей, пытаясь вызволить их из тюрьмы, из ссылки, добиваясь для них возможности учиться в университете, прося свиданий в тюрьме, разрешений на передачу книг, продуктов! Будет писать и теперь. Заставит себя ждать хорошего исхода. Выдержит ли сердце? Должно выдержать.

И снова замелькали спицы. Спешат, спешат. Скорее бы прошел этот день.

В четыре часа дня раздается до боли знакомый, легкий торопливый звонок. Мария Александровна пытается подняться с кресла, ноги не слушаются. В дверях — Маня. Влетела в комнату, прильнула лицом к плечу матери, целует мягкие теплые щеки, волосы с неповторимым родным запахом.

— Отпустили? — Мария Александровна гладит дочь, и из сердца словно выдергивают колючки.

— Упросила отпустить, сказала, что ты больна.

— Откуда там гуманные люди? — удивляется мать.

— Улик у них никаких, одни подозрения. Отпустили потому, что хотят устроить у нас засаду, выявить связи,— шепчет Маруся на ухо матери.

Мария Александровна поднимает глаза — у дверей стоят те же полицейские, переодетые в штатское.

Пристав размещает их: одного в столовой, второго на кухне у черного хода, двух в передней у парадной двери.

— Выходить из квартиры никому нельзя, переписка запрещена, все жильцы, включая хозяйку и кухарку, находятся под домашним арестом,— предупреждает пристав обитателей меблированных комнат квартиры номер семь.

Хозяйка кипятится больше всех:

— А как же быть с собакой? Ей необходимо гулять, понимаете — гулять!

— У нас билеты в театр,— чуть не плачут две барышни.— Кавалеры нас будут ждать, господин пристав.

— Никаких театров, никаких кавалеров! — Пристав, откозыряв портретам царской четы, висящим в хозяйской столовой, уходит.

Мария Александровна спешит на кухню приготовить поесть. Жильцы во главе с хозяйкой следуют за ней.

— Вдова действительного статского советника, генеральша,— шипит хозяйка.— Кто бы мог подумать — такая почтенная дама, благовоспитанная дочь и вдруг... господи спаси! То-то я приметила, что ни одна из них к христовой заутрене не ходила, в великий пост молоко покупали,— осеняет себя хозяйка мелкими крестами.

— Из-за вас мы на дивертисмент не попадем,— хнычет барышня с родинкой на щеке.

Старик, придерживая у воротника домашнюю куртку, чтобы скрыть отсутствие манишки и галстука, ехидно выкрикивает:

— Сорбонна! Верди! Изящная словесность! Какой позор! Какой позор! Съезжаю с квартиры немедленно, тотчас, как снимут этот идиотский арест. Съезжаю!

— Дядя Алексей говорит, что они обе против царя,— шепчет кухарка хозяйке и расширенными от страха и любопытства глазами смотрит на маленькую фигуру Марии Александровны.

— Жалко мне их,— говорит она дочери, вернувшись из кухни.— Что за нелепость подвергать аресту людей, ни к чему не причастных? Барышням действительно хочется погулять.

— Что мы можем сделать? — с отчаянием спрашивает Мария Ильинична.— Как им помочь? Идти мне в охранку добровольно? Оставить тебя одну?

Полицейские обыскивали каждого заходившего в квартиру. Постучал с черного хода старьевщик и сразу оказался в лапах дюжих молодцов, которые вытряхнули из его мешка

тряпье, вывернули карманы. Зашла к хозяйке ее приятельница и также была обыскана.

Из комнаты хозяйки неслись истерические крики, до хрипоты лаяла собака. В коридоре разрастался гул гневных голосов.

— Что мы — каторжные? — кричит у самых дверей старик.— Я титулярный советник, верой и правдой служу царю, и вдруг — под домашний арест...

— Христопродавцы, социалистки! — надрывается хозяйка.— В тюрьме им место, а не в порядочном доме.

Полицейские безучастно стоят по своим углам.

Мария Александровна решительно поднимается и выходит в коридор. Шум смолкает, угрожая разразиться с новой, большей силой.

— Господа,—говорит Мария Александровна тихо, почти ласково.— Нам очень жаль, что вы терпите из-за нас неудобства. Я понимаю и барышень, которым хочется пойти в театр, и всех вас, у которых есть дела в городе. Вы нас не знаете и не можете за нас отвечать. Ваша свобода не должна быть стеснена. Если желаете, мы составим прошение от вашего имени. Все должно уладиться. Не беспокойтесь, господа...

Обитатели квартиры молчат.

Мария Александровна садится с Марией Ильиничной и пишет текст прошения, пишет, как принято писать: «Милостивый государь, честь имеем покорнейше просить...» Они просят снять арест с жильцов квартиры номер семь в доме Сувирова по Воротниковскому переулку.

— Подпишите, пожалуйста,— обходит она жильцов.

Барышни подписывают первыми.

Титулярный советник ворчит: «Заставляют нас жаловаться на действия властей», но тоже ставит свою витиеватую, как на банковских билетах, подпись.

Шипя, как рассерженная кошка, последней подписывается хозяйка.

— Отнесите приставу,— просит Мария Александровна полицейского помоложе.

Тот помялся, повертел бумагу в руках.

— Очень просим, отнесите, может, примут во внимание,— умоляют барышни.

Полицейский отправился и через час вернулся с предписанием пристава — домашний арест с жильцов, за исключением Ульяновых, снять.

Барышни побежали с щипцами для завивки волос на кухню.

Хозяйка сняла с крюка ошейник.

— Это весьма благородно с вашей стороны,— расшаркался старик перед Марией Александровной.— Весьма благородно.

— Так вы раздумали съезжать с квартиры? — спросила его хозяйка, надевая ошейник на сеттера.

— Да-да, раздумал, да и уплачено у меня вперед.

— Видишь, как все хорошо складывается, Маруся,— вздохнула с облегчением Мария Александровна.

Мария Ильинична собирает со стола посуду и несет на кухню. Барышня с родинкой приоткрывает дверь.

— Может быть, нужно что отправить на волю? Дайте мне,— шепчет она Марии Ильиничне.

Та еле заметно кивает головой и, идя второй раз на кухню, сует девушке в руки записку и деньги.

— Очень прошу — отправьте, но не говорите моей маме.

Это телеграмма Анне, чтобы выезжала немедленно.

Ночью, погасив свет, мать и дочь шепотом обсуждают, как предупредить людей, которые могут прийти к ним и попадут в полицейскую засаду. Решили, что Мария Ильинична целый день будет следить из окна за всеми входящими в дом, а Мария Александровна — дежурить в комнате у дверей, чтобы предупредить дочь, когда полицейские вздумают к ним заглянуть.

День тянулся мучительно долго. Барышня с родинкой сунула под дверь газету. Бегло просмотрели ее — Марии Ильиничне нельзя отрывать глаз от окна. Марии Александровне нельзя упускать из поля зрения полицейских. А тем надоело сидеть по углам, и они стали бродить по квартире, все чаще заглядывая к поднадзорным.

— Скучно вам? — спросила их участливо Мария Александровна и предложила карты и шашки.

Полицейские уселись в столовой и принялись за игру.

На второй день, как только рассвело, Мария Ильинична заняла свой пост у окна. Чтобы скоротать время, она считала, сколько человек сидит на скамейке, сколько человек за час входит и выходит из дома.

Уже начало смеркаться, когда она заметила во дворе чуть сутулую фигуру Ефима Петровича. Значит, приехал, был на явке, никого не застал и решил прийти к ней. Еще минута — и он попадет в засаду. Лишь бы глянул в окно... Нет, идет решительным шагом. По привычке опытного конспиратора не оглядывается: обстановку вокруг дома изучил, входя во двор.

Мария Ильинична готова просверлить Ефима Петровича взглядом, чтобы он поднял глаза. Еще несколько шагов, и он войдет в подъезд. Она пронзительно смотрит, гипнотизирует и вот уже поднесла руку к стеклу, чтобы стукнуть... Ефим Петрович наконец поднял глаза. Увидел. Мария Ильинична приложила палец к губам, покачала головой: нельзя, мол, к нам. Понял. Заговорил с вышедшей из подъезда женщиной, что-то спрашивает у нее. Та показывает рукой на противоположную сторону улицы. Ефим Петрович кланяется и не торопясь уходит. Уф, беда миновала...

Прошел третий день.

Ночью постучалась кухарка — повестка от пристава: Марии Ильиничне утром явиться в полицию.

И снова ночь без сна.

— Надо ко всему быть готовой, мамочка,— гладит руку матери Мария Ильинична.—Революционное движение вновь оживает. Полиция пытается ликвидировать московскую организацию большевиков. Очевидно, с помощью провокаторов. Хотя против меня в охранке ничего нет, но могут посадить по старым материалам. Тебе оставаться одной никак нельзя...

— Нет, ни Митю, ни Анюту тревожить пока не будем,— прерывает ее Мария Александровна.— Я почему-то уверена, что обойдется. Но давай соберем на всякий случай все необходимое. Теплую кофточку я закончила, прелесть какая получилась! Не забудь гимнастику Мюллера, возьми с собой английский учебник. Книги я тебе буду приносить. На свидание со мной одевайся потеплее — везде в этих приемных страшный сквозняк. Не забудь сообщить мне, сколько человек будет сидеть с тобой.

— Будешь для всех пирожки печь?

— Ну, а вдруг кому-нибудь не хватит?.. И дай мне, Марусенька, слово, что о малейшем недомогании ты дашь знать...

И Мария Ильинична понимает, какого душевного напряжения стоит матери снаряжать ее в тюрьму и не выказать при этом ни растерянности, ни волнения.

— Я думаю, мамочка, что все уладится,— успокаивает она и себя и мать.— Было бы значительно хуже, если бы обнаружили письмо Ефима Петровича. А теперь будем надеяться на лучшее.

Утром полицейские увели Марию Ильиничну. Засада снята.

Проводив дочь, Мария Александровна садится за письмо. Не писала Анюте пять дней, можно себе представить, как она волнуется.

Прежде всего надо успокоить, что здорова, не писала вовсе не потому, что была больна. Причина была другая.

...в ночь с четверга на пятницу пришли к нам «гости», перерыли все и, конечно, ничего не нашли, но все же увели Маню. Понятно, что эти гости меня страшно встревожили.

Пишет о том, что в тот же день Мария Ильинична вернулась. Пробыла дома три дня, и вот снова увели.

...сейчас два часа дня, а Мани все нет. Знаешь, если она вернется и ей разрешат ехать в Финляндию, буду телеграфировать тебе тотчас же «Маня едет», если же нет, телеграфирую «Мама одна», и ты сама решай, как тебе угодно поступить.

«Опущу письмо, прогуляюсь,— решает Мария Александровна, подталкиваемая желанием уйти из дома, скоротать время.— А если ее не отпустят? Но она сказала, что улик у них никаких и засада ничего нового им не дала».

Мария Александровна прохаживается по Воротниковскому переулку взад-вперед, взад-вперед. В больших зеркальных окнах соседнего особняка трепещут солнечные блики. В этом доме незадолго до гибели жил Пушкин у своего друга Нащокина. В 1836 году это было, в такие же солнечные весенние дни. Мария Александровна за год до этого появилась на свет, и все же она современница великого поэта. Здесь, в этом доме, читал он друзьям свои волшебные стихи, здесь делал первые записи задуманной им большой работы о Петре. Вспомнились стихи поэта, так любимые в семье Ульяновых:

...Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Почти сто лет назад написано это, а на Руси по-прежнему гасится, топчется все чистое, передовое. Но что-то уже изменилось. Это видит и Мария Александровна. Новые большие силы народились, и в них верит Володя, в них верит Маруся, верят их друзья. Новые силы, кажется, понимают, как проложить путь к «звезде пленительного счастья». И вот когда свяжешь свое маленькое, личное с этим общим, великим,— с гордостью думаешь о своих детях, думаешь их думами, живешь их жизнью...

Мария Александровна ходит по переулку. Уже закончились присутственные часы в губернской земской управе. Здесь совсем недавно работала Мария Ильинична. Толпой выходят чиновники. Снова затихло. А Мария Александровна ходит и терпеливо ждет. Не может она вернуться одна в пустую комнату.

«Значит, задержали...» — думает мать.

— Мамочка!

Мария Ильинична почти бежит по переулку навстречу дочери.

— Ура! Свобода, свобода! Теперь немедленно ехать в Финляндию, выждать там, потом к Володе; он скажет, что и как нужно делать.

И снова жизнь прекрасна.

— Погода-то какая чудесная! — улыбается Мария Александровна.— Даже здесь, в Москве, весной пахнет. Смотри, и липы распускаются. Как хорошо все складывается! Я поеду к Мите и отведу там душу в поле, в лесу... Надо распихать куда-то нашу «движимость». Швейную машинку я возьму с собой. Как хорошо, что мы не потревожили Митю и Аню.

— Мамочка! — Мария Ильинична смотрит виноватыми глазами на мать.— Я, кажется, поспешила. Пойдем на телеграф, дадим Анюте телеграмму.

Мария Александровна укоризненно качает головой:

— Протелеграфируем ей только два слова: «Маня дома».

...Хозяйка сама открыла дверь и округлившимися от удивления глазами смотрит на Марию Ильиничну.

— Вас отпустили?

— Да,— отвечает за дочь Мария Александровна.— Произошло недоразумение, но мы, к сожалению, вынуждены отказаться от комнаты.

— Но, мадам...— всплеснула руками хозяйка.— Неужели вы обиделись? Мы так нервничали, никому не доставляет удовольствия иметь дело с фараонами. Мне очень жаль, вы такие милые, тихие. Может быть, дорого? Я могу сбавить.

— Спасибо. Мы уезжаем к родственникам, иначе, конечно, остались бы у вас,— ответила Мария Александровна.

Глава 4

ЛИПИТИНО

Мужик осторожно зажал заскорузлыми пальцами бутылочку с длинным языком рецепта:

— Уж если полегчает — век за вас буду бога молить.

Дмитрий Ильич собрал в кулак бородку, посмотрел Гаврилову вслед. Нет, не станет ему легче от этой микстуры. Кровохарканье... Туберкулез... Человек обречен. Рекомендовать усиленное питание, кумыс, отдельную от семьи просторную комнату, чтобы не заражать других? Все это звучит издевательством над человеком, и прописывать этого нельзя.

Дмитрий Ильич знал, что Гаврилов живет в тесной избе, что до нови будет есть хлеб пополам с лебедой, вся его семья спит на одних полатях, а зимой в хату поселят и поросенка. Чем он, сельский врач, может помочь этому человеку?

В комнату вошла молодая крестьянка Люба. Придерживая одной рукой грудного младенца, она другой тащила упиравшегося парнишку.

Дмитрий Ильич ее знает. Она живет в соседней деревне,

муж работает на Рябовской мануфактуре в Серпухове, близок к большевикам. Иногда он заходит в приемный покой то мебель подремонтировать, то изгородь поправить и уносит с собой революционные листовки, брошюры Ленина.

— Помогите, господин доктор. Мается мальчонка, видно, антонов огонь приключился,— поклонилась Люба.

Парнишка стоял на одной ноге, уцепившись за юбку матери.

— Вы, Люба, обождите в той комнате, мы с ним тут побеседуем.

Женщина вышла.

— Садись,— предложил врач.

— Не сяду.— И парнишка, перебирая по стене руками, намеревался ускользнуть.

— Подожди, куда же ты? Экий, право. Как зовут тебя?

— Матвейкой.

Дмитрий Ильич широко расставил ноги, внимательно посмотрел на парнишку и неожиданно спросил:

— А ты можешь лягушку с одного удара из круга вышибить?

— Не-е-е, это никто не горазд.

— Хочешь, научу?

Матвейка хмыкнул.

— Не веришь? Пойдем — покажу.

— Так я ходить не могу, только прыгаю.

— Давай посмотрю — можешь ты ходить или нет. Что это у тебя там, порезал?

— Угу. Серпом повредил, крапиву чушке резал.

— Садись, посмотрим,— решительно сказал Дмитрий Ильич.

Матвейка нехотя сел. Доктор завладел ногой, быстро размотал тряпки, снял со ступни увядшие листья подорожника. Обнажился большой серый нарыв на пунцовой, словно остекленевшей ступне.

— Да-а,— покачал головой доктор, очищая пинцетом

больное место от налипшей грязи.— Паутину прикладывали?

— А как же! Прикладывали. И бабка заговаривала. Не пособило,— вздохнул Матвейка, стараясь потихоньку высвободить ногу из цепких рук доктора.

— Ты лучше зажмурься.

— Не, я не боюсь.

— Чур, ногой не дрыгать...

Только раз вскрикнул и чуть не сомлел парнишка.

— Все, все, все! Плакать ты опоздал, раньше нужно было. Теперь дело пойдет на поправку, и через неделю мы сыграем в городки. Я научу тебя одним махом вышибать любую фигуру с кона.

Матвейка сквозь слезы восхищенными глазами смотрел на белоснежную повязку, из-под которой торчали желтоватые, промытые, словно чужие пальцы.

— Вы лягушек взаправдашних едите? — спросил осмелевший мальчик.

— Нет, не приходилось. А ты пробовал?

— Так я ж не доктор,— засмеялся Матвейка.

— Да-а? А тебе сказали, что я пью чай вприкуску с лягушками, дружу с водяными и в городки играю с лешим?

— Всякое болтают,— уклончиво протянул Матвейка.— Только мой батька не верит, что вы лягушек едите. Он говорит, что вы ученый доктор.

— Ты верь отцу и не слушай всяких баек. И к бабке в другой раз не ходи, и паутину не прикладывай. Ладно?

— Ладно!

Дмитрий Ильич открыл дверь:

— Забирайте вашего героя. Через два дня сам к нему приеду. Повязку не трогать.

Люба положила на табуретку узелок, развязала его. В нем был пяток яиц.

— Не обессудьте,— поклонилась она.— Не богатые мы. Люди говорят, что к вам матушка приехала — пригодится.

— Поп я, что ли? Заберите с собой и покормите лучше Матвейку. Идите, идите, идите,— решительно сказал доктор, снимая халат.— Мне пора закрывать приемный покой...

Мария Александровна и Тоня возвращались с прогулки с большими букетами незабудок.

Село Липитино расположилось среди неоглядных полей и перелесков. На пригорке, который огибает тихая Каширка, над шатрами могучих лип высится красная кирпичная колокольня. Вокруг церкви добротные дома, обшитые тесом, под железными крышами — дом земского начальника, попа, дом волостного старшины. От церкви вдоль Каширки в два ряда расселись домишки, нахлобучив по самые окна соломенные крыши. Деревню замыкает винная лавка Чушкина, сложенная из такого же красного кирпича, что и церковь.

Дом земского врача в середине деревни, на полдороге от церкви до винной лавки.

Дмитрий Ильич встретил мать и жену на крыльце дома.

— Как хорошо здесь,— с искренней радостью сказала Мария Александровна.— По душе мне и лес, и поле, и речка. Детство напоминают.

Тоня стала накрывать на стол. Маленькая, стройная, легкая, она носилась через сени в кухню и обратно, не позволяя Марии Александровне помогать.

— Вы, мамочка, отдыхайте, а с нашим немудреным хозяйством я сама справлюсь.

В квартире чистота, как в операционной. Окна затянуты марлей от пыли и мух. Со всей своей молодой энергией Тоня занимается домашним хозяйством, стараясь погасить тоску по настоящей работе. В восемнадцать лет она уже познакомилась с тюрьмой — была арестована по делу Одесского комитета РСДРП. Четыре года спустя, в 1904 году, была арестована вместе с Дмитрием Ильичем, Марией Ильиничной и

Анной Ильиничной. Разделяла с мужем ссылку, скитания, безработицу. Молодого врача Дмитрия Ильича Ульянова и его жену фельдшерицу Антонину Ивановну не брали на работу — за ними следом шли предупреждающие циркуляры Одесского, Киевского, Московского и прочих охранных отделений.

И как-то так получилось, что в большой семье Ульяновых, где всегда кто-нибудь находился в тюрьме, в ссылке или под полицейским надзором, Тоня вместе с Марией Александровной приняла на себя обязанности заботиться о сидевших в тюрьмах или находившихся в ссылке...

Еще не закончился обед, а за Дмитрием Ильичем прибыла подвода из дальней деревни — на пожаре обгорел человек.

— Двенадцать верст. Эх, если бы не нога, вмиг долетел бы на велосипеде! — посетовал Дмитрий Ильич.— На телеге протрясемся не меньше трех часов.

Несколько месяцев назад Дмитрий Ильич ночью ехал в санях к больному. У переезда лошадь испугалась поезда, понесла, сани ударились о телеграфный столб. Врача подобрали с переломанной ногой и вывихнутой лопаткой...

Дмитрий Ильич захватил саквояж, палку, сел на край телеги, помахал рукой прильнувшим к окну жене и матери. Телега затарахтела по ухабам, распугивая кур, и скрылась в облаках пыли.

Мария Александровна села писать письмо Ане.

Дорогая моя, не можешь себе представить, как я рада, что Мане удалось уехать и гроза миновала. Давно я не чувствовала себя так хорошо... Ходила нынче в ближний лес и посидела там прямо с наслаждением: воздух в лесу прекрасный, особенно после пыльной и душной Москвы, и наши комнатки там стали душные, мрачные. Я очень жалею, что Маня встревожила тебя телеграммой.

Как прекрасна жизнь, когда дети здоровы и на свободе! Тогда и семьдесят пять лет не давят плечи и сердце отдыхает.

Мария Александровна любит вставать раньше всех, вместе с солнцем, когда пастух еще на другом конце деревни начинает высвистывать на жалейке свою незатейливую мелодию. Мария Александровна бесшумно проходит через столовую в сени, оттуда на веранду, раскрывает дверь в сад. У высокого крыльца яблоня роняет последние лепестки, нераспустившиеся кисти сирени, похожие на завязь синего винограда, постукивают о стекла веранды.

Мария Александровна спускается в сад. В этот час утренний воздух особенно прозрачен, и небо просторное, синее, и песня жаворонка, как и в молодости, трогает до слез, и все удивительно хорошо в этом мире.

Вокруг докторского дома небольшой сад. В этом году к нему не приложили рук. Митя только недавно сменил костыли на палку, и вывихнутая лопатка дает о себе знать до сих пор.

Тоня тоже не совсем окрепла после болезни. Но не может Мария Александровна спокойно смотреть, как крапива и репейник полонят цветник. Она разыскивает старые варежки и принимается за крапиву. Жилистый репейник ей не под силу.

Страсть к цветам, как и любовь к музыке, пронесла она через всю свою жизнь. Где она только не разводила садов! И в Симбирске, и в Кокушкине, и в Казани, и в Самаре, и в Алакаевке, и в Подольске, и в Феодосии. Особенно удачен был сад в Саблино под Питером. Душистый табак по вечерам вытеснял запах сосен, а астры под окном столовой цвели до самых заморозков. И каждый раз, уезжая на новое место, она оставляла после себя в образцовом порядке цветник.

Если случалось уезжать поздней осенью, не забывала пригнуть к земле и засыпать хвоей розовые кусты и подроб-

но объясняла новым жильцам, что и когда сеять, чем подкармливать и когда ждать цветения.

Мария Александровна выдергивает сорняк, видит, как раскрывают белые ресницы едва не задохнувшиеся маргаритки, во все глаза на солнце смотрят анютины глазки, пробиваются из земли желтыми гусиными клювами гиацинты.

С крыльца, припрыгивая, спешит Дмитрий Ильич.

— Эрцтлих ферботен! Эрцтлих ферботен![1] — укоризненно приговаривает он. Взял мать за руки, бегло пощупал пульс.— Я тебя очень прошу, просто умоляю: не утруждай сердце такой работой.— И принимается сам выдергивать репейник.

— Это не работа, Митенька, это большое удовольствие.

— Я как врач предписываю тебе абсолютный покой.

— Покой — это неподвижность, а неподвижность — это смерть. А я до нее не охотница,— улыбается Мария Александровна.— Мой отец не признавал лечения покоем, микстурами. «Человек должен всегда ощущать жизнь, быть деятельным, даже когда ему нездоровится»,— говорил он. Свежий воздух, прогулки, холодные обтирания предохраняют от всяких болезней. Ты бы, Митя, почаще обращался к врачебному опыту своего деда. Единственно, чего он боялся,— это сквозняков и мокрых остуженных ног. Видно, я у него эту боязнь унаследовала,— говорит Мария Александровна, поднимаясь на крыльцо.

Лето обещало быть удачливым. С июня Митя забросил палку и стал ездить на велосипеде. Тоня окрепла, загорела и даже чуть пополнела. Володя, Аня и Маня писали аккуратно, все были здоровы, и Мария Александровна чувствовала себя вполне счастливой.

Но вот Митя стал все чаще отлучаться. «По делам»,— кратко говорил он. Возвращался расстроенный и, избегая вопросительных взглядов жены, предлагал сыграть партию

[1] Врачом запрещено! Врачом запрещено! *(нем.)*

в шахматы, а чаще всего просил мать почитать вслух. Мария Александровна читала стихи Лермонтова. Тоня сидела на скамейке, набивала для мужа гильзы табаком. Порой, отрывая глаза от книги, Мария Александровна отмечала, что Митя слушает рассеянно, что ему изменила бодрость духа, что-то тревожит его, но не спрашивала — Митя сам скажет, если найдет нужным.

Никак не могла привыкнуть Мария Александровна к ночным вызовам Дмитрия Ильича. Каждый раз стук в дверь или в окно заставлял ее вздрагивать, и сердце учащенно билось. «Спокойно, спокойно,— уговаривала она себя, спуская ноги с кровати.— Это не полиция, это приехали за Митей к больному». Но сидела и чутко прислушивалась к голосам в сенях.

Тоня знала, что Мария Александровна волнуется, заходила к ней и успокаивала: «Это Митю вызвали к больному». А однажды сказала, что Гаврилову совсем плохо и Митя поехал к нему. Услышав, как загрохотала телега, вздохнула: «Ну вот, Митя и уехал. А мы будем спать».— «Будем спать»,— согласилась Мария Александровна. Но сон был тревожный. По крыше уныло барабанил дождь. Перед рассветом зафыркали под окном лошади. Митя, стараясь не шуметь, открывает дверь, но не скрипят половицы в столовой, значит, прошел прямо в кухню помыться. И плотнее ложится голова на подушку, крепче смежаются веки. Короткий освежающий сон, и снова какая-то тревога заставляет проснуться.

В доме тихо. Дождь перестал. Небо вызвездило. Мария Александровна решила посидеть на веранде, подышать воздухом. Оделась и, тихо ступая в мягких комнатных туфлях, вышла в сени.

Из кухни падала косая полоса света. «Митя забыл лампу погасить»,— подумала она и заглянула за большую русскую печь, разделявшую кухню. За кухонным столом сидел Митя, перед ним шахматная доска с расставленными для

игры фигурами. Опершись щекой на левую руку, он в правой вертел папиросу, следя за кольцами дыма. И столько горечи и муки было в его глазах, что у матери невольно вырвалось:

— Митя, что с тобой?

— Мамочка! — Дмитрий Ильич поспешно погасил папиросу, разогнал рукой дым.— Умер Гаврилов, и я ничем не мог помочь... другие лекарства нужны... против бесправия, нужды, темноты... Другие, мамочка, а я сейчас как отрезанный ломоть. Все связи арестованы...

— Трудно тебе?

— Очень...— ответил Дмитрий Ильич и осекся.—Но ведь безвыходных положений не бывает,— поспешил добавить он,— все наладится, как ты говоришь. Прости меня.

— Я уверена, что все наладится... если ты приложишь к этому усилия и терпение,— сказала Мария Александровна.

— Очень прошу тебя, мамочка, иди спать и ни о чем не думай.

— Я верю тебе.— Мария Александровна пошла к себе в комнату.

«Огорчил маму,— укорял себя Дмитрий Ильич, следя за легкой тенью на белой стене кухни.— Как совестно перед нею за минуты слабости и уныния».

На сердце было пакостно. В детстве мама могла наказать — посадить в старое кресло в отцовском кабинете. «Посиди спокойно и пораздумай над своим проступком»,— говорила она. Как боялись дети этого одиночества в холодном, кожаном кресле. Но, просидев там положенные полчаса, каждый чувствовал, что искупил свою вину. А теперь?..

Утром Мария Александровна вышла к завтраку, как всегда, причесанная, с неизменной наколкой на голове; только чуть гуще легли тени под глазами.

— Как спали, мамочка? — задала обычный вопрос Тоня.

— Отлично спала, здесь так спокойно,— ответила Мария Александровна, целуя невестку, потом сына.

Дмитрий Ильич с особенной нежностью обнял мать.

Вернулся к обеду с пачкой газет и писем.

— От Маняши и от Володи! — протянул он письма матери.

Мария Александровна поспешила в комнату за очками.

— Очень переживает Маруся, что пришлось забросить свои занятия,— сказала она, возвращаясь в столовую.— А вот Володина открытка, с видом Неаполя. Слушайте, что он пишет:

Дорогая мамочка! Шлю большой привет из Неаполя. Доехал сюда пароходом из Марселя: дешево и приятно. Ехал как по Волге. Двигаюсь отсюда на Капри ненадолго.

Крепко, крепко обнимаю. Всем привет.

Твой В. У.

— К Алексею Максимовичу поехал,— улыбнулась Мария Александровна.— Очень хорошо. Любит его Володя. Подерутся они, поспорят. Оба неугомонные, оба влюбленные в Волгу, в жизнь.

— Володя даже Средиземное море с Волгой сравнивает,— заметил Дмитрий Ильич.

— А с деньгами у них, наверно, плохо. Володя пишет, что ехал дешево, значит, это у них больной вопрос, коли он упоминает о нем. Как только получу пенсию — пошлю ему.

— Нет, мамочка, я сделаю это, как получу жалованье.

— Пошлем вместе.

Тоня и Митя рассматривали Неаполь. Дмитрий Ильич перечитал открытку несколько раз, словно желая найти там что-то большее для себя.

— У Володи как-то все удивительно хорошо и легко получается,— вздохнул он.

— Целеустремленный он,— отозвалась Мария Александровна.— И этой цели подчиняет все.

Весь вечер говорили о Владимире Ильиче.

— Я никогда не замечал в нем ни одного недостатка, его ни к чему плохому никогда не тянуло,— говорит Дмитрий Ильич.

— Ты ошибаешься, Митя. В детстве у Володи проявлялись черты излишнего упрямства. Однажды он сказал мне неправду. Но в нем всегда одерживало верх стремление победить в себе все дурное, некрасивое, принижающее человека. Как-то я заметила, что он курит. (Дмитрий Ильич вздохнул: он много курил.) Я спросила его, почему он решил насильственно привить себе эту дурную привычку. Ведь у некурящего человека нет потребности курить, а начнешь— попадешь в рабство. Нет папирос — уже неудобство в жизни, и как можно позволить себе расходовать — пусть и небольшие деньги — на это дурное дело! Володя бросил курить и не жалеет об этом.

Мать напомнила, как Володя в детстве любил закрывать книжку на самом интересном месте, не листая вперед, и с жадностью раскрывал ее на следующий день. А вместе с тем всегда стремился заглянуть вперед времени, в будущее. Он не любит музеев, потому что его привлекает только новое. Маня, вернувшись из Парижа, рассказывала, что Володя не пропускает ни одной демонстрации полета человека на аэроплане. И в январе это чуть не стоило ему жизни. Под Парижем в Жювизи́ демонстрировали полет человека. Володя сел на велосипед и покатил туда. Человек над землей, человек в облаках — страсть как интересно! Ведь это будущее человека. На обратном пути его сбила машина какого-то виконта. К счастью, он успел соскочить, а велосипед был раздавлен.

— Да, удивительное совпадение! Это было как раз в те дни, когда меня разнесла лошадь,— сказал Дмитрий Ильич.— Володя мне писал, что он подал в суд и выиграл про-

цесс. Виконт купил ему новехонький велосипед... Давно я не писал Володе. Надо написать, но что, чем похвастаться?

— Преодолеешь трудности, тогда и напишешь ему,— посоветовала Мария Александровна.

Глава 5

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

15 августа с рассвета до полудня в липитинской церкви звонили во все колокола. Вдоль деревни мимо дома земского врача к церкви тянулись подводы. Деревня походила на цыганский табор.

На обочинах дороги у телег с торчавшими вверх оглоблями стояли распряженные лошади и сонно жевали сено. В тени у телег бабы натягивали на босые натруженные ноги полусапожки, прихорашивались, обмахивали новые лапти на ребятишках, а затем следом за мужиками степенно шли в церковь. Сегодня — бабий праздник, день успения пресвятой богородицы. Со всех окрестных деревень съехались в Липитино крестьяне.

Мария Александровна сидела на террасе и раздумывала: давно она не была в церкви, давно утратила потребность в дни горести прибегать к богу, разучилась просить у него милости, покровительства, а когда светло и радостно было на душе, уходила в лес, в поле. Может быть, и следовало сегодня побывать в церкви, чтобы не осложнять положение Мити. Но нет, не стоит идти на сделку с собственной совестью, да и не умеет Мария Александровна лгать, притворяться.

И не пошла.

После поздней обедни процессия повернула от храма божьего на другой конец деревни — к винной лавке Чушкина. Началось пьяное гулянье.

Целую неделю возил Чушкин со станции Михнево ящи-

ки с водкой. Перед лавкой на поляне наставил грубо сколоченные столы, усердно готовился к празднику.

Дмитрий Ильич с женой хлопотали в амбулатории, тоже готовились встретить праздник во всеоружии. Пополнили накануне аптеку бинтами, марлей, ватой, кипятили инструменты, выстроили в боевой готовности пузырьки с йодом, нашатырным спиртом и другими лекарствами. Праздник, как всегда, кончится драками, поножовщиной.

В поповском доме попадья сбилась с ног. С утра принимала приношения крестьян: кур, яйца, сало, холст. Чушкин тоже в долгу не остался, и на праздничном столе между пирогами и разной снедью в обилии красовались бутылки. После обедни на трапезу к попу припожаловали сам уездный полицейский исправник, земский начальник, что недавно назначен в Липитино, урядник, старшина, учитель— вся местная знать, кроме земского врача.

— Гордыня его одолела, и церковью пренебрегает, не ко двору он нам,— сказал отец Никодим матушке.

Высокий, стройный, в черной рясе, туго перетянутой по талии вышитым поясом, с вкрадчивым ласковым голосом, отец Никодим умел располагать к себе прихожан, и кладовые его никогда не пустовали. В этот год холера свирепствовала по всей России. Заползла и в Серпуховский уезд, и святая вода была в большом спросе, впрочем, как и водка.

— По чарочке,— угощал отец Никодим гостей.—Сам бог велел выпить в такой праздник, и от холеры помогает.

— Холера побалует и уйдет,— говорил исправник, закусывая поросенком,— а вот мужики хутора сжигают — это похуже. Что же вы, батюшка, паству свою не наставляете, что мужик опять так свирепеть начал?

— Рябовские рабочие пример подают, ваше благородие,— съязвил отец Никодим, намекая на забастовку рабочих Рябовской мануфактуры, продолжавшуюся долго и упорно.

— Я полагаю, что дело здесь не обошлось без вашего доктора. Что вам удалось разузнать о господине Ульянове? — поинтересовался исправник.

— Нравственных качеств и поведения хороших, но в храм божий не заглядывает ни он, ни его жена. Недавно к нему приехала мать, преклонного возраста, так сегодня, в такой день, не пришла пресвятой богородице поклониться. Что уж о сыне говорить! — вздохнул отец Никодим.

— Волю начальства осуждать грех,— сказал исправник,— но будь я губернатором, я Ульянова земским врачом не утвердил бы, нет-с.

— А давно ли он здесь? — спросил земский начальник.

— Пятый год,—ответил исправник.—Утвержден в должности только в этом году. Прошлым летом мы произвели у него обыск. Одной нелегальщины сто двадцать семь книг и брошюр отобрали и весьма опасного направления рукопись «Жизнь Александра Ильина Ульянова». Это брат доктора. Повешен за покушение на жизнь его императорского величества.

— Как же, как же, помню, весьма прискорбный случай. Но бог милостив, и священная особа императора осталась невредимой.— Земский начальник вздохнул. До сих пор Липитинское земство представлялось ему тихой обителью.

— Я уже докладывал московскому обер-полицмейстеру,— добавил исправник,— что Дмитрий Ульянов, безусловно, неблагонадежный и весьма конспиративный.

— Скрытен, скрытен,— подтвердил поп.— Самых примерных прихожан посылал к нему, ничего выпытать не могли.

— Вся семья Ульяновых господом богом наказана,— угрюмо заметил исправник.— Александр повешен, старшая дочь Анна не единожды в тюрьме сидела, муж ее тоже революционер. Недавно сюда приезжала младшая — Мария. Получил о ней предупреждение, что большевичка, только что из тюрьмы вышла. Жена доктора — Антонина — два раза в

тюрьме сидела. Брат Владимир Ульянов — руководитель большевиков, весьма опасен. На днях я получил розыскной циркуляр — при появлении его в наших местах немедленно арестовать и доставить в Питер. Но он, как видно из писем, живет в Париже, женат на революционерке Крупской. Мы полагаем, нелегальную литературу Дмитрий Ульянов получает от него. Но как она к нему доходит — уму непостижимо. Вам,— обратился исправник к земскому начальнику,— подумать над этим надо, а вам,— кивнул он через стол уряднику,— глаз с Ульянова не спускать, да и вам, батюшка, при исповеди прихожан следует большее старание приложить.

— Ну и семейка, ну и семейка! — Земский начальник окончательно понял, что в Липитино ему покоя не будет.

Праздник продолжался. На берегу Каширки парни и девушки водили хоровод. Напротив докторского дома на пригорке уселись бабы, справляли пьяный праздник, пели разухабистые песни.

Мария Александровна вышла в сад и с горьким чувством смотрела на пьяный разгул.

К калитке подошла Люба с ребенком на руках. За нею прихрамывал Матвейка.

— Дома ли доктор? — спросила Люба дрожащим от слез голосом.

— Дома, дома,— ответила Мария Александровна.— Митя! — крикнула она в окно.— К тебе пришли.

— Опять с ногой? — покачал головой Дмитрий Ильич.

Люба расплакалась.

— Что с вами? О чем вы плачете? — участливо дотронулась до ее руки Мария Александровна.

— Горе у меня,— всхлипывала Люба.

— Батьку у нас заарестовали,— шепнул Матвейка доктору,— а ногу мамка мне понарошку обвязала.

Дмитрий Ильич повел Матвейку в приемный покой.

— Когда отца арестовали? — спросил он, разбинтовывая ногу.

— Третьего дня. Ночью взяли.

— Избу обыскали?

— Все обыскали. Даже за божницей смотрели, только бумаги батя в огороде под огурцами закопал, это я сам видел, а они морковь подергали-подергали и ушли. Мамка мне ногу замотала и сказала: «Пошли к доктору». А нога у меня вовсе и не болит, я могу уже в городки играть.

— Ну, давай я тебе забинтую,— сказал помрачневший Дмитрий Ильич.

В приемный покой привели первую жертву праздника.

Дмитрий Ильич протянул Любе деньги:

— Ваш муж весной в амбулатории полы настилал, и я до сих пор с ним не расплатился, возьмите, пожалуйста.

— Да нет же,— пожала плечами Люба, но, взглянув на доктора, замолкла.— Спасибо вам за доброе слово,— поклонилась она Марии Александровне,— за душевность вашу. Вы с шестерыми детьми одна справились, а я с двумя уж как-нибудь управлюсь. Спасибо вам.

Глава 6

ПО ГРИБЫ

Бабье лето было на редкость теплое, с перемежающимися дождями, туманными зорями и ласковым солнцем.

Мария Александровна с радостью наблюдала, что к Мите вернулся прежний бодрый дух, он был деятелен и часто, возвращаясь домой вечером, с довольным видом потирал руки.

— Прав был дед — длительные прогулки закаляют здоровье, а главное, повышают настроение,— говорил он.

В субботний вечер он предложил жене и матери пойти спозаранку по грибы.

— Устроим пикник, как в детстве.

Тоня принялась готовиться к этому семейному празднику — жарила, варила, упаковывала.

Поднялись вместе с петухами, вышли из дома, когда над полями за Каширкой висел еще туман. Улица была сонная. Пастух волочил длинный кнут и изредка щелкал им, подгоняя коров. В воздухе поблескивала серебряная паутина.

Но у винной лавки уже хлопотал ее хозяин Чушкин. Говорили, что по бумагам он значится Галкиным, но жители окрестных деревень величали его Чушкиным, и иная баба, выволакивая своего муженька из грязной канавы, распекала его: «Начушкался, как свинья».

— Наше вам почтеньице,— приветствовал доктора и женщин Чушкин.— По грибы собрались? Далеко ли?

— До опушки,— ответил Дмитрий Ильич.

— Мы ходоки плохие,— пояснила Тонечка.

По меже добрались до леса. В золотом сумраке светились стволы берез.

— Чур, мои, чур, мои! — вскрикнул Дмитрий Ильич, обводя руками вокруг себя.— Целый выводок боровиков! — Он вынул из корзины нож и осторожно срезал крепкие корешки с еще закрытыми шляпками.— Двенадцать штук! — торжествующе объявил он, укладывая грибы в корзину.

— Не хвастайся, я нашла подберезовики не хуже белых,— откликнулась Тоня.

Дмитрий Ильич взглянул на часы:

— Все грибы на опушке оставляю в вашу пользу, а я пойду поглубже в лес, есть у меня там заветное местечко. Если задержусь, с завтраком меня не ждите, но и без меня домой не уходите.

Мария Александровна посмотрела на сына.

— Ты опять уединяешься? — обеспокоенно спросила Тоня.

— Давай, Тонечка, действительно останемся здесь. Митя быстрый, за ним не угнаться. Да и я устала.— Мария Александровна присела на пенек.

Дмитрий Ильич подошел к матери и поцеловал ее в голову.

— Мамочка, я теперь не отрезанный ломоть, а часть каравая.

— Очень хорошо, просто великолепно,— отозвалась мать.— Посмотри-ка, Тонечка, там, под толстой березой, кажется, семья грибов.

— Белые! Крепкие, один в один,— с азартом собирала грибы Тоня. Она была настоящим грибным охотником.

Мария Александровна любила природу, как музыку. Сидела на пеньке, щурила глаза и посматривала вокруг.

Погода пасмурная, а в лесу солнечно. Кострами горят молодые клены, отдавая солнечные лучи, собранные за лето. Молодым дубкам словно не терпится пощеголять в золотом осеннем наряде. Старые дубы не спешат расстаться со своей зеленой шубой, не хочется им стареть раньше срока. В зеленых косах берез поблескивают золотые монисты.

Березовая роща была любимым местом для прогулок Марии Александровны. Стволы деревьев отсвечивают всеми тонами перламутра. У одних под тонкой шелушащейся кожицей словно течет голубая кровь, другие непроницаемо белые, матовые; стволы с розоватым оттенком, казалось, фосфоресцируют, а на поляне раскинулась красавица береза — все веточки у нее до самого кончика белые и хрупкие, как вылепленные из алебастра.

Только ели и сосны оставались равнодушными к наступающей осени. И даже хорошо, что пасмурно, все краски смягчены, в солнечную погоду и не разглядишь этой красоты.

Мария Александровна долго любовалась большим боровиком с загорелой шляпкой, к которой прочно присосалась влажная улитка, но срезать медлила: уж очень хорош.

— Вам не трудно нагибаться, мамочка? — окликнула ее Тоня.— Если увидите гриб, позовите меня, я срежу.

— Нет, Тонечка, мне это самой доставляет удовольствие, и здесь так красиво и такой живительный воздух, что я забываю о годах.

Грибов было много, и скоро обе большие корзины наполнились доверху.

— Давай перебирать грибы, посмотрим, не попались ли червивые,— предложила Мария Александровна.

Почистили грибы. Стали собирать яркие осенние листья. Тонечка смастерила венок и водрузила на свою пышную прическу. Мария Александровна сидела и подбирала букет, вглядываясь время от времени в глубь леса.

— Что это Мити все нет? — вздохнула Тоня.

— Давай готовить пикник, он и явится.

Тоня расстелила на траве скатерть, разложила яйца, пирожки и котлеты, огурцы и хлеб. Вынула из корзины бутылки с молоком и стаканы.

«Володю бы с Надей сюда... Оба страсть какие грибники»,— подумала Мария Александровна.

— Вот и Митя, давно бы нам надо расстелить скатерть. Посмотрите, мамочка, сколько у него грибов, еле несет.— Тоня поспешила навстречу мужу.

Дмитрий Ильич обнял за плечи свою маленькую жену, шел радостный, возбужденный.

Он поставил корзину в кусты, сам растянулся во весь рост у скатерти, взял малосольный огурец и вкусно захрустел. На волосах поблескивала запутавшаяся паутинка, глаза сияли.

Мария Александровна с нежной радостью любовалась сыном.

Как он похож на своего деда! Весь светится и сверкает, когда у него хорошо на сердце.

— Какой ты красивый, Митя! — Тоня снимала паутинки с головы мужа.

— Я голоден, как волк. Давайте скорей завтракать.

Тоня принялась разливать молоко в стаканы.

Все было необыкновенно вкусно, и все трое ели с аппетитом.

— А теперь давайте поделим грибы,— сказал Дмитрий

Ильич. — У меня корзина тяжелая — целых двенадцать боровиков.

Тоня с удивлением посмотрела на мужа.

— Эх, хорошие у тебя грибы, жалко выбрасывать,— хитро посмеивался Дмитрий Ильич.— Куда бы их спрятать? Вот великолепное дупло, туда и ссыплем.

— Ну что ты еще придумал? — недоумевала Тоня.

Дмитрий Ильич рассмеялся веселым, счастливым смехом, расставил руки, притянул к себе жену и мать и таинственно прошептал:

— Ли-те-ра-ту-ра!

Он раздвинул грибы в своей корзине, и обе женщины увидели под верхним слоем боровиков туго перевязанные пачки газеты «Социал-демократ».

— От Володи посылка пришла, товарищ меня с этим в лесу дожидался. Совсем свежие газеты. Будем переправлять их дальше.

— Только бы с обыском к нам не нагрянули, как в прошлом году,— опасливо заметила Тоня.

Грибы из корзины Антонины Ивановны сложили в дупло.

— Я за ними завтра приду, если проказницы белки раньше не перетаскают в свои кладовые,— сказал Дмитрий Ильич.

Часть газет он засунул себе под куртку:

— Посмотрите на меня, я не очень растолстел?

И, как ни упрашивала Мария Александровна дать ей тоже газеты, сын решительно протестовал:

— Тебе, мамочка, в тюрьму никак нельзя, кто же о нас заботиться будет? Теперь главное — сделать вид, что ноша у нас вовсе не тяжелая, да не попался бы навстречу урядник. А за такими грибами нам придется сходить несколько раз. Ефим Петрович привез большую партию. Кстати, он рассказал мне, как в апреле чуть не попал в полицейскую засаду на Воротниковском, но Маняша в окне подавала ему такие выразительные знаки, что он счастливо ускользнул.

Винная лавка стояла на краю деревни, как сторожевой пост, и обойти ее было невозможно: справа река, слева пригорок.

Тонечка шла, обливаясь по́том, но не показывала виду, что ей тяжело. Дмитрий Ильич хромал больше обычного. Уже приближаясь к лавке Чушкина, они заметили синюю фигуру урядника.

— Пронеси нелегкая,— сказал Дмитрий Ильич.

Чушкин вышел на дорогу и поджидал их.

— Позвольте полюбопытствовать, что за грибы бог послал,— спросил он доктора.

Подошел и урядник.

Мария Александровна вышла вперед и протянула свою корзину Чушкину.

— Сегодня у нас очень удачный день,— сказала она,— а самый примечательный гриб у меня в корзине, сейчас вот найду.— Мария Александровна выложила грибы на скамейку, выбрала гриб, к шляпке которого прирос другой, и показала его уряднику. — Правда, хорош?

Урядник заглянул внутрь корзины, и лицо у него стало скучное.

Тем временем Дмитрий Ильич и Тонечка не торопясь продолжали свой путь.

Дома Дмитрий Ильич взял руки матери и крепко поцеловал:

— Мамочка, ты такая... такая, что у меня нет слов выразить!

После обеда литературу упаковывали в большую дорожную корзину. Дмитрий Ильич перевязал ее веревками и написал наклейку: «Домашние вещи». Корзинку с литературой отправят в Сызрань Павлу Тимофеевичу Елизарову. Предназначалась она для самарской организации РСДРП. Павел Елизаров был братом мужа Анны Ильиничны, занимал пост управляющего банком, слыл за человека, далекого от политики, и его адрес не мог вызвать подозрений.

Вечером Дмитрий Ильич попросил Марию Александровну:

— Ты, может быть, опишешь Володе наш сегодняшний пикник?

Мария Александровна с готовностью села за письмо.

— Ты его сам отправишь? — Она посмотрела поверх очков на сына и улыбнулась.

— Да, да. Вы сразитесь с Тоней в шахматы, а я пойду в амбулаторию, немного поработаю.— Дмитрий Ильич взял письмо и вложил его в конверт.— Тебя не утомила сегодняшняя прогулка? — спросил он мать.— Ты хорошо себя чувствуешь?

— Я себя чувствую частью каравая,— ответила Мария Александровна.

В амбулатории Дмитрий Ильич тщательно задернул занавески, порылся в аптечке, выбрал среди лекарств бутылочку с надписью «яд», вынул из конверта письмо матери и, обмакнув чистое перо в бутылочку с «ядом», принялся писать невидимыми чернилами между строк:

Литература получена и переправляется дальше. Связи восстановлены. Подробности расскажет мама.

Герц.

Глава 7

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Третий день, как Мария Александровна приехала в Финляндию, в деревню Леппененó, чтобы отсюда отправиться в Стокгольм на свидание с Владимиром Ильичем. Дмитрий Ильич и Анна Ильинична решили, что безостановочная поездка из Москвы до Стокгольма матери будет не по силам и что до Финляндии ее будет сопровождать Анна Ильинична. Здесь Мария Александровна передохнет несколько дней

и дальше с другой дочерью — Марией — поедет в Стокгольм. В Питере не останавливались — холера продолжала там косить людей. Поэтому и сняли на несколько дней комнату у Ка́три Лясонен, в деревушке недалеко от станции Терио́ки.

Анна Ильинична с утра уехала в Питер. Хлопот у нее много: надо добыть заграничные паспорта, да и не с пустыми же руками ехать к Владимиру Ильичу. Вот и бегает она по явкам, встречается с товарищами, собирает для Владимира Ильича самую свежую информацию — о положении дел в рабочем классе, в партии. И гостинцев надо с собой захватить. Мария Ильинична связана обязанностями домашней учительницы, хозяева согласились ее отпустить только накануне отъезда.

Сегодня-завтра должно быть письмо от Владимира Ильича. После конгресса в Копенгагене он поедет в Стокгольм и даст знать, когда следует выехать сестре и матери.

Мария Александровна вышла на крыльцо. Почтальона осталось ждать недолго.

Хозяйка сидит на скамеечке перед домом, чистит салаку.

— Хювя пяйвя[1], — вежливо здоровается Катри. — Рова[2] Ульянофф собралась на прогулку?

— Нет, жду почтальона.

Катри глянула на солнце.

— Скоро будет. Может быть, рова желает кофе?

— Нет, киитос[3], — отвечает Мария Александровна.

«Хювя пяйвя», «киитос» и «хювясти»[4] — этих трех слов, пожалуй бы, и хватило для общения с хозяйкой. Катри неохотно говорит по-русски. Русские власти запретили рукодельные кружки для финских хозяек; ввели закон, чтобы финны служили в русской армии, защищали чужую для них

[1] Здравствуйте *(финск.)*.
[2] Госпожа *(финск.)*.
[3] Спасибо *(финск.)*.
[4] До свидания *(финск.)*.

страну; увольняют финских чиновников и ставят на их место своих, а те не знают финского языка, не интересуются нуждами финнов; русский царь уничтожил финляндскую конституцию, которой так гордились финны и Катри тоже. «Это русские виноваты»,— заявил недавно хозяин лесопилки, понизив расценки на работу, и теперь сын Катри приносит на одну треть заработка меньше, чем раньше.

Катри понимает, что старая, с благородной осанкой женщина не имеет к этому отношения, ее дочь, которая так приветлива и сердечна, не враг Катри, но они — русские. Вчера приезжал на велосипеде продавец аптекарских товаров, он долго растолковывал Катри, что русские — враги финского народа и Катри должна разжигать в своем сердце ненависть к ним, если хочет, чтобы бог смилостивился над ней.

Но не знает Катри, что сын этой седой женщины — самый бескорыстный защитник прав финляндского народа, самый страстный обличитель произвола русского самодержавия. Не читала Катри его последней статьи в «Социал-демократе» — «Поход на Финляндию». А если бы прочитала, увидела, с каким гневом и страстью обрушился он на новый столыпинский закон против Финляндии. «Придет время — за свободу Финляндии, за демократическую республику в России поднимется российский пролетариат», — заканчивал он эту статью. И придет время, когда финский народ из рук сына этой женщины получит право на независимое и свободное существование. Нет, не знает Катри, какой друг стоит рядом с ней...

В лесу зазвонил звоночек велосипеда. Почтальон! Вот он затормозил, соскочил с велосипеда, направляется к дому Лясонен.

— Для госпожи Ульяновой, — произнес он важно, протягивая узкий конверт с яркими марками и множеством почтовых штемпелей.— Не угодно ли русскую газету? — осведомился он.

Мария Александровна купила «Речь», достала из вязаной сумочки очки.

— От Володи! — радостно воскликнула она, вскрывая конверт.— От сына,— пояснила хозяйке,— из Копенгагена.

> *Дорогая мамочка!* — читала она.— *Посылаю тебе и Анюте горячий привет из Копенгагена. Конгресс закончился вчера. С Маняшей списался вполне: 4 сентября по стар. стилю, т. е. 17.IX по новому, жду вас в Стокгольме на пристани...*

— «Жду вас в Стокгольме на пристани»,— вздохнула полной грудью Мария Александровна и продолжала читать:

> *Две комнаты на неделю 17—24.IX мне наймет в Стокгольме товарищ. Мой здешний адрес есть у Маняши. В Стокгольм писать мне Hr. Ulianof. Poste restante*[1]. *Крепко обнимаю.*
>
> *До скорого свидания!*
>
> *Твой В. У.*
>
> *Здесь пробуду до 15.IX.10.*

— Хорошие вести? — интересуется Катри.

— Добрые вести,— отвечает Мария Александровна.— Сын приглашает к себе в гости, через два дня поеду к нему.

— А почему же он сам не может сюда приехать? В вашем возрасте трудно совершать такое путешествие.

— Не может он сюда. Здесь ему грозит тюрьма.

— Он русский?

— Русский.

Катри сбрасывает мусор в ведро, задумчиво смотрит на старую женщину и, покачав головой, молча уносит кастрюлю с рыбой на кухню.

Мария Александровна просматривает газету.

[1] Г-ну Ульянову. До востребования.

«Срок действия положения о мерах к ограждению государственного порядка и общественного спокойствия продолжен еще на один год...» — читает она и отмечает, что царизм не чувствует себя спокойно, коли власти продлили чрезвычайное положение в стране еще на год.

Внимание Марии Александровны привлекает сообщение госпожи Кюри, переданное по телеграфу из Парижа.

«Г-жа Кюри и ее сотрудник Дебирн сообщили Академии наук, что им удалось добыть радий в чистом виде. До сих пор металл радий добывался лишь в различных соединениях».

Наконец-то упорный научный труд этой замечательной женщины увенчался успехом.

Мария Александровна давно следила по газетам за экспериментами Марии Склодовской-Кюри.

Холера в Питере продолжается с прежней силой, сообщает газета. Каждый день новые жертвы.

«А Аня — в поезде, в трамваях, вынуждена обедать в случайных кофейнях, ресторанах. Тщательно ли там моют посуду?» — с тревогой думает Мария Александровна, накидывает тальму и идет на станцию, чтобы по дороге в деревню успеть обсудить с дочерью часть вопросов, связанных с поездкой.

Встретила Анну Ильиничну на опушке леса.

Возбужденная, с множеством пакетов и кульков спешила Аня к матери.

— Нагружена, как пчела богатым взятком. Страсть какая интересная информация для Володи. Купила прелестную шляпку Маняше на дорогу и тебе теплышку, чтобы на палубе не просквозило.

— Письмо есть. Ждет нас Володюшка четвертого сентября на пристани в Стокгольме, — сообщает радостную весть мать.

— Давай передохнем, я хочу прочитать.— Анна Ильинична складывает пакеты на траву, берет у матери письмо,

пробегает его глазами.— Узнаю милого братика. Все так основательно, точно, и по российскому стилю и по европейскому, и заранее приедет и снимет комнаты. Прелесть! Прямо до слез хочется мне с вами, но надо возвращаться в Саратов, там ждут товарищи, надо налаживать газету.

— А как с паспортами? — интересуется Мария Александровна.

— Паспорта у меня в сумке. Обошлись недорого. Оказывается, на заграничные паспорта сейчас определенная такса: рубль дворнику, пять рублей околодочному, двадцать пять — приставу. Итого тридцать один рубль, ну, и разные гербовые сборы. Теперь дело за билетами. Завтра же поеду за Маняшей. Ух, какие вы счастливые!

— Да, Анечка, я так счастлива, все так хорошо складывается, ну, просто отлично, я никогда еще не чувствовала себя так радостно и спокойно.

— Даже не верится, что через несколько дней вы увидите Володю. Дай я тебя, милая, поцелую. Как я рада за вас!

После обеда Анна Ильинична вынула записную книжку и уселась поудобнее.

— Я передам всю информацию Маняше, но мы с ней встретимся всего на несколько часов, и записывать ничего нельзя. Кое-что придется запомнить тебе — так будет вернее. Итак, — Анна Ильинична достала блокнот, — я здесь такое нашифровала, что и сама не сумею разобраться. Так... Прежде всего передай Володе, что его «Заметки публициста» зачитываются до дыр. Рабочие очень хорошо теперь разбираются, кто друг и кто враг. Передовые отходят от меньшевиков. На заводе Леснера, например, после обсуждения этой книги впередовцы и разные ликвидаторы потеряли очень много своих сторонников. На заводе Михельсона в Москве...

— Подожди, подожди,— говорит Мария Александровна и вынимает из сумочки начатый ею шарф для Владимира

Ильича.— Мне легче запомнить, когда я «ввязываю» свои мысли. Ну, продолжай.

Анна Ильинична рассказывает о московских забастовках, о новых руководителях, выдвинувшихся из среды рабочих, о провалах, арестах.

— Володя сам сделает выводы из всего этого, ему нужно передать факты, только факты.

Вечером, когда Мария Александровна и Анна Ильинична принялись за укладку саквояжей, послышался стук в окно.

Анна Ильинична опасливо открыла дверь:

— А, Роман Игнатьевич, заходите, заходите!

В комнату вошел молодой человек, на худощавом лице его пробивалась пушистая бородка, глаза щурились не то от света, не то от смущения, в руках он мял картуз.

— Знакомьтесь, Роман Игнатьевич, моя мама, Мария Александровна. Садитесь и рассказывайте, как у вас дела. Мама едет в Стокгольм на свидание с Владимиром Ильичем.

— В Стокгольм? — просиял юноша.

Уселись за стол. Роман Игнатьевич подробно обрисовал положение на заводе. Мария Александровна угощает чаем, присматривается к юноше. Собранный, серьезный, убежденный, но иногда вдруг улыбка сполохом осветит его лицо, и оно становится совсем юным.

— В прошлом году,— сказал Роман Игнатьевич,— меньшевикам удалось захватить на заводе руководство партийной организацией. Выдавали они себя за большевиков, но дела их были меньшевистские, старались втолковать рабочим, что все должно быть «по закону». С конспирацией не считались, почти открыто посещали подпольную типографию — и провалили ее. Стали устраивать крикливые заседания, и осенью почти половина организации была выловлена охранкой. После провала руководство возложили на меня... Больше некому было,— как бы оправдываясь, сказал он.

«Вот этот из тех, кто прокладывает дорогу к «звезде пленительного счастья»,— подумала Мария Александровна.

В суждениях юноши она угадывает ту же ясность цели, ту же решимость и веру, которые она читает в работах сына...

Роман Игнатьевич это уже не Ромка-ястребок, парнишка с рабочей окраины, который в годы революции расклеивал листовки, уводил по ложному следу шпиков; это член партии большевиков, способный к будничной, тяжкой, кропотливой работе, лишенной внешнего блеска.

Было уже поздно, когда Роман Игнатьевич спохватился:

— Пора идти.

Он встал и на минуту застыл, потом взглянул в глаза Марии Александровне и с трудом выдавил из себя:

— Если случится вам встретить в Стокгольме Настю... Анастасию Васильевну, я не знаю, под какой фамилией она там живет... работница питерская, большевичка... передайте ей привет от Романа. Сможете?

— С удовольствием передам, Роман Игнатьевич, с большим удовольствием,— сказала Мария Александровна и с нежностью посмотрела на юношу, словно читая его мысли.

Глава 8

ВСТРЕЧА

К утру началась легкая качка.

Мария Александровна проснулась.

Плескалась вода в умывальнике, из-под койки выезжал саквояж и снова исчезал, пальто, висевшее на вешалке, раскачивалось как маятник, отчаянно скрипели деревянные переборки.

«А Маруся, наверно, чувствует себя, как в люльке, крепко спит». Мария Александровна посмотрела на дочь, оделась и вышла на палубу.

Пароход приближался к маленькому городку на скалистом острове, увенчанном темным силуэтом церкви. Среди густой зелени — ущелья улиц. Над морем колыхался предутренний туман и длинными серыми космами поднимался к белесому небу. У берегов качались тени парусных лодок. Матросы разматывали канаты.

— Что это за остановка? — спросила Мария Александровна по-немецки проходившего по палубе помощника капитана.

— Это, мадам, Аландские острова, Мариеха́мн. Сдадим груз, примем почту и теперь уже без остановки до Стокгольма.

Мария Александровна села в кресло. Недалеко от нее в шезлонгах полулежали три женщины; видно, на них плохо действовала качка.

Маленькая девочка в белом капоре вертелась возле одной и тормошила ее.

— Мама, смотри, птички! Мама, на домике мельница! — кричала в восторге девочка, указывая то на чаек, то на кормушки для птиц, сделанные в виде крошечных ветряных мельниц.

— Успокойся, душа моя, не шуми,— устало уговаривала ее мать.

Девочка чувствовала себя отлично, ее все интересовало и сама качка забавляла.

Мария Александровна вспомнила одно такое утро, когда они всей семьей путешествовали по Волге. Володе было тогда лет пять-шесть. Она сидела вот так же на палубе. Володя, надув щеки, делая руками кругообразные движения, подражал гудку парохода: «У-у-у! У-у-у!» — и стремительно мчался вперед. «Володя, подойди ко мне. Не кричи»,— подозвала его мать. Сын подошел к матери, поднял на нее глаза и спросил: «А почему нельзя кричать?» — «Ты мешаешь людям отдыхать».— «Пароход кричит еще громче и не мешает, а мне нельзя?» И, не видя в глазах матери серьезно-

го укора, он снова подражал гудку парохода, носясь по палубе.

Какой он теперь, Володя? В этом году ему исполнилось уже сорок лет. Не видела его почти четыре года. Да и раньше встречи были короткие — вырывался на час-другой.

Вспомнилось, как летом 1906 года Володя приехал в Саблино вместе с женой. Выкроил для отдыха целых восемь дней. Приехали в субботу вечером. За ужином Надя уговорила его торжественно объявить себя неграмотным на все дни отдыха — не заглядывать в газеты, не брать в руки пера, не раскрывать книжки. Купаться, гулять, собирать грибы и ягоды. Изустал он тогда очень. За два месяца написал более сорока статей в газеты и журналы, большую брошюру и не меньше пятнадцати раз выступал с докладами и рефератами...

Мать была счастлива: Маруся, Володя и Надя спали с ней под одной крышей, в воскресенье на весь день ушли в лес, вернулись домой нагруженные цветами, грибами, туесками с земляникой. И понедельник обещал быть чудесным. Утро выдалось великолепное. Дети побежали купаться на Тосну, Мария Александровна накрыла в беседке завтрак и предвкушала длительную прогулку с сыном в лес — в первый раз за многие годы.

Но не утерпел Владимир Ильич, не сдержал слова, по дороге с реки завернул на станцию и купил газеты.

На дачу вернулся помрачневший, встревоженный.

— Дума разогнана, я так и предполагал,— заявил он матери, зайдя в беседку.— Сегодня же надо собрать товарищей, посоветоваться, выработать тактику партии.

После завтрака все трое уехали в Питер организовывать совещание.

— Через несколько дней мы обязательно приедем с Надюшей отдыхать,— пообещал он огорченной матери.

Но каждый день, раскрывая газеты, Мария Александровна видела, как осложнялась обстановка, царизм переходил в

наступление на революцию, и мать понимала, что об отдыхе сына сейчас нельзя и говорить. А затем Владимиру Ильичу и вовсе нельзя было показываться в Питере, и всю работу он перенес в Финляндию.

В следующем году ему уже пришлось перебраться под Гельсингфорс, а в декабрьскую ночь 1907 года, где-то здесь, в Ботническом заливе, он пробирался по шхерам, уходя во вторую эмиграцию. Едва не утонул. Но Мария Александровна узнала об этом много позже... Дети часто скрывали от нее свои болезни, преуменьшали опасности и трудности своей работы. Берегли ее. И не знали, как огорчали этим...

На палубе появился стюард. В левой руке он торжественно нес музыкальную шкатулку, правой рукой крутил ее за ручку, как шарманку. Из шкатулки вырывались дробные звуки вальса «На сопках Маньчжурии», приглашая пассажиров к завтраку.

Мария Ильинична уже разыскивала мать.

Пароход отчалил. Ветер затих. Солнечный диск нырял в неугомонившихся волнах, рассыпая золотые блики по серым волнам Балтики.

Мария Ильинична увидела мать, стоявшую у барьера, и невольно залюбовалась ею. Легко облокотившись на деревянный брус, Мария Александровна, слегка прищурив глаза, вглядывалась в далекую линию горизонта. Порозовевшие от морского воздуха щеки молодили лицо, в карих глазах играли отсветы от волн. В каждой складке платья, в каждом движении величавость и милое изящество, и вся ее по-девичьи стройная фигура с откинутой ветром полой тальмы казалась летящей над волнами.

«И в семьдесят пять лет мамочка все еще красива, — с нежностью подумала Мария Ильинична.— Нет, даже лучше, чем была в молодости. Сейчас ее украшает мудрость, добрая улыбка стала еще мягче, и все тот же четкий тонкий профиль. И какой у нее сейчас счастливый и покойный вид».

Мария Ильинична дотронулась до плеча матери:



— Мамочка, тебя здесь не продует? Пойдем вниз, в столовую. Пароход опаздывает.

— А Володюшка, наверно, уже на пристани нас ждет,— отозвалась Мария Александровна.— Совсем, совсем скоро увидим его.

После завтрака обе женщины поднялись на палубу и уже не отрывали глаз от туманной голубоватой дали, где вот-вот должен был показаться Стокгольм.

На фоне молочного неба город выплыл неожиданно шпилями церквей и островерхими крышами.

Швеция! Маленькая красивая страна с высокой культурой. Мелькнули в памяти рассказы двоюродной бабки Каролины о Швеции, не похожей ни на одну страну в мире...

Пароход втягивался между островами в город.

Сейчас уже ничто не привлекало внимания Марии Александровны.

Обычная любознательность, интерес ко всему новому отступили перед единственным желанием — скорее увидеть сына. Все четыре года не были так томительны, как эти последние минуты.

На пристани много народу. Мария Александровна надела очки и разыскивала среди нарядных зонтиков и черных котелков его — сына.

— Маня,— схватила она дочь за руку.— Я не вижу Володю. Уж не заболел ли он?

Мария Ильинична тоже ищет нетерпеливыми глазами брата среди толпы.

— Ну вот же он, Володя! — так и вскрикнула Мария Ильинична.

— Где, где? Не вижу! — Мария Александровна наконец облегченно вздыхает.— Да, да, конечно, это он. Размахивает обеими руками, в одной — цветы, в другой — шляпа.

И сразу исчезли все зонтики, котелки, опустела пристань, отодвинулся город, и на пристани стоял и по-юношески восторженно что-то кричал он — ее сын.

И вот уже сильные руки нежно обнимают мать.

Розы? Да, да, чудесные розы, но и они сегодня лишние.

Набережная? Улицы тринадцатого века? Это потом, потом, а сейчас смотреть только на него, говорить, слушать, не потерять ни одной минуты.

Мать сидит в экипаже рядом с сыном, плечом к плечу. «Похудел очень,— думает она,— но весел, бодр, счастлив».

Владимир Ильич обнял мать за плечо:

«Вот она, моя мама, которой всегда так не хватает рядом!» Ком в горле, и горячая волна приливает к сердцу.

Мария Ильинична поглядывает на брата, тихо и задушевно смеется.

Ехали недолго. Со Страндвеген, у парапета которой ныряли в заливе жирные утки, поднялись в гору и свернули на тихую узенькую улицу Каптенсгатан с тенистыми кленами у панели.

— Вот мы и дома! — звонко смеется Владимир Ильич, соскакивая с подножки и подавая матери руку.

У дверей квартиры их встречает полная чистенькая шведка.

— Добро пожаловать,— приветствует гостей хозяйка.

— Познакомьтесь, фрёкен Берг, моя мать Мария Ульянова, моя сестра, тоже Мария Ульянова.

Хозяйка предупредительно распахивает двери. Комната просторная, светлая, с двумя широкими кроватями. На круглом столе пестрые астры, на тумбочках у кроватей розы. Вторая, смежная комната совсем маленькая — это для Владимира Ильича.

Мария Ильинична осматривает новое жилище. Обо всем позаботился брат: и о том, чтобы снять комнаты на тихой улице, в нижнем этаже и чтобы недалеко от моря и от парка. О пианино для мамочки тоже подумал и о цветах.

— Неужели встретились? И целую неделю будем вместе? За пятнадцать лет это будет первая такая длительная встреча,— говорит счастливая Мария Александровна.

— Не неделю, а целых десять дней я в полном вашем распоряжении, если не считать утренней работы в библиотеке, нескольких деловых встреч и одного-двух рефератов.

— А если это считать, что же останется для нас? — шутливо спрашивает Мария Ильинична и звонко чмокает брата в щеку, кружит по комнате, вертит, осматривает со всех сторон.

— Похудел ты очень, Володя, с прошлого года.

— Мерси за комплимент. Это от велосипедной езды. Мы с Надюшей совершаем прогулки по шестьдесят — семьдесят километров в день. А ты, мамочка, ничуть не постарела, ничуть, даже еще красивее стала.

Усаживаются за стол.

Хозяйка подает завтрак. Мария Ильинична выкладывает гостинцы: осетрину — у Елисеева в Питере уверяли, что с Волги, черный хлеб — такого за границей нет, московскую колбасу.

— До чего же хорошо дома, просто расчудесно! Жаль только, что нет Надюши.— Владимир Ильич с аппетитом принимается за еду.

О малом и большом идет беседа — о погоде и положении в России, о сестре Анне, ее муже Марке, брате Дмитрии, о Надюше, которая осталась в Париже и иззавидовалась вся, провожая мужа в Копенгаген, зная, что он увидит Марию Александровну и Маняшу. Задушевный разговор затягивается до вечера.

Мария Александровна отмечает, с каким необычным аппетитом ест сын. Нет, не от велосипеда он похудел, наверно, плохо питается.

— Как у вас с деньгами, Володя, на какие средства вы живете? — спрашивает мать.

— Источников доходов у нас много,— смеется Владимир Ильич.

Он переводит, пишет, Надежда Константиновна клеит конверты и надписывает адреса на рекламных проспектах.

Это дает возможность существовать и заниматься партийными делами.

— Надюша, помимо большой партийной работы, серьезно изучает постановку народного образования в Швейцарии, во Франции. И, между нами говоря, собирается писать педагогическую энциклопедию. Очень нужное дело.

— И вашего заработка вам хватает? — продолжает настойчиво выяснять мать.

— Вполне! Ну, а когда совсем туго приходится, что бывает весьма и весьма редко, тогда я получаю свое партийное жалованье. Я ведь на службе у партии, и мне положено жалованье.

— Как вы питаетесь?

— Готовит Елизавета Васильевна. Но мы с Надюшей не позволяем ей тратить на это время и частенько обедаем в извозчичьей столовой. Кормят там сытно, дешево, просто прелесть. Просто прелесть! — подчеркивает Владимир Ильич и, чтобы переменить тему разговора, подробно рассказывает о том, что надо посмотреть в Стокгольме.

— По утрам я буду работать в библиотеке, а вы осматривать музеи, посещать магазины.

— В общем, будем заниматься всем тем, до чего ты не охотник,— лукаво заметила Мария Ильинична.

— Нет, просто я плохой чичероне, не умею объясняться по-шведски. У меня здесь есть товарищ по Питеру, я попрошу его помочь вам с покупками, он знает шведский язык. Завтра поедем к нему, а сегодня...

— Сегодня, если можно, посидим дома,— предлагает Мария Александровна.

— С превеликим удовольствием,— соглашается Владимир Ильич.

В комнату заползли сумерки.

Владимир Ильич опустил деревянные жалюзи на окнах, зажег настольную лампу.

Мария Александровна подошла к пианино, раскрыла

папку с нотами. Сын подобрал любимые произведения ее и свои: Бетховен, Чайковский, Мусоргский.

— Мамочка, как давно я ждал этого! — с восхищением воскликнул Владимир Ильич, когда Мария Александровна села за пианино.

Слушать игру матери для Владимира Ильича было всегда огромным наслаждением. Все детство прошло в атмосфере музыки, которой Мария Александровна увлекалась со страстью художника и приохотила к ней всех своих детей.

«Третья патетическая»... Владимир Ильич обнял сестру за плечи.

Оба стоят рядом безмолвные, потрясенные. Кажется, никогда они еще не слышали такой тонкой и правдивой передачи мудрости и силы этого произведения. А может быть, это потому, что играет мать?

Мария Александровна играла весь вечер, как в те далекие дни в Симбирске, когда жив был отец, живы были Саша и Оля.

Утром, когда сквозь прикрытые жалюзи на полу выстлались солнечные полосатые дорожки, Мария Александровна проснулась. Ей стало зябко.

Она взяла со стула свою теплышку — шерстяной халат, но вместо того чтобы накинуть его поверх одеяла, надела на себя. «Детям, наверно, тоже холодно»,— подумала она. Прикрыла Марию Ильиничну теплым платком. А Володю? Что накинуть на него? Подошла к вешалке, сняла его пальто, осмотрела, взвесила на руке и вздохнула — потертое, легкое.

Заглянула в полуоткрытую дверь смежной комнаты. Сын крепко спал, обхватив, как в детстве, подушку обеими руками.

Мать вошла в комнату и остановилась перед кроватью сына.

Вот теперь он ничего не может скрыть от нее. Глубокие складки залегли у рта, даже усы не скрывают их; бледное лицо, только ухо рдеет, и брови сдвинулись, словно в тяжелом раздумье. «Вовсе не от велосипеда ты так дурно выглядишь. Много сердца отдаешь своему делу. Трудно тебе? Иначе, наверно, нельзя. Иначе можно остановиться на полдороге, не дойти до цели. Ты избрал этот путь, взялся идти по нему стремительным шагом. Так иди же, иди. Лишь бы хватило сил. Только бы был здоров...»

Мария Александровна осторожно укрыла спящего сына пальто.

Присесть бы на кровать, натянуть сбившееся одеяло, подложить ладонь под щеку, ощутить биение жилки на виске, утолить жажду матери. Но нет, не надо этого, разбудишь сына. Пусть отдыхает, пока есть возможность.

Тихое утро... спящие дети... покой на сердце.

Мария Александровна вышла из комнаты.

Мария Ильинична тревожными блестящими глазами наблюдала за матерью. Теплый платок лежал свернутый на кровати.

— Ну, раз проснулась, вставай, Марусенька, многое надо успеть увидеть. Давай готовить завтрак и тогда разбудим Володю... И знаешь что...— Мария Александровна подошла к дочери. — Я раздумала покупать себе зимнее пальто, мое еще совсем приличное, теплое, не сумею я с ним расстаться, новое все равно в шкафу висеть будет. А вот Володе надо купить пальто, его совсем старенькое, ветром подбитое. Сделаем это красиво — подарим ему в честь сорокалетия.

Мария Ильинична присела на кровати:

— А два пальто — и тебе и ему — не выйдет?

— Нет, Марусенька, мне, право, не нужно. И еще, я думаю, купить бы нам примус. Будем готовить обед сами, это значительно дешевле.

— Ну уж нет, я категорически против! — раздался веселый голос Владимира Ильича из соседней комнаты. — Ма-

мочка, и это говоришь ты — самый горячий противник неблагодарной возни на кухне.

— Как не стыдно подслушивать! — погрозила пальцем в его сторону сестра.

— Нет, не имею такой дурной привычки, случайно услышал слово «примус» и возмутился. Как ты себя чувствуешь, мамочка? Тебе было холодно?

— Давно не спала я так, как сегодня. Кровать роскошная, мягкая, даже мои ноги не ныли.

— Заходи, Володя, я оделась! — крикнула Мария Ильинична.

— Спасибо, мамочка, что накрыла меня, но, право, мне было тепло. И такие чудесные сны мне снились под утро.— Владимир Ильич поцеловал мать.— Сегодня я в библиотеку не иду,— заявил он.— Мы поедем с Маняшей к Якову Семеновичу, я передам вас под его опеку, а мамочка тем временем погуляет в парке.

Глава 9

В СТОКГОЛЬМЕ

Яков Семенович осторожно поднял с земли светло-зеленую плеть настурции, сквозь тонкую кожицу которой угадывалось движение соков, осторожно подвязал ее к колышку. Крохотный палисадник был обнесен низким забором и походил на большую корзину с цветами. Перешагнув через пышный куст анютиных глазок, Яков Семенович собрал распавшиеся в стороны стебли гвоздики и готовился уже связать их, как услышал шаги и какой-то очень знакомый голос:

— Яков Семенович, это вы?

— Да, да, одну минутку,— ответил садовник, закрепляя узел. Он поднял голову, заслонил рукой глаза от солнца и ахнул. Не разбирая тропинки, шагая прямо по цветам,

поспешил к гостю.— Владимир Ильич! Какими судьбами?

— Здравствуйте, Яков Семенович. Теперь я вижу, что вы цветоводством занимаетесь для души, а не только ради конспирации. Знакомьтесь, моя сестра, Мария Ильинична, в гости приехала вместе с моей мамой.

— Заходите в дом,— захлопотал хозяин.— Соня! — крикнул он в открытое окно.— Смотри, кто к нам в гости припожаловал.

Владимир Ильич знал Якова Семеновича по Питеру с революции пятого года. Наборщик маленькой частной типографии, Яков Семенович не раз выручал питерскую организацию, добывая шрифты для большевистской типографии. А однажды ночью рабочие-дружинники сняли с работы хозяйских рабочих и на их место к наборным кассам стали члены партии большевиков и с ними Яков Семенович, чтобы набрать срочный номер газеты. Свежие номера он сам отнес Владимиру Ильичу.

В 1906 году по указанию партии Яков Семенович эмигрировал в Швецию. Жена осталась в Питере — она ждала ребенка.

Перед отъездом Яков закопал перед окном хибары ящик со шрифтами — пригодится, купил на рынке куст роз и посадил у того места, чтобы была примета. Роза прижилась, весной покрылась бутонами и в июне полыхала под окном, как жаркий костер, и это было последним утешением Софьи, похоронившей своего новорожденного.

Люди подолгу стояли перед покосившимся забором палисадника и любовались на розовый куст, невесть как очутившийся здесь, в петербургских трущобах за Обводным каналом.

Остановился как-то и околодочный, глянул на розу и кликнул хозяйку:

— Эй ты, Сара! Уничтожь сейчас же эту погань. Ишь красный цвет развели. Убрать немедля!

Соня поспешно оборвала головки роз и понесла в фартуке ворох душистых лепестков.

— Бутоны сорвать, а то завтра опять распустятся,— кричал ей вслед околодочный. — Перевешать вас не успели, забыли бы тогда, как цветы разводить. Придумали тоже — розы!

Соня срезала бутоны и остригла ветки, чтобы не появились новые цветы.

Нужно было сберечь самый куст, под ним был клад, и этот клад нужен был партии.

Осенью 1907 года Соне удалось перебраться к мужу в Швецию.

— Где работаете, как люди настроены, есть ли связи с Россией? — расспрашивал Владимир Ильич.

Яков Семенович работал теперь в типографии подсобным рабочим, надеялся получить работу наборщика, но мешало слабое знание шведского языка.

— Хорошо в Швеции, слов нет, но хорошо тому, кто думает о существовании, а не о жизни. Спокойно здесь, безопасно, но эмигрант всегда чужак, Владимир Ильич, тянет на родину, в Россию.

— Мы вернемся, вернемся в Питер, Яков Семенович, дайте только срок.

— А срок-то какой, Владимир Ильич?

— Ну, лет десять, не больше. Необходимо собраться с силами, организоваться. Срок уж не так велик, а успеть надо много.

— Думаете — доживу?

— Безусловно, доживем.

Яков Семенович вздохнул и застучал по столу искривленным указательным пальцем — пальцем наборщика.

— Вы не могли бы быть нашим проводником, показать нам Стокгольм? И большая просьба к Софье Михайловне — помочь моим гостьям сделать кое-какие покупки,— сказал Владимир Ильич.

— С большой радостью, с большим удовольствием, Владимир Ильич. Завтра мы оба совершенно свободны,— ответил Яков Семенович.— Соня, нарежь цветов для матушки Владимира Ильича.

Красив и своеобразен Стокгольм. Океанские пароходы бросают якорь в центре города. На трех островах — Стадс-, Ридар- и Хельгеандсхольмен расположился старый город с узкими улицами, где еле разъезжаются два экипажа.

Новую часть полонили парки, скверы с фонтанами, мостовую от панели отделяют грядки ярких цветов.

В детстве, по рассказам бабки Каролины, Стокгольм представлялся маленькой Машеньке городом из пушкинской сказки, островом Гвидона с причудливыми дворцами и легкими кружевными мостами.

Бабка Каролина по шведскому обычаю к пасхе красила гусиные перышки и делала из них яркие пушистые цветы, а Машенька с сестрами прикрепляла их к голым веткам вербы.

В день рождения вокруг именинного пирога зажигались свечи.

Мария Александровна родилась в России, в Петербурге, провела жизнь на Волге и чувствовала себя в Швеции, как в музее.

Осмотрели королевский дворец. Яков Семенович рассказал, что по шведской конституции король не имеет права переступить порог парламента, чтобы «не нарушать демократии». Новый состав парламента сам является во дворец и представляется королю.

— Это настоящий спектакль,— смеется Яков Семенович. — Членов парламента и правительство приветствуют с балкончика троекратным реверансом принцессы в старинных нарядах, и члены парламента трижды кланяются им, затем выходят драбанты в доспехах времен Карла XII, в

сопровождении свиты появляется король, усаживается на трон и зачитывает тронную речь. Забавно!

— И все же здесь нет такого общественного бедствия, как царское правительство,— замечает Владимир Ильич.

— А помнишь, Володя,— обратилась к брату Мария Ильинична,— в пятом году шведский народ поддержал требование Норвегии о выходе из унии, и правительство и король вынуждены были согласиться. Если бы такое случилось в России?..

— И, представь себе, обе стороны, и Швеция и Норвегия, от этого только выиграли, отношения с Норвегией сейчас значительно лучше, чем тогда, когда она была насильственно привязана к Швеции. Шведы — цивилизованный народ.

— Да, это не Россия,— согласился Яков Семенович.— У нас на каждые десять человек восемь неграмотных.

— И сколько талантов не раскрыто! — как бы про себя заметила Мария Александровна.

— Сколько Ломоносовых загублено! — живо подхватил Владимир Ильич.— Даже американские негры и те счастливее русских крестьян. Среди них вдвое больше грамотных. В Америке на каждую тысячу жителей приходится вчетверо... вчетверо больше учащихся, чем в России. Какую гигантскую работу нужно проделать, чтобы Россия догнала Америку!

Улицы города внезапно оживились. Наступил обеденный час, и Владимир Ильич предложил заглянуть в кафе. С трудом разыскали свободный столик.

— Как не похожи шведские кафе на парижские,— отметила Мария Ильинична.— В Париже что ни кафе, то политический клуб, диспуты, споры, а здесь чинно и тихо, как в церкви.

Рядом за столиком сидели две пожилые шведки. Одна из них что-то вполголоса рассказывала, другая, отпивая маленькими глотками кофе, ограничивалась междометиями:

«Я-гха, я-гха!», и в особо патетические моменты восклицала: «Я-ссо!»

Владимир Ильич усмехнулся, вспомнил, как это «я-гха» повторял на разные лады финский рыбак, когда они пробирались ночью через ледяные торосы в Абоских шхерах.

Яков Семенович рассказал легенду, слышанную им от местных жителей.

Во время крестовых походов шведов против Новгородской земли вслед за войском в Россию тянулись купцы, ремесленники, знахарки. Знахарки врачевали травами, пахучими мазями. К ним приходили русские крестьяне, сетовали на свои недуги. Лекарки, не понимая их, кивали головами и, как заклинания, повторяли свое «я-гха, я-гха»: понимаю, мол, понимаю — и за добрую мзду снабжали лекарственными снадобьями, которые редко помогали, чаще вредили. Отсюда будто бы и происходит «баба-яга»...

— Я что-то не помню, чтобы мне гранд-танте Каролина рассказывала подобное,— посмеялась Мария Александровна.

Софья Михайловна отметила необыкновенную вышколенность шведских обывателей. Едва ли на улицах можно услышать брань, ссоры в магазинах, ругань в трамваях.

— Здесь муниципалитет ввел порядок, по каким дням жители города могут проветривать на балконах постели и по каким дням выбивать ковры, и шведы строго придерживаются этих правил.

— Помогают ли шведские рабочие своим собратьям по классу, русским политическим эмигрантам? — поинтересовался Владимир Ильич.

— О да,— ответил Яков Семенович.— Мы ощущаем солидарность шведских рабочих. Некоторые профсоюзы оказывают материальную помощь вновь прибывающим эмигрантам. Пожаловаться нельзя. Но буржуазия всюду одинакова.

Вышли из кафе и продолжали прогулку по городу.

Осмотрели здание Оперы. На ступеньках театра сидели студенты, пожилые шведы и, подставив лицо солнцу, ловили его осенние слабеющие лучи. В Стокгольме, как и в Питере, белые летние ночи и темные зимние дни.

По дороге домой остановились у памятника Карлу XII. С непокрытой головой, в русском полушубке, пола которого отвернута морским ветром, Карл шпагой указывает на восток.

— Шведские студенты,— пояснил Яков Семенович,— объясняют этот жест Карла так: не забывайте, мол, моего опыта, не поднимайте, мол, меча на Россию.

— И в самом деле, лучше торговать, чем воевать, лучше быть Меркурием, чем Марсом,— улыбнулся Владимир Ильич.— А теперь мне хочется порадовать мамочку великолепными цветами, живописным пейзажем и музыкой одновременно. Поехали в Дьюгорден, это зоологический парк,— пояснил он матери.

На следующий день вечером Мария Александровна принялась за письмо Анне. Владимир Ильич и Мария Ильинична устроились за круглым столом.

...Гуляем эти дни много, осматриваем город и окрестности. Прелестные здесь скверы и парки, масса цветов, красивые фонтаны. Вчера сидели долго в одном парке, слушали музыку, любовалась я, глядя на целый лес роскошных пальм, лучше тех, что я видела в Крыму...

Мария Александровна закончила письмо и принялась за вязанье — не может она сидеть сложа руки. Поверх очков посматривает на детей. Маруся, сцепив пальцы и вся подавшись вперед, ловит каждое слово брата. Большие темные глаза ее стали совсем черными, над высоким ясным лбом

распушились волосы. Маруся не блистает красотой, всегда старается остаться незамеченной, на людях как-то съеживается. А дома, где все ее любят, она прелестна и смешлива. Сейчас ее лицо, освещенное тревогой, глубоким раздумьем, кажется матери прекрасным.

Мария Александровна прислушивается к разговору, и ей становится понятным, какую напряженную борьбу ведет ее сын со своими противниками. Он верит, что под толщей реакции назревает новый родник революционного движения, и надо проложить для него русло, которое бы удесятерило его энергию, помогло смести преграды и вынесло бы его на широкий простор, а все эти меньшевики, ликвидаторы, отзовисты боятся пролетариата, страшатся всесокрушающей силы этого потока и пытаются ослабить его, направить родник в топкое болото.

«Резок стал Володя,— отмечает про себя мать,— «пустозвон Троцкий», «болван и жулик Потресов». Видно, довели они его».

И новая манера появилась у Володи, которой она раньше не отмечала,— когда волнуется и спорит, распахивает пиджак и обхватывает себя руками под проймами жилета, словно сдерживает себя, свой гнев. Но вот он заговорил о Плеханове, голос потеплел, ему хочется верить, что сейчас Плеханов искренне и всерьез желает бороться против оппортунистов.

— Эмигрантщина сейчас во сто крат тяжелее, чем была до революции,— вздыхает Владимир Ильич.

Склоки, которые разводят меньшевики в эмиграции, отнимают у него много сил.

Свои убеждения, программу действий большевиков он оттачивает и шлифует, как алмаз, чтобы все грани были четкие, сверкали, убеждали. Весь в огромном напряжении, боится упустить каждый час, деятелен не меньше, чем в жаркие дни революции.

«Сохранить боевую партию... выдвинуть из среды рабо-

чих новых руководителей, они не заражены интеллигентским нытьем, они энергичны, они хозяева... — ловит Мария Александровна мысли сына, и перед ее глазами встает ладная фигура Романа Игнатьевича, с которым она познакомилась накануне отъезда. — Надо попросить Володю разыскать Анастасию Васильевну», — думает она и слышит, как Владимир Ильич рассказывает о своей поездке на Капри.

— Ты доволен встречей с Горьким? — спрашивает Мария Александровна.

— Да, мамочка, поездка была и нужной и интересной. «Вы меня поругиваете?» — был первый вопрос Алексея Максимовича. «Да,— ответил я,— поругиваю». Спорили мы с ним отчаянно. Он много сделал для пролетарской культуры и должен сделать еще больше. Огромный талант, огромный! Он должен принадлежать рабочему классу весь целиком... Какие прелестные прогулки мы с ним совершали,— уже совсем мечтательно произносит Владимир Ильич.— Часто вместе любовались восходом солнца... А ребятишки там — прелесть! Прозвали меня синьором Дринь-Дринь и каждый день у калитки дожидались, тащили меня в море рыбу ловить...

— Почему Дринь-Дринь? — удивилась сестра.

Владимир Ильич рассказал, как один итальянский рыбак учил его ловить рыбу на леску с руки и, показывая, как надо подсекать, что-то бормотал похожее на «дринь-дринь». Владимир Ильич закинул леску и почувствовал, что клюет. «Дринь-дринь!» — весело воскликнул он, вытягивая рыбешку. «Дринь-дринь!» — повторил рыбак и рассмеялся. И, встречая затем Владимира Ильича на улице, приветствовал его: «Добрый день, синьор Дринь-Дринь».

Спать разошлись поздно. Мария Александровна лежала с открытыми глазами и размышляла. В комнате сына горел свет. Владимир Ильич готовился к выступлению с рефератом на собрании местных социал-демократов. На реферат пойдет Мария Ильинична. Так было решено вечером. «Мо-

жет быть, и мне пойти? — подумала Мария Александровна, но тотчас отогнала от себя эту мысль: — Нет, нет». Двадцать три года назад она слушала на судебном заседании последнее слово своего сына Александра. Не могла дослушать до конца — душили слезы, разрывалось сердце. Ушла. И с тех пор никогда не ходила на выступления своих детей. Дети знали это и не предлагали матери бывать на собраниях, где выступают. Но эта мысль растревожила Марию Александровну, и она уснула только тогда, когда Владимир Ильич погасил свет.

...Пальто выбирали долго. Услужливая фрекен в коричневом блестящем форменном платье продавщицы предлагала самые модные фасоны, а Марии Александровне хотелось купить пальто для сына легкое, и теплое, и не чересчур модное.

Наконец фрекен предложила серое драповое пальто. Мария Ильинична и Софья Михайловна одобрили этот выбор. Пальто было куплено.

— А теперь, мамочка, пойдем в магазин для дам, подберем тебе хорошее черное платье.

Мария Александровна улыбнулась:

— Опять что-нибудь модное будут предлагать. Нет уж, здешние платья мне вовсе не нравятся, а вот внизу я видела очень симпатичную вещь...

Этой симпатичной вещью оказался плед. С одной стороны гладкий коричневый, с другой — темно-вишневый в белую и голубую клетку.

— Вместо платья ты решила купить себе плед? — разочарованно спросила Мария Ильинична.

— Да, мне он очень нравится. Я думаю, что Володе он тоже придется по вкусу. У них, наверно, теплого одеяла нет, а плед и в дороге и дома пригодится.

— Ну, что с тобой поделаешь? — рассмеялась Мария Ильинична.

...В то утро Мария Ильинична говорила с хозяйкой дольше обычного. Фрекен Берг не знала другого языка, кроме родного, шведского, и Мария Ильинична умудрялась договориться с ней об обеде и всяких хозяйственных делах на какой-то смеси французского и немецкого, сопровождая свой разговор выразительной жестикуляцией. Из кухни слышался звонкий смех Марии Ильиничны.

— Маняша, видно, просит поджарить котлеты, а хозяйка понимает, что надо сварить картошку,— шутит Владимир Ильич.

— Сегодня у нас будет парадный ужин,— торжественно заявила Мария Ильинична, выходя из кухни и вытирая слезы.— Намучилась я ужасно. Насмеялась до слез.

— Могу себе представить, что этот лукуллов пир будет состоять из яичницы с колбасой,— заметил Владимир Ильич.— Но я предпочитаю яичницы, приготовленные Надюшей: она мастер этого дела,— смеется Владимир Ильич.— Итак, я иду в библиотеку, а у вас по программе концерт.

Мать и сестра проводили Владимира Ильича до Королевской библиотеки, расположенной в небольшом тенистом парке Хумлегорден.

Владимир Ильич, помахивая тетрадкой, поднялся по каменным ступенькам.

Мария Александровна и Мария Ильинична пошли в филармонию.

Вечером Мария Ильинична попросила мать и брата посидеть у него в комнате, пока она будет накрывать с хозяйкой к ужину.

— Я покину тебя еще на один вечер,— сказал Владимир Ильич матери, — в субботу я читаю реферат «О положении дел в партии», а перед этим поработаю в библиотеке. Это архинеобходимо,— пояснил он, как бы оправдываясь.— Буду читать реферат для наших социал-демократов.

— Для социал-демократов? — повторила мать задумчиво. — Мне бы хотелось побывать на твоем реферате, если это

возможно... если мне позволительно быть в кругу твоих единомышленников.— Мария Александровна посмотрела на сына.

Владимир Ильич ответил не сразу, только глаза его потемнели и стали теплыми-теплыми.

— Мамочка! Но ведь ты и есть наш единомышленник, самый верный и самый стойкий. Я буду рад... Я буду счастлив...

— Прошу к столу! — распахнула дверь Мария Ильинична.

Владимир Ильич взял под руку мать, и оба остановились в дверях.

На столе вокруг торта хороводом стояли свечи. Очень много тоненьких восковых свечей, и они мерцали в темной комнате как Млечный Путь.

— Что это за иллюминация? — спросил озадаченный Владимир Ильич.

— В честь семидесятипятилетия нашей мамочки. А свечи придумала милая фрекен Берг. По местному обычаю. Семьдесят пять свечей. Правда, красиво? И твои сорок, Володя, входят сюда.

— Очень красиво, очень торжественно, но мое семидесятипятилетие уже миновало несколько месяцев назад,— сказала растроганная Мария Александровна.

— А мы воспользуемся случаем и отпразднуем его сейчас.

Язычки пламени вытягивались все выше, вот они соединились и образовали над тортом огненный шатер, свечи потрескивали, в комнате запахло теплым медом.

Мария Александровна села за стол и смотрела на гудящий костер.

Когда горит одна свеча или несколько — это трогательное и большей частью печальное зрелище, а когда огоньки вот так сливаются в гудящее пламя — это ошеломляет красотой и праздничностью.

Владимир Ильич не отводил глаз от маленьких, изящных рук матери с тонкими пальцами, может быть, впервые в жизни находившихся в праздности.

Семьдесят пять лет! И каждый год зрелой жизни — год подвига, бескорыстного, чистого, светлого, как это пламя.

Все трое молчали. Мария Ильинична теребила скатерть и сжала губы, чтобы не расплакаться, Владимир Ильич побледнел и все глядел на руки матери с синеватыми прожилками под пергаментной кожей, на пальцы, чуть вздрагивающие на белой скатерти...

Глава 10

«ДОСУГ И ПОЛЬЗА»

Настя шла по Дроттнинггатан — улице Королевы, шла быстро, чтобы прийти первой. Яркие огни витрин, свет уличных фонарей искрились в русых завитках волос, прикрытых маленькой старой шляпкой. Простенький жакет с пышными рукавами облегал тоненькую фигуру девушки. Она скользила между прохожими, не задерживаясь у витрин и красочных реклам, занятая своими мыслями. Настя не успела после работы заехать домой переодеться и несла с табачной фабрики на волосах, одежде пряный запах сигар.

Шведы парами, целыми семьями чинно прогуливались, останавливались у витрин, вполголоса обсуждая выставленные в модных лавках парижские новинки.

По мостовой плавно катили экипажи с нарядными чопорными матронами и кавалерами. Иногда фаэтоны осторожно обгонял неуклюжий автомобиль, и шофер поигрывал на рожке веселую песенку, предостерегая извозчиков и пешеходов.

Массивный, как шкаф, полисмен время от времени вскидывал резиновую дубинку и, подхватив под руку престарелую шведку, не спеша переводил ее на другую сторону



улицы. Извозчики натягивали вожжи, и лошади, уткнувшись мордой в грудь, покорно выжидали. На углу из-под крышки белого ларя, в котором томились сосиски, вырывался вкусный горячий пар.

По лицу девушки скользнула улыбка. Она вспомнила, как однажды отсиживалась в ларе, не таком, а в большом деревянном рундуке для дров, и чуть не замерзла. Настя глянула на горку золотистых булочек на стойке, на миску, полную сладкой горчицы, проглотила слюну, и каблучки ее высоких ботинок застучали по каменным плитам тротуара.

Настя спешила. Шведам спешить было некуда. И девушке вдруг стало жалко их, сытых, спокойных, благополучных. Она поняла, что богаче их, счастливее, что у нее великая цель в жизни, хотя она сейчас и вдали от родины, и за целый день она съела крохотную тминную булочку и выпила только чашку кофейного суррогата.

У дверей Народного дома, с трудом подбирая шведские слова, она спросила у швейцара, где собираются члены общества «Досуг и польза». Швейцар назвал номер комнаты. Настя протянула пригласительный билет, прошла в дом, поднялась на второй этаж.

В небольшой комнате было уже шумно. Все пришли заранее, боясь опоздать, пришли прямо с работы, но настроены были по-праздничному, взволнованные предстоящей встречей. Запах табака смешался с запахом типографской краски, машинного масла, олифы, рыбы.

В субботний вечер в шведском Народном доме собрались русские социал-демократы, зарегистрированные в шведской полиции как общество «Досуг и польза».

Люди перекидывались шутками, расспрашивали друг друга о работе, о здоровье, но делали это так, между прочим, чтобы скоротать время до начала собрания. Сегодня всех их занимали другие мысли.

В комнату вошел Яков Семенович и с ним две женщины. Одна пожилая, невысокая, по-юношески стройная, с тонким,

прекрасного рисунка лицом, вторая молодая, черноволосая, с широко расставленными искрометными карими глазами.

— Прошу любить и жаловать,— обратился к присутствующим Яков Семенович,— мать Владимира Ильича Мария Александровна, сестра Мария Ильинична, член социал-демократической партии.

Настя протиснулась вперед и широко открытыми глазами всматривалась в лицо Марии Александровны.

В комнате стало тихо. У всех остались матери там, в России, и она — мать Ленина — пришла сюда, как посланец их матерей, и от нее пахнуло детством, материнской лаской.

Мария Александровна и Мария Ильинична сели на предложенные стулья. Настя проворно подвинула свой стул поближе к стулу Марии Александровны и сразу почувствовала себя маленькой дочкой.

Мария Александровна обвела глазами почему-то вдруг взгрустнувших людей и сердцем поняла их.

Высокий худой юноша с крутыми завитками черных волос, встретившись взглядом с ней, опустил глаза и стал хлопотать возле волшебного фонаря, установленного на столе.

— Надо оправдать название нашего общества,— обратился он к товарищам.— Будем развлекаться туманными картинами. До начала собрания добрых четверть часа.

Он прикрепил большой лист бумаги к стене и распорядился:

— Кто там поближе, погасите свет, начинаем представление.

Стало темно... В памяти Марии Александровны возникли своды мрачного зала судебного заседания, куда двадцать три года назад она пришла, чтобы выслушать последнее слово своего Саши. Заседание суда происходило при закрытых дверях, присутствовали только чиновники. Сколько холодной ненависти прочитала она в их глазах — она была матерью государственного преступника, посягнувшего

на жизнь царя. Полутемный зал для матери осветила тогда улыбка ее сына.

И вот сегодня, спустя почти четверть века, не устояла она против желания послушать своего другого сына — Владимира. Кто знает, может быть, и не придется его больше услышать! Семьдесят пять лет все чаще напоминают о себе...

Здесь встретили ее хорошо, тепло, и столько улыбок засветилось в этой комнате, и вот девушка рядом, наверно, стосковалась по своей матери, что так прильнула к ней, и от ее волос пахнет табаком, как от волос Мани, когда она возвращается с рабочей окраины.

На белом листе трепетало светлое пятно от фонаря, затем появился квадрат и вырисовалась Адмиралтейская игла.

Вот Невский проспект, гуляющая публика, вздыбленные кони на Аничковом мосту, вывески: «Торговый дом», «Промышленный банк».

— Питер! — вздохнул кто-то.

Питер... Россия...

Настя, как и каждый из сидящих в этой комнате, оставила Россию по велению партии. На родине ей угрожала в лучшем случае бессрочная каторга «за преступные деяния, направленные к лишению государя императора власти, к ниспровержению монархии в России, к установлению демократической республики».

Но на чужой земле не чувство безопасности и свободы охватило ее, а щемящая тоска по России. Живя дома, Настя никогда не задумывалась над тем — любит ли она свою родину. А вот здесь, в безмятежном, тихом Стокгольме, она поняла, что любит сильно и нежно свою униженную и несчастную родину, и, может быть, впервые ощутила полноту своей личной ответственности за ее счастье, за ее благополучие.

— Жаль, что нет такого телескопа, чтобы посмотреть, что делается у наших на Путиловском, как они там? — раздался голос из темного угла.

— Глазком бы взглянуть на глуховцев.— В звенящем женском голосе слышались слезы.

Вид на Неву с царской яхтой «Штандарт» сменил уголок Летнего сада. Летний сад!..

Мария Александровна шла тогда мимо этого сада, еще прозрачного, но уже обрызганного яркой зеленью едва распустившихся почек, шла и заставляла себя думать о том, что в такие весенние дни смерть не в силах состязаться с жизнью, должна отступить, и надежда, как весенний ветер, остудила горячую боль сердца, и ослаб груз горя, и приговор о смертной казни казался нелепым и неправдоподобным. «Приговором хотят запугать, казнить не посмеют, не могут».

Мария Александровна старалась заглушить страх в сердце, чтобы оно подсказало хороший исход, укрепило надежду.

Вошла во двор Петропавловской крепости. Посыпанные ярким желтым песком дорожки, нарциссы во всей своей первозданной белизне, синие чашечки крокусов, изумрудная зелень травы радовали глаз.

«Как красиво здесь,— с чувством благодарности подумала она.— Как успокаивают, наверно, узников даже короткие прогулки».

А потом взглянула на это глазами Саши и обмерла, ужаснулась жестокости. Ведь сделано все это не из человеколюбия, а со злым умыслом. Показать, как хороша жизнь на воле, что можно бесконечно наслаждаться цветами, солнцем, воздухом, если отступишься от своих убеждений, если смиришься со злом на земле; показать в контрасте жизнь на воле и сырой каменный мешок в крепости. И Мария Александровна перестала видеть краски.

Через двойной ряд железных решеток на нее смотрели прекрасные горячие глаза сына; белым высоким лбом он прижимался к ржавому переплету, чтобы быть ближе к матери. Побелевшими пальцами судорожно вцепился в решетку.

— Мужайся, Саша! Ты должен жить. Борись за жизнь. Человек все может, пока он жив.

— Бороться за то, чтобы влачить существование в этом каменном мешке? — горько усмехнулся Саша.

— Из каменного мешка можно вызволить, из могилы — никогда,— с отчаянием убеждала она сына.

«Мужайся!» — сказала она себе — и снова хождения по высоким судебным инстанциям, в департамент полиции, оскорбительные предложения охранки, бесстыдная спекуляция на чувствах матери.

«Мужайся!» — повторяла она и просила, требовала и разжигала в сердце своем искру надежды и не давала ей угаснуть, и она, эта искра, помогала ей бороться.

8 мая Мария Александровна ехала в конке, держала на коленях аккуратный узелок с бельем для Анны, ехала к ней на свидание в тюрьму.

Сидела и придумывала милые семейные мелочи, о которых расскажет Анне, чтобы она не чувствовала себя одинокой, расскажет, как мужественно держится Саша и что есть надежда, безусловно есть, даже не надежда, а полная уверенность, что Саша будет жить и что все со временем уладится.

И Мария Александровна сама верила в такой исход.

В конку вошли студенты, они были возбуждены, перекидывались какими-то междометиями, смысл которых был понятен только им.

Рядом с Марией Александровной сел юноша, сунул в карман шинели сложенный листок бумаги, поставил локти на колени и закрыл лицо руками.

Мария Александровна видела, как на сукне шинели, словно на промокашке, расплывались пятна. Студент плакал. «И у него тоже горе,— подумала она.— Не надо плакать, юноша, у молодости впереди много радости»,— хотелось сказать Марии Александровне.

Конка остановилась.

Послышался веселый голос мальчишки, вскочившего на подножку:

— Правительственное сообщение! Государственные преступники казнены!

— Казнили! Каких людей казнили! — проскрежетал зубами студент.

Сердце матери метнулось.

«Сашу повесили!.. Сашу казнили!.. Нет, нет, не может быть!»

— Что это кричат мальчишки? — прошептала она и с мольбой посмотрела на студента, чтобы он не подтвердил страшной догадки.

Студент вынул из кармана листок и молча протянул его.

«Сегодня... в Шлиссельбургской крепости...— прыгали буквы и жгли сухим огнем глаза,— подвергнуты смертной казни государственные преступники Шевырев... Ульянов...»

— Ульянов...

Мария Александровна разгладила на коленях листок, свернула его вчетверо и отдала юноше.

— Совсем казнили? — спросила она.

Студент отнял руки от лица, посмотрел на женщину тяжелым недоумевающим взглядом, пожал плечами.

В конке стало душно.

Мария Александровна поднялась и пошла к выходу. Ей казалось, что ее горе может поранить других.

«Это ошибка,— подсказывал какой-то внутренний голос.— Иди бодрее... Аня ждет свиданья... Не попади под лошадь. Не сгибайся. Опусти вуаль на лицо, чтобы людей не поражала смертельная бледность. Иди спокойнее, задохнешься. Горе придет позже. Только слабых оно сбивает с ног, сильные несут его бремя долго, всю жизнь... Аня ждет в тюрьме... Какое счастье, что она в тюрьме, ограждена от мира, не узнает сразу. Ее можно подготовить... Вспомнила — Саша болел брюшным тифом, а она, мать, не была рядом

с ним, не знала. Сердце матери должно было подсказать, что болен сын, должна была поехать к нему... Нет, упреки потом... Сашенька, мальчик мой родной!.. Нет, нежных слов не нужно, они разорвут сердце...»

По улице шла пятидесятидвухлетняя женщина в траурной одежде. В трауре по мужу, который пора уже было снять. Шла легко и стремительно. Вошла во двор тюрьмы. Молча, коротким движением протягивала пропуск, и двери раскрывались без обычных казенных расспросов. Глаза у этой женщины темные, повелительные, и, не покажи она пропуска, кованые ворота распахнулись бы перед ней — матерью.

— Не говорите дочери о казни,— сказала она тюремной надзирательнице, и та послушно наклонила голову...

...Вернулась домой в Симбирск под утро. В саду за домом цвели вишни. Матери почудилось, что они цветут черным цветом.

Никого не замечая, по скрипучей лесенке поднялась наверх в комнату Саши, легла на его кровать, обхватила подушку руками, зарылась в нее лицом. «Смерть! Поскорее бы пришла смерть! Только она может вызволить, избавить от нечеловеческих страданий. Умереть сразу, немедленно, дальше жить нельзя... нет сил...»

Мягкая рука обвила ее шею, прохладная щека прижалась к ее щеке.

— Мамочка, ты заболела? Повернись ко мне.

Мать повернула голову и не видела дочери.

Маня заплакала.

— Мамочка, встань, мне страшно, пойдем завтракать, я хочу есть. Все ждут тебя.

Мария Александровна села на кровати, провела руками по волосам, словно сбрасывая с себя что-то тяжелое. Уже зрячими глазами посмотрела на дочь. Маня стояла перед ней в смятом платье, бант едва держался на кончике черной косы.

«Как я смéла? Как я смела думать о смерти, забыть о детях, забыть о маленькой дочке? Как я могла не подумать о живых?»

Мать поцеловала Маню в щеку, вытерла ее слезы и сказала так, как говорила обычно:

— Зови детей к столу...

Яркий свет брызнул в глаза, нарушил тишину, вернул Марию Александровну к действительности.

— Ильич! Ленин! Владимир Ильич!

Разом сдвинулись с места стулья, большевики окружили Владимира Ильича.

Крепкие рукопожатия, улыбки, радостные возгласы и жадные внимательные взгляды, какими обычно встречают доброго, близкого друга.

Владимир Ильич поздоровался с товарищами, подошел к столу и раскрыл папку.

— Я надеюсь, мы проведем досуг с пользой,— заметил он и поискал глазами мать. Улыбнулся ей, дружески кивнул сестре.

Петропавловская крепость слабой тенью мерцала на стене. Юноша спохватился, выключил фонарь, и тень крепости исчезла.

Председатель для порядка постучал карандашом по столу. Коричневые ногти на руках выдавали профессию кожевника.

— Слово для реферата о положении дел в партии имеет Владимир Ильич Ульянов-Ленин,— объявил он.

И Владимир Ильич сразу приступил к докладу.

О тяжелом кризисе рабочего движения и социал-демократической партии говорил он. Многие организации разбиты, интеллигенция бежит из партии, уныние и апатия проникли в среду пролетариата.

Мария Александровна не ощутила пессимистических

ноток в голосе Владимира Ильича. Ее внимание привлекло слово «кризис». Обычно этим словом врачи характеризуют перелом болезни.

— Кризис продолжается, но конец его близок.— Владимир Ильич вышел из-за стола. Он говорил полным голосом, подчеркивая каждую мысль жестом руки.

Все, подавшись вперед, словно стараясь быть ближе к оратору, внимательно слушали. Нет, не просто слушали — вместе с ним думали, определяли свое место в нелегком партийном деле.

Сидевший неподалеку от Марии Александровны юноша в начале доклада готовился что-то записывать в блокнот, но так и застыл с карандашом в руке. Мария Александровна поняла, что записать кратко содержание реферата было трудно. В каждой фразе — большая мысль. Точный и строгий анализ положения и горячая вера в силы рабочего класса, в его революционную партию — вот ощущение от всех высказанных мыслей.

Голос Владимира Ильича становился громче, словно пламенел.

«Как громко говорит он, вредно ему так волноваться»,— подумала Мария Александровна, глядя, как на виске сына бьется набухшая синяя жилка.

— Только упорная революционная борьба пролетариата, только совместная борьба миллионов могут подорвать и уничтожить царскую власть.

В ушах матери прозвучали слова Саши на суде: «Я убежден в необходимости террора...» И она вспомнила его горячие слова о том, что в русском народе всегда найдется десяток людей, преданных своим идеалам, сочувствующих несчастью своей родины настолько, что для них не является жертвой умереть за свое дело. А вот другой ее сын убежден и убеждает, что это дело рук миллионов. «Только совместная борьба миллионов»,— повторила про себя мать.



Как много изменилось за четверть века. Саша тоже шел к великой цели, но шел еще ощупью, многое тогда ему не было видно. Володя идет широким шагом, уверенно, словно в руках у него яркий фонарь, который далеко светит.

Мария Ильинична уже давно поглядывала на мать, она догадывалась, какие мысли ее тревожили.

Владимир Ильич кончил доклад, закрыл папку, так ни разу и не заглянув в нее.

Все поднялись и вполголоса запели, и Мария Александровна по-новому вдумывалась в слова песни:

Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и не герой...

Владимир Ильич подошел к матери:

— Ты не устала? Я понятно говорил?

Мария Александровна молча кивнула головой, не в силах ответить.

Владимира Ильича окружили. Он увидел Настю и протянул ей руку.

— Вот где встретились. Мизинец у вас зажил? — спросил он.

Настя покраснела:

— Неужели вы помните, Владимир Ильич?

— Конечно, не забыл, и моченые яблоки помню.

Четыре года назад это было, в 1906 году. Насте дали первое партийное поручение — поехать в Финляндию, в Куоккала, и получить для большевистской газеты статью Владимира Ильича.

Очень гордилась девушка этим поручением, чувствовала себя совсем взрослой и хотела выполнить его как можно лучше, но перестаралась. В каждом прохожем ей чудился шпик, враг.

С большими предосторожностями пришла на дачу. Дверь в квартиру оказалась на замке.

Настя топталась в сенях и повторяла про себя пароль: «Не нужно ли вам моченых яблок?» А тут, как на грех, появился подозрительный человек. Вот он приблизился к дому. Настя с перепугу забралась в большой рундук. Незнакомец вошел в сени и уселся на нем. Вытащили Настю из рундука полузамерзшей. Она и сейчас без стыда не могла вспомнить, что партийного курьера приняла за шпика, и какой у нее был жалкий вид, когда Владимир Ильич вместе с Надеждой Константиновной оттирали и отогревали ее, и как она потом бессовестно заснула у них на диване.

— Сколько вам лет теперь? — спросил, улыбаясь, Владимир Ильич.

— Двадцатый пошел,— ответила вконец смущенная Настя.

— А четыре года назад, помнится, вам шел восемнадцатый.

— Повзрослей хотелось быть, Владимир Ильич. Но и вы меня тогда обманули, сказали, что не успели дописать статью. Я только позже сообразила, что это была хитрость, чтобы я чаю напилась, отогрелась, выспалась. А тогда я поверила...

— Неужели обманул? — удивился Владимир Ильич.— Вот этого я не помню, Анастасия...

— Васильевна,— подсказала Настя.

— Анастасия Васильевна?— переспросила Мария Александровна, слушавшая этот разговор.

— Да, но зовите меня просто Настей. Можно? Просто Настей.

Владимира Ильича обступили со всех сторон, и он углубился в разговор с другими товарищами.

— Я вам привет привезла из Питера,— вполголоса сказала Мария Александровна,— от Романа Игнатьевича, видела его перед отъездом.

Настя вспыхнула.

— Он просил передать вам, что дела у него идут хорошо. Он много работает и... ждет вас.

Настя прильнула к Марии Александровне.

...Пароход русско-финляндской компании «Буре» уходил в Россию рано утром.

Тучи свинцовыми плитами нависли над заливом. Чайки, словно посиневшие от холода, летали низко над водой, чиркая по зыби крылом.

На пристани кончилась погрузочная суматоха. Пассажиры выстроились в ряд на палубе и переговаривались с провожающими, а Владимир Ильич никак не мог отпустить от себя мать.

— Береги себя, родная, ты нам очень нужна,— шептал он.

Мария Ильинична, не сдерживая слез, дергала потихоньку брата за рукав:

— Володечка, пора, милый, мы опоздаем.

Она крепко обняла его, взяла мать под руку, и они стали подниматься по сходням. Мария Александровна шла бодро, знала, что за каждым ее движением наблюдает сын. Она остановилась на крутой горке сходен, висящих над водой, и обернулась.

Владимир Ильич устремился к матери. Ступил на сходню и понял, что дальше идти не имеет права.

Мария Александровна была уже на палубе.

«Я больше никогда не увижу ее,— обожгла мысль,— никогда. Я навсегда расстаюсь с ней. Еще бы раз почувствовать прикосновение ее рук... Меня отделяет от России этот трап»,— вздохнул Владимир Ильич.

Нет, нельзя ему на палубу. Пароход — это уже территория России, на которой действуют все ее жестокие законы, вступают в силу все распоряжения и циркуляры об аресте и привлечении к судебной ответственности Владимира Ильича Ульянова-Ленина. На пристани он не подвластен русской жандармерии, здесь он на шведской территории.

Сходни убрали. Пароход отвалил.

Владимир Ильич смотрел на мать, махавшую ему платком.

Пароход развернулся, дал прощальный гудок и стал удаляться. Чайки летели за ним следом, а Владимир Ильич видел только руку матери, трепетавшую, как крыло птицы. Он стоял на пристани и не чувствовал ни дождя, ни пронзительного ветра — он был тепло одет, на нем было серое драповое пальто, подаренное матерью, и шерстяной шарф, связанный ее руками.

Глава 11

АПРЕЛЬ

Настя и Роман, взявшись за руки, чтобы не потерять друг друга в толпе, всю ночь провели на улице у дворца Кшесинской, слушали Ленина.

С балкона затейливого особняка в эту апрельскую ночь летели яркие, как молнии, слова, которым суждено было положить начало преобразованию нашей земли.

Ленин ушел из дворца, когда над Питером занялась утренняя заря. Люди видели его усталое и счастливое лицо, видели, как он помахал рукой товарищам, пробрался сквозь толпу, весело отвечая на приветствия, взял под руку Надежду Константиновну и пошел по улице, которую питерские рабочие с этой ночи прозвали улицей Красных зорь.

Все ушли из дворца, а толпа не редела. Промасленные рабочие куртки смешались с видавшими виды шинелями, красные платочки работниц, матросские бескозырки пестрели в толпе, как цветы. Слово «товарищ» произносилось в эту ночь как-то особенно веско, вдумчиво, со вкусом. «Товарищ, дай закурить». «Сделай одолжение, товарищ». «Ну как, что скажешь, товарищ?» — кивал человек на балкон, и начиналась задушевная, тихая беседа-думка. Табачок был общий, думы общие, цель единая.

Апрельский ветер с яростной радостью трепал над головами красное полотнище, на котором уверенной рукой было выведено:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ!

Долой войну... Жизнь... Мир... Вся власть Советам... Земля крестьянам...— вот что это означало.

— Вот ведь штука какая,— говорил старый рабочий солдату,— скажет человек правильное слово, и отзовется оно эхом в сердцах миллионов и становится волей миллионов. Разве есть сила, способная сокрушить такую волю?

Настя и Роман вышли к Неве. По светло-серому небу плыли кучевые облака с подсвеченными краями, по светло-серой глади реки плыли нагромождения льдин, похожие на отражение облаков.

— Ты счастлива, что снова в Питере? — спросил Роман свою подругу.

— Очень...

— Ты счастлив? — спросила Надежда Константиновна Владимира Ильича, когда они подходили к дому на Широкой улице.

— Очень.

Владимир Ильич нащупал партийный билет в нагрудном кармане, врученный ему на Финляндском вокзале большевиками Выборгской стороны.

Всего несколько часов назад ступили они на питерскую землю после десятилетней разлуки с ней. Революция морским прибоем встретила Ленина у самого Финляндского вокзала. Питерские пролетарии, рязанские, тамбовские и иные мужики в шинелях, моряки Балтийского флота встретили своего вождя, чтобы спросить у него, куда идти дальше и как идти. Царь свергнут, а проклятущая война продолжается. Земли у крестьян нет, свободы нет. Питер голодает...



— Из этой войны, затеянной империалистами в интересах империалистов, нельзя выйти без свержения власти капитала, без перехода государственной власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства. Только эта власть может дать народу мир, хлеб, свободу.

Так сказал Ленин.

Но эту истину надо отстоять, завоевать в жестокой борьбе с открытыми врагами и с прислужниками буржуазии — меньшевиками.

Эти мысли высказал Ленин с броневика у Финляндского вокзала, с балкона дворца Кшесинской, на совещании в самом дворце. Через несколько часов он поедет в Таврический дворец — там ждут его большевики. Нельзя упустить ни одного часа, ни одной минуты.

...Владимир Ильич вышел из Таврического дворца вместе с Надеждой Константиновной и Анной Ильиничной, вынул из жилетного кармашка часы.

— Через три часа я выступаю здесь снова на совместном собрании большевиков и меньшевиков. Будут не только одобрения, будут злобные выпады, будет тяжелая борьба... А сейчас поедем к маме,— предложил он жене и сестре.

Ехали на извозчике по Невскому проспекту. Владимир Ильич вглядывался в облик города. Те же вывески, те же магазины, но город уже не тот. Невский уже не проспект для прогулок праздных, его полонили солдаты, матросы, рабочие. Банки закрыты. За толстыми зеркальными стеклами притаился, выжидает, насторожился, ощетинился враг, одряхлевший за одну ночь.

У Николаевского вокзала Владимир Ильич попросил извозчика остановиться. Он увидел девочку с подснежниками. Купил у нее все цветы, аккуратно завернул в газету.

Свернули на Лиговку. По обеим сторонам — домá с заросшими за зиму грязью непроглядными окнами. Но много окон распахнуто навстречу солнцу, и женщины наводят на стекла блеск.

Обводный канал. Южные склоны очистились от снега, и под бурой прошлогодней травой угадывается молодая поросль.

Расстанная. Лиговский Народный дом. Здесь Владимир Ильич выступал первый раз на открытом митинге в 1906 году под фамилией рабочего Карпова. Питерские пролетарии с энтузиазмом проголосовали тогда за предложенную им резолюцию, утверждающую, что пролетариат — главная сила в революции, хозяин своей судьбы. Сегодня ночью он выступал в Питере второй раз на открытом митинге, но выступал уже как Ленин, и рабочие выказали несокрушимую волю взяться за решение своей судьбы, судьбы всего народа.

Мимо дровяных складов, конюшен, городской железной дороги, мимо сенных сараев, переваливаясь по грязным ухабам, подъехали к воротам кладбища.

Обогнули желтую каменную церковь, побуревшую от весенних дождей. Могилы покрыты чешуйчатым прокопченным снегом. Направо... снова налево... Вот знакомые березки — они были совсем крохотные, когда хоронили Олю. За ними липа. А вот и новая свежая могила возле Олиной. Простой деревянный крест. На нем белая дощечка с подписью: «Мария Александровна Ульянова. Род. 22 февраля 1835 года. Сконч. 12 июля 1916 года». Над крестом помахивает ветвями с серебряными сережками ива. На прелых пластах прошлогодней листвы примерзли хризантемы. Месяц назад, в день рождения Марии Александровны, здесь побывали Мария и Анна, освобожденная революцией из тюрьмы.

Владимир Ильич снял кепку, опустился на колено и обнял ладонями маленький холм... Мамочка!

Ива обронила серебряную сережку.

Звенели ручьи, сбегая с высокого берега в реку Волковку, позвякивали жестяные венки на крестах. Ветер перебирал лепестки подснежников, рассыпанных на могиле...

На обратном пути Владимир Ильич молчал.

На цементном заводе, на «Вестингаузе», в железнодорожных мастерских полоскались на ветру красные полотнища с начертанными словами: «Да здравствует социалистическая революция!» Ветер революции разносил этот призыв по всей России.

— Не дожила мамочка! Как порадовалась бы вместе с нами! — вздохнул Владимир Ильич.

В квартире на Широкой улице прошел в комнату матери, остановился перед ее креслом. Рядом на круглом столике портрет Марии Александровны. Она такая же, какой он видел ее в последний раз, шесть с половиной лет назад, в Стокгольме. Такие же ласковые, мудрые глаза.

— Сохранились ли письма мамочки? — спросил он сестру.

Анна Ильинична достала из сундука шкатулку и протянула брату.

Надежда Константиновна и Анна Ильинична вышли из комнаты, тихо прикрыли за собой дверь...

Вот они — письма матери. Матовые, льдистого цвета листки почтовой бумаги с водяными линейками исписаны изящным, тонким, неповторимым родным почерком.

Письма, написанные матерью детям в тюрьмы, покрыты ржавыми полосами и брызгами, словно исхлестаны. Это следы ядовитой кислоты, выявляющей тайнопись, химические чернила.

И видно, как злобствовала рука жандармского чиновника, тыча кистью в кружевную вязь слов, не веря, что спокойные, ласковые слова матери не содержат тайного смысла, не прикрывают невидимых чернил.

> *Нагулялись досыта, набрали по большому букету полевых цветов,*— писала Мария Александровна дочери Марии в тюрьму,—*хотелось бы мне очень отвезти свой тебе, но, к сожалению, там не берут цветов...*

И неведомо жандармской душе, что букет, собранный рукой матери, незримо присутствует на столе в тюремной камере, раздвигает ее стены, приносит свежий запах полей, укрепляет уверенность в правоте своего дела.

Проси, чтобы разрешили тебе вторую вечернюю прогулку. В последнее свидание я заметила сильную одутловатость на лице твоем,— советует Мария Александровна дочери.

...Ты делаешь хорошо, что пьешь молоко — непременно кипяченое, и обтираешься,— пишет она в ссылку,— *только при этом надо быть осторожнее, чтобы не простудиться, не сидеть после этого под открытой форточкой. Ты жалеешь, что не удалось покончить занятия с учениками, да, я слышала, что многие из них тоже жалеют об этом...*

Крепко обнимаю и целую тебя, дорогая моя Маруся, будь здорова, родная моя, как желает горячо твоя мама М. Ульянова.

Как идут твои занятия по языкам, нравится ли тебе английский роман? За вязаньем не сиди слишком много. Хорошо маршировать по камере. Как велика она, сколько шагов? — спрашивает мать.

О, она хорошо знала, что такое тюремное малокровие, сколько шагов надо сделать в день по камере, чтобы не стали дряблыми мышцы, не ослабла воля.

И ни одной жалобы в письмах, никакого подобия паники, ни одного слова про свои горести, переживания, про бессонные ночи...

Каждая весточка от Владимира Ильича и Надежды Константиновны немедленно сообщается другим детям:

Вчера, вернувшись домой, застала письмо от Нади... Перебираются с 1-го сентября на новую квартиру... Будет приходить к ним на все утро Агаша... очень хорошая женщина, все умеет и все их интересы к сердцу принимает.

— «И все их интересы к сердцу принимает»...— повторяет Владимир Ильич.— Дорогая ты наша мамочка!

Вчера получила открытку от Володи из Вены, куда поехал с Надей советоваться относительно болезни ее. Из Вены поедут в Берн. Жаль, что не пишет ничего... о том, что находят врачи.

Забыла сказать тебе, что Володя работает над новой книгой, хотелось бы издать ее, просит Аню поговорить с издателями об условиях и пр. ...

«Не дожила... не дожила...» — думает Владимир Ильич, перебирая письма.

Надежда Константиновна приоткрыла дверь:

— Володя, тебе пора ехать.

Владимир Ильич взглянул на портрет матери, на ее добрую улыбку, мудрые глаза.

«В добрый час!» — говорили эти глаза.

1962—1963

УТРО

Повесть



1. НА НОВЫЕ ПОЗИЦИИ

Над почерневшими ажурными кронами берез таяли и гасли последние отсветы вечерней зари. С низины тяжелой пеленой поднимался туман, острый запах сена смешался с гнилостными испарениями болота, вместе с сумерками холодная сырость заползала и в шалаш.

Саша поежился, отодрал руками слежавшийся пласт сена и, как одеялом, прикрыл им босые ноги. Владимир Ильич сидел рядом на корточках, разбирал бумаги, просматривал их, складывал в стопку. Отсыревшие тетради плохо листались, и это замедляло работу. Наконец Владимир Ильич подровнял стопку ладонями и стал заворачивать ее в газету.

— Вы забыли тетрадь,—сказал Саша, показывая на толстую тетрадь в синей обложке, лежавшую поодаль на сене.

— Нет, я не забыл. Я ее возьму с собой. А где вы спрячете все это? — спросил Владимир Ильич, перевязывая шпагатом сверток.

— Под полом в кухне,— быстро ответил Саша. Видимо, он уже обдумал это и заранее посоветовался с отцом.

— Нет, не годится. В случае обыска обнаружат, и всем вам придется отвечать. Лучше спрятать вне дома, чтобы можно было сказать — мало ли кто из дачников туда засунул. Спрятать надо похитрее.

Владимир Ильич внимательно смотрел на юношу.

Саша вскочил на ноги. Худой и тонкий в кости, он казался моложе своих семнадцати лет. Только в серых глазах уже обозначилась мужская твердость, да пальцы, которыми он теребил сейчас вихор на лбу, выдавали в нем человека труда — он уже три года работал токарем на Сестрорецком оружейном заводе.

Владимир Ильич ждал. Саша напряженно думал.

— Я спрячу в хлеву, на верхней балясине,— сказал он наконец.— Коровы у нас нет, там только сенная труха, дрова, лопаты и всякое старье.

— Очень хорошо! И... помните рассказ, как беглец прятался от полицейских? Он забежал в лесную заброшенную сторожку, дверь на ней была сорвана, а дверной проем паук заплел паутиной. Беглец ползком пробрался внутрь. Вскоре подошли полицейские и даже не заглянули в сторожку: если бы человек вздумал спрятаться там, он, входя, сорвал бы паутину.

Саша улыбнулся:

— Понятно. Паутины в хлеву хватает, и я положу так, словно это место годами не трогали.

Он расстегнул косоворотку, втянул живот, заправил пакет за пояс.

Владимир Ильич протянул ему руку:

— До свиданья, Саша. Спасибо! Передай привет маме, поблагодари ее от меня.

Саша ощутил крепкое пожатие руки. Сам он еще не научился пожимать руку, не умел безмолвно передать этим жестом свои чувства, а сказать не решался. Он буркнул смущенно «до свиданья», вытащил из-под стога весла, закинул их на плечо и пошел к озеру, оставляя за собой след на росистой траве.

Ему стало вдруг грустно. Владимир Ильич покидал шалаш, и из жизни Саши уходило что-то значительное, та торжественная взволнованность, которая не покидала его весь этот месяц. Рано утром он просыпался с мыслью, что надо раздобыть газеты. Одни газеты он покупал на станции Разлив, за другими ездил на соседние станции и, засунув их под рубашку за пояс, что есть силы бежал, одному ему ведомыми тропинками, на покос. Он представлял себе, как Владимир Ильич жадно протянет руки, схватит пачку газет, развернет веером, быстро пролистает и обязательно скажет: «Вот молодец, все газеты достал. Спасибо!»

Владимир Ильич распахивал газету и, держа ее перед собой на весу обеими руками, словно зарывался в нее — видна была только гладкая крутая лысина. Отброшенная в сторону газета казалась опустошенной. Он энергично отмахивал страницу за страницей, и вот уж ветер шевелил пустые газеты, а Владимир Ильич тотчас садился на пенек, раскрывал тетрадь и, застыв на мгновение, начинал писать.

Пока Владимир Ильич жил в шалаше, в жизни Саши все было необычно, голова непрестанно работала. После обеда он, позевывая, медленно спускался с крыльца, чтобы соседи-дачники видели, что он вовсе никуда не торопится и сам не знает, куда бы ему пойти, чем бы заняться. А потом, поиграв с братишкой Колькой в пятнашки, чтобы тем временем посмотреть, не появилось ли возле дома подозрительного человека, спускался к протоке, отвязывал лодку и греб на другую сторону озера, к шалашу.

Саше всегда казалось, что стог, возле которого стоял шалаш, какой-то особенный, его нельзя спутать с другими: те были серые, скучные, нежилые, а в этом шла большая, тревожная и напряженная жизнь. И вот теперь этот стог вдруг станет таким же обычным, скучным, словно погаснет. Сюда можно будет запросто прийти с ребятами, переночевать, утром порыбачить, и никому в голову не придет, какую тайну хранит этот шалаш. И поляна стала неуютной, незначительной, и болотный запах особенно удушливый, и только камыши на озере шурша покачиваются на ветру...

Владимир Ильич, стоя внутри шалаша, проводил взглядом юношу, пока тот не скрылся в зарослях кустарника. Натянул на голову парик. Шершавое, пропитанное клеем полотно неприятно царапнуло кожу. Взял осколок зеркала с берестяной полочки и, подойдя ближе к выходу, внимательно посмотрел на свое отражение. Остался доволен: бритый подбородок, парик, скрывающий высокий лоб и лысину, неузнаваемо изменили лицо. Выцветшая синяя косоворотка, широковатый пиджак, поношенные брюки и грубые башмаки делали его похожим на заправского питерского рабочего. Спину можно чуть ссутулить, изменить стремительность походки. Ступать надо не с носка, а с пятки — и походка сразу станет тяжеловатой, вразвалку. Итак, не забыть ступать на пятки. Но вот руки? Владимир Ильич повертел перед лицом кистями рук. Как их изменить? Не наденешь же на них перчатки — рабочие перчаток не носят. А впрочем, на руки никто не обратит внимания, даже самые искусные шпики. В жандармских документах перечисляются все приметы человека, описывается цвет глаз, форма головы, родинки на лице, а вот на руки жандармы внимания не обращают.

Человеческие руки! Они никогда ничего не могут утаить. Они не могут скрыть профессии человека, его происхождения. Искривленный указательный палец наборщика, разбитые вширь кисти молотобойца, нервные пальцы музыканта,

истонченная кисть аристократа, узловатые и неспособные выпрямиться пальцы земледельца остаются на всю жизнь.

Человек учится владеть мимикой, выражением глаз, походкой, чтобы скрыть свои подлинные мысли, переживания, чтобы выглядеть таким, каким он хочет представиться людям. Но не может человек изменить своих рук, а они умеют говорить красноречивее всяких слов, с той лишь разницей, что не способны говорить неправды.

У Владимира Ильича руки были широкие в ладони, с небольшими сильными и гибкими пальцами. Энергичным взмахом рук он помогал стремительной походке, пожатие было крепким и добрым. Когда Владимир Ильич выступал на трибуне, он скупым и решительным жестом подчеркивал главную свою мысль или взмахом руки сверху вниз словно вспарывал хитро замаскированный замысел противника. Свои убеждения, свою веру он преподносил рабочей аудитории щедро, в открытую, никогда не лукавя и не таясь. Эти руки никогда не лежали праздно на коленях. Никогда не были вялыми, нерешительными, робкими. «У тебя легкая рука, Володюшка,— говорила ему мать в детстве,— посади-ка это деревце, обязательно приживется». «Ну что за человек! — отзывались о нем рабочие.— Кажется, ввек не разберешься во всяких политических хитросплетениях, а он правду-матку как на раскрытой ладони преподносит». «Это только Ильичу с руки»,— говорили его друзья-соратники, бившиеся над решением сложного вопроса.

И совсем несвойственно было Ильичу, выступая на массовых митингах, картинно выбрасывать руку вперед. Движения его рук всегда были к себе, к сердцу.

...Под рябиной, возле потухшего костра, сидели Шотман, Рахья и Емельянов. Они курили.

Владимир Ильич выглянул из шалаша, знаком руки подозвал к себе Шотмана, увлек за собой внутрь.

— Вот, Александр Васильевич, тетрадь с моими заметками к новой работе о государстве и революции. Архинужная

и архиважная работа. Вы ее держите при себе, пока я не устроюсь на новое местожительство. Ну, а если напоремся на засаду — делайте вид, что мы с вами незнакомы, и ни в какие истории не вступайте. Ваша задача — сохранить тетрадь. Если же меня укокошат...

Шотман протестующе поднял руку.

— Да, да, все может случиться. Тогда передайте эту тетрадь в Центральный Комитет. Во что бы то ни стало сохраните тетрадь, в ней много важных записей. Все другие бумаги я передал Саше, он их спрячет в хлеву. За ними пришлют из Цека товарища... У вас никаких компрометирующих бумаг при себе нет? Оружия нет?

— Нет,— ответил Шотман.

— Еще раз проверьте карманы,— посоветовал Владимир Ильич.— А что вы будете делать, если попадете с тетрадью в руки юнкеров?

Шотман задумался. Да, попасть в руки юнкеров — дело нешуточное. Дворянские сынки, воспитанники юнкерских военных училищ стали надежной опорой контрреволюционного Временного правительства в заговоре против рабочих организаций, против партии большевиков. Юнкера выполняли обязанности сыщиков, полицейских, погромщиков. Они присягали на Евангелии, клялись «офицерской честью» разыскать и физически уничтожить Ленина...

— Я скажу, что здесь записаны последние сентенции Плеханова, они и смотреть не станут и вежливенько вернут мне,— усмехнулся Шотман, выворачивая тем временем карманы и вытряхивая из них крошки табака.

На лицо Владимира Ильича набежала тень. Больно и горько было слышать такие слова. Георгий Валентинович — уважаемый в прошлом пионер марксизма в России стал приемлемым для юнкеров, почитаем гучковыми и милюковыми — и это в такой момент!

— Скажите лучше, что это запись лекций одного профессора,— произнес Владимир Ильич хмуро.

Он еще раз переворошил сено в шалаше, проверил — не осталось ли каких записок. Отстегнул английскую булавку на внутреннем нагрудном кармане и вынул пропуск, разрешающий владельцу его, рабочему Сестрорецкого оружейного завода Иванову Константину Петровичу, вход на завод. На документе ярко выделялась печать Сестрорецкой милиционной комиссии, злополучная печать, из-за которой было потеряно два дня.

— Что ж, тронемся? — спросил Владимир Ильич подошедшего Емельянова.

— Еще малость обождем, пока совсем стемнеет,—сказал тот и подавил вздох.

За месяц совместной жизни в шалаше всем сердцем привязался Николай Александрович к Ильичу. Когда к нему, большевику Емельянову, пришел посланец партии и сообщил, что Временное правительство готовит расправу над вождем рабочего класса, Николай Александрович без колебаний согласился укрыть Ленина. Он понимал, что Владимиру Ильичу необходимо притаиться и умолкнуть до подходящего момента. И в первые же дни убедился, что ошибся. Ильич и не помышлял уходить с революционного поля боя, он выбрал только другую, более удобную позицию.

В погожие дни, сидя на пеньке, в дождливые — лежа на сене в шалаше поближе к входу, чтобы было светлее, Владимир Ильич исписывал листок за листком, бил по врагу без промаха, организовывал силы пролетариата.

А выйдет с зарей на озеро — похож на обычного крестьянина; сядет за ужин у костра, так же придерживает ломоть хлеба под ложкой, и спит, как все, подложив ладонь под щеку.

Николай Александрович часто, притаясь, наблюдал, как Владимир Ильич работает.

Вот он сидит, согнувшись, на пеньке, подбородок почти касается правого колена, левая нога неловко подвернута — пенек невысок. И письменным столом служит ему сосновый

чурбан, почерневший от дождей и времени, с толстыми наростами коры по бокам и окаменевшими коричневыми подтеками смолы.

На чурбане картонная папка, а на ней бумага, желтоватая и шершавая, поблескивавшая, как питерский хлеб, крошками соломы. Рядом школьная чернильница-непроливашка младшего сына Емельянова, Коли, и его же ученическая деревянная ручка. Но сейчас все это в руках Владимира Ильича, и он, только он, может превратить копеечный лист бумаги в самое сильное и никогда не стареющее оружие. Лягут на листок ровные строчки ленинских мыслей, и теперь этому листку жить века, в нем неистощимый заряд энергии для миллионов людей. Доставит Николай Александрович этот листок в Питер, напечатают его в газетах, и завтра же мысли Ленина станут достоянием тысяч пролетариев, крестьян.

И вот Ильич уходит...

Опасно стало здесь, пора сенокоса кончилась, и наступили холодные, сырые августовские ночи. Нужна другая, более надежная позиция.

Центральный Комитет партии большевиков решил, что Ленин должен переехать в Финляндию. Финляндия хотя и входит в состав России, но у нее свои законы, свои порядки, и Временное правительство вынуждено уважать ее границы. Пока Владимир Ильич поселится на Карельском перешейке в деревне Ялкала, а потом надо будет перебираться в большой город — Выборг или Гельсингфорс, где легче укрыться, откуда удобнее наладить связь с Питером.

Старому большевику-рабочему Шотману было поручено найти надежную квартиру в Гельсингфорсе. Эйно Рахье доверено охранять жизнь Ленина, а Николай Александрович Емельянов должен проводить Владимира Ильича от шалаша через лес до железнодорожной станции. Николай Александрович даже посетовал, что ему выпало такое немудрящее дело. Дорогу до станции он найдет с закрытыми глазами. Сколько лет прожил в этих местах!

— Ну, в путь! — сказал наконец Емельянов, взглянув в сторону озера, над которым повисли темные, непроницаемые облака.

— Я готов! — Рахья внушительно похлопал себя по карманам — в каждом было по заряженному револьверу.

Емельянов пошел впереди. Владимир Ильич, надвинув кепку на лоб и пригладив вихры парика, двинулся за ним.

Рахья и Шотман заспорили, кому идти следом.

— Ты близорукий и можешь по дороге отстать,— сказал решительно Рахья.— Я пойду замыкающим. Мне поручена охрана Ильича.

Шотман пожал плечами:

— Глаза нужны днем, а ночью уши. Отличный слух заменит мне зрение.

— В нашем походе главное — оружие,— отрезал упрямый Рахья.

2. ЗВЕЗДЫ СКРЫЛИСЬ

Шли гуськом. У озера свернули направо.

Владимир Ильич отвел от лица тяжелую ветку рябины, отщипнул несколько гроздьев прохладных, влажных ягод, казавшихся в темноте черными, и сунул их в карман.

Глухую от густого тумана тишину изредка нарушал всплеск крупной рыбы в озере. Лес молчал. Пернатые обитатели уже угомонились.

Так прошли вдоль берега версты три. Дорога круто свернула в глубь леса, постепенно суживаясь, превращаясь в едва заметную тропинку. Стало совсем темно. Ольховые заросли смыкались над головой, шершавые листья терлись о щеки. Зачавкала под ногами раскисшая от дождей земля.

Налетал ветер, распахивал кроны деревьев, и тогда в лужах отражалось бледное небо с выцветшими звездами, сос-

ны опрокидывали свои лохматые вершины в воду, высоко взмывали в небо стволы, и лужи казались бездонными озерами.

Но вот сосны внезапно отступили назад, словно не решаясь идти дальше, сквозь низкорослый кустарник блеснул темный глянец воды — путь преградила речка.

— Это река Черная,— шепнул Емельянов,—здесь совсем мелко, лошади с гружеными возами вброд переходят.

Глубокая колея исчезала в реке.

— А куда ведет эта дорога?— спросил Владимир Ильич.

— К майдану, к угольной яме. Там обжигают древесный уголь для кузницы Сестрорецкого завода.

Емельянов сбросил одежду, раздвинул шуршащую осоку, вступил в черную, как чернила, воду и вдруг, зашлепав по воде руками, провалился по самую шею.

— Уфф... Вода от дождей поднялась,— сказал он виноватым голосом, выходя на берег.— Придется обойти речку— это верст пять.

— Нет, нет, дорога́ каждая минута,— возразил Владимир Ильич.— Мы и так потеряли со сборами два дня.

Подняв на руках одежду, путники вступили в обжигающую холодом воду. Под ногами вязкое дно. Рахья шел с особой осторожкой —он пуще всего боялся упустить свою тяжелую от револьверов одежду. И Шотман крепко держал свой пиджак — в боковом кармане лежала сложенная вдвое тетрадь Ильича.

— Теперь нам на запад,— сказал Емельянов.

— У вас есть компас? — осведомился Владимир Ильич.

— Нет, зачем он мне, я здесь каждый пень знаю,— с уверенностью ответил Николай Александрович.—С детства этот лес вдоль и поперек исходил.

— И все же компас не помешал бы,— заметил Владимир Ильич, взглянул на небо, отыскал Большую Медведицу, Полярную звезду, определил направление и, как бы про себя, сказал: — Что бы мы делали без звезд?

— Не беспокойтесь, Владимир Ильич, авось дойдем.

— «Авось»,— с нажимом повторил Владимир Ильич.

Ах уж это русское «авось» — упование на судьбу, на счастливый случай! Но Владимир Ильич смолчал, чтобы поговорить обо всем этом в более подходящий момент.

Емельянов всматривался в темноту. Ночь погасила краски, изменила силуэты деревьев, кустов. Нет, заблудиться он не мог. Вот минуют заросли кустарника, и откроется круглая поляна, и посередине ее дуб, низкорослый, широкий, как шатер, под ним всегда находил Емельянов много белых грибов.

Шли молча, каждый думал о своем.

Владимиру Ильичу вспомнилось, как он зимой, в конце 1907 года, после поражения революции, уходил в свою вторую эмиграцию. Тогда ему помогали учителя, адвокаты, врачи, студенты, рыбаки. Сейчас его прячут, охраняют, провожают рабочие. Емельянов — потомственный рабочий Сестрорецкого завода, и в кармане Владимира Ильича книжка рабочего этого завода. Первые дни после июльских событий Владимир Ильич укрывался у питерского рабочего Аллилуева, затем у большевика-токаря Каюрова, Рахья тоже токарь, Шотман — механик, а с завтрашнего дня Ленин будет жить у старого питерского пролетария литейщика Парвиайнена.

Рабочий класс обрел за это время силу, способность решать свою судьбу и теперь сам может укрыть, оберечь своего вождя.

Шотман, спотыкаясь, придерживая одной рукой пенсне, а другой сжимая тетрадь в кармане, обдумывал, как незамеченным сесть в поезд, как пройти сложный и опасный путь до безопасного убежища. Скоро они будут на станции, и там задача Емельянова кончается, дальше проводником будет Шотман. Это он, Шотман, предложил план — вывезти Владимира Ильича из Разлива в Петроград, чтобы оттуда прямым путем на паровозе выехать в Финляндию. Казалось бы, от Разлива до Финляндии ближе, но Шотман с Рахьей



уже убедились, что перейти «зеленую» границу, минуя пограничные кордоны, невозможно. Под видом дачников, живущих в Финляндии, они уже пытались переходить кордон, но каждый раз натыкались на засаду и, видя, как тщательно проверяют их документы и сличают с какой-то фотографией, поняли, что пограничная стража снабжена контрольной карточкой Ленина. Просто так перейти границу не удастся. Тогда и возник план поездки Владимира Ильича в Финляндию из Петрограда.

Сегодня, первый раз в жизни, Александру Шотману было страшно. Не за себя, за Ильича. Сам он с детства утратил это чувство страха, сковывающее волю. В мальчишестве — забияка и драчун — он прославился на рабочей окраине своими «подвигами». Доставалось от Шурки Шотмана и полицейским, и сынкам лабазников, кошкам, собакам и воробьям. Но с двенадцати лет началась сложная трудовая жизнь подмастерья Шурки. В девятнадцать лет рабочие величали его уже Александром Васильевичем: он стал членом «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», руководителем рабочих кружков, а в двадцать два года был в числе тех, кто возглавил первое политическое выступление рабочего класса — Обуховскую оборону.

На II съезде партии познакомился с Плехановым и Лениным. Они оба шли тогда вместе. Затаив дыхание слушал Шотман Плеханова, восхищался его блистательным остроумием, широтой кругозора, знанием всех наук, и глубочайшее уважение, граничащее со страхом к этому исполину мысли, вдруг породило чувство собственного невежества, неуверенности в свои силы. И все, что было до сих пор ясно, нерушимо, вдруг заколебалось, спуталось. А потом слово взял Ленин. Он выступал против тех, кто хотел превратить революционное рабочее движение в пособника буржуазии, кто не верил в руководящую роль партии.

Сначала Шотман слушал плохо. После Плеханова речь Ленина звучала слишком по-деловому, и казалось, что сам

Ленин как-то уж очень не заботился о том, чтобы быть интересным, остроумным. Но постепенно Шотман ощутил, что Ленин приводит в порядок, формулирует его, Шотмана, мысли, которые он сам не умел, не мог собрать и выстроить в строгом ряду. И Шотман почувствовал, как к нему возвращается прежняя уверенность, понимание, что нужно делать, куда идти. И, уже влюбленный без памяти, он отбил ладони, когда Ленин, захватив со стола листок бумаги, отошел в сторону. Затем выступил какой-то мартовец-меньшевик со злой речью против Ленина. Александр Шотман сорвался с места,— в нем вдруг снова проявился мальчишка Шурка, который кулаками мог проучить обидчика. Шотмана оттащили. Ленин потом долго журил его за то, что он свои убеждения решил отстаивать врукопашную. И в тот памятный вечер в мучном лабазе на окраине Брюсселя, где открылся съезд, Шотман дал себе клятву всегда идти за Лениным, учиться у него.

И в годы первой русской революции, и после ее поражения Шотман был активным пропагандистом ленинских идей в рабочем классе, по поручению партии переправлял через границу нелегальную литературу, обеспечивал связь между партийными организациями России и заграничным центром большевиков. За это товарищи прозвали его «министром иностранных дел партии».

И вот теперь Шотман должен вывезти и укрыть Ленина в Финляндии, организовать постоянную связь его с Питером.

На каждом перекрестке, за каждым кустом может подстерегать опасность.

Шотман, не спуская глаз, следил за силуэтом Владимира Ильича. Вот так же болтался на нем широкий пиджак, когда он выступал на II съезде пятнадцать лет назад.

Шотман догнал его и спросил:

— Владимир Ильич, мне кажется, на вас тот же пиджак, в котором вы выступали на Втором съезде?

— Нет, нет, что вы, пришлось сменить,— смеясь, ответил Владимир Ильич.

Емельянов, шедший впереди, затоптался на месте и в великом смущении смахнул рукавом пот со лба. Круглая поляна с дубком посередине осталась в стороне. Они вышли на болото.

Небольшими копнами чернел впереди кустарник, над которым неожиданно появились белесые космы не то тумана, не то дыма. Ветер донес запах гари.

— Где-то жгут костер,— забеспокоился Рахья.— Кто знает, что за люди там, надо обойти стороной.

— А может быть, мы вышли к месту, где обжигают древесный уголь, к майдану? — спросил Владимир Ильич.

— Боюсь, что это горит торф,— упавшим голосом отозвался Емельянов.— Надо податься севернее, к лесу.

Владимир Ильич взглянул на небо, ставшее совсем мутным, и уже с трудом разыскал Полярную звезду.

Повернули на север.

Дым катил уже огромными белыми валами, ветер подхватывал их, раздирал на тонкие пряди, продергивал сквозь ветви кустарника, расстилал по земле. Черная ночь превращалась в белый мрак. Меркли звезды, расплывались очертания деревьев.

Невдалеке раздался треск и грохот — рухнуло дерево, всплеснулся огненный фонтан, рассыпался мириадами пурпурных искр и погас.

Емельянов схватил Владимира Ильича за руку, потянул за собой, метнулся в сторону.

— Спокойно!— властно произнес Владимир Ильич, останавливая Емельянова.— Очень спокойно обсудим, что в этом случае полагается делать.

— Беда... беда... Владимир Ильич,— растерянно бормотал Николай Александрович,— мы попали в полосу торфяного пожара.

В каком направлении идти? Ни карты, ни компаса не

было. Емельянов готов был казнить себя за такую неосмотрительность, за свое «авось».

Дым сгущался, звезды скрылись, и Николай Александрович понял, что они окончательно заблудились.

— Ветер дул нам в лицо, когда мы шли на запад, стало быть, надо идти против ветра.

Это голос Владимира Ильича. С ним согласились — пошли против ветра. На расстоянии вытянутой руки уже ничего не было видно.

Емельянов наконец овладел собой.

— Намочите платок в луже, приложите ко рту,—посоветовал он товарищам,— старайтесь ступать на кочки... Не торопитесь.

Он, кажется, один понимал, какой чудовищной опасности подвергается Владимир Ильич и его спутники.

Торфяной пожар — страшное бедствие. Торф горит без пламени, тлеет под тонкой коркой земли, связанной в ковер корневищами кустарника, дерна. Пожар по торфяной подстилке подползает под лес, сжигает корни деревьев, валит их. Температура внутри горящего торфа достигает тысячи и выше градусов. Густой, как молоко, дым вызывает мучительный кашель. От долгого пребывания в дыму человек может задохнуться, погибнуть.

Непреодолимо желание бежать, вырваться на свежий воздух. Только огромное самообладание и мужество помогают в этой беде.

Шли медленно, шаг за шагом, нащупывая ногами кочки, стараясь быть невесомыми, строго соблюдая между собою дистанцию, чтобы не потерять друг друга из виду и не сближаться.

Во мраке вспыхнула елочка-подрост, вспыхнула всеми иголками, рассыпала рубиновую пыль и исчезла. Огненные искры перебегали по сухим травам, и казалось, что это Ивановы огни бродят в белой мгле.

От земли стало пыхать жаром.

— Осторожно! Под ногами огонь. Идите за мной след в след,— предупредил Емельянов.

Проходили активную зону пожара. Сделай неверный шаг — и провалишься в преисподнюю, превратишься в облачко пара.

Рахья шагал сзади Владимира Ильича, широко расставив руки, как мать над ребенком, и скрежетал зубами от бессильной ярости: а вдруг Ильич оступится, он даже руки помощи не сможет подать. Из воды вытащил бы — Рахья был прекрасный пловец, своим телом прикрыл бы Ильича от вражеской пули, на себе вытащил бы из горящего дома. А когда под ногами колышется земля, словно шагаешь по натянутой сетке, готовой прорваться, когда густой дым как вата забивается в горло, в легкие, мутит сознание, как и чем помочь?

Рахья сунул руку в карман. В такой беде и револьвер может выручить. Просто подмывает выхватить все револьверы и палить из них в воздух, авось кто-нибудь услышит, вызволит из беды. Да, но можно попасть в другую, не менее страшную беду —попасть в руки юнкеров. Больные легкие Рахьи раздирало от кашля, а ну как сам он не выдержит, упадет. Шагай, Эйно, шагай смелее, с тобой рядом Ильич, и ты отвечаешь за его жизнь... Тебе партия поручила охранять его от всех врагов и от торфяного пожара тоже...

Емельянов с трудом различал в дыму темные силуэты кустов, которые становились мельче и все дальше друг от друга. «Только бы благополучно выбраться из этого ада,— мучительно думал он,— только бы не погубить Ильича и товарищей». А там пойдет в ЦК и скажет: дорогу предварительно не проверил, картой не запасся, компас не взял, нет мне прощения.

От куста к кусту, с кочки на кочку.

Шотман споткнулся и подхватил на лету пенсне, но слишком крепко сжал — в кулаке осталось одно стеклышко. Приложив его к глазу, Александр Васильевич ориенти-

ровался больше по слуху, по хрусту веток под ногами Ильича угадывал, куда надо ступать. «Тетрадь сгорит вместе со мной, если провалюсь»,— тревожила мысль, и, напрягая слух, он шагал след в след за Владимиром Ильичем.

— Эйно! Александр! — время от времени окликивал Владимир Ильич идущих сзади.

Сам он готов был погибнуть в огне революции, в борьбе с врагом, но сгореть в торфяном пожаре сейчас, когда революционный шторм в России нарастает, когда близок решительный час и он нужен там, в Питере, нужен рабочему классу, нет, нет и нет! Он испытал однажды безвыходность положения, когда под ним провалился лед в шхерах Ботнического залива. «Как глупо приходится погибать»,— пронеслась тогда мысль. Но еще нелепее погибнуть сейчас. Выдержать... преодолеть... экономить дыхание... не сбиться с шага.

И так от куста к кусту, с кочки на кочку.

Кустарник становился гуще. Травы вспыхивали уже совсем под ногами.

Сквозь дым, клубящийся как пар над котлом, стали прорываться силуэты деревьев. Дым опускался ниже, редел, под ногами заскрипел песок.

— Суходол! — воскликнул радостно Николай Александрович.— Суходол. Мы спасены.

Песчаный карьер преградил путь огню. Дымовая завеса внезапно оборвалась. За карьером темнел лес.

Все четверо просто скатились вниз по песчаному откосу. Ветер пахнул в лицо запахом трав, хвои.

Сидели молча, жадно глотая воздух, восхитительный воздух леса. В голове гудело от пережитого напряжения, от удушливого дыма.

— Ну что ж, огни и воды прошли, остались медные трубы,— попытался острить Александр Васильевич, придерживая у глаза, как монокль, единственное стекло от пенсне.

— Вы приобретите себе пенсне со шнурочком, как у

Якова Михайловича Свердлова,— посоветовал Владимир Ильич,— тогда не будете терять его.

— Владимир Ильич,— обратился Емельянов,— я понимаю, что совершил непростительную ошибку...

— Уж вы не беспокойтесь,— прервал его Владимир Ильич,— об этом у нас с вами еще будет разговор, и очень серьезный.

— Я понадеялся на свою память.

— Не на память, а на русское «авось». Как можно было, не проверив дороги, пускаться в ночной переход? Идти сквозь ад кромешный. Ради чего? К чему был этот сумасшедший риск, эта авантюра?

— В этом и я повинен,— глухо сказал Шотман.— Мне было поручено организовать ваш переезд в другое место.— Он пытался защитить совсем расстроенного Николая Александровича.

— Да, да, и вы виноваты, и Рахья, который чистил свои револьверы и решил, что это панацея от всех бед. А нам нужна была простая дорожная карта. Компас. Так профессионалы-революционеры не поступают, так к революции не готовятся. Мы даже не знаем, где мы сейчас находимся, куда выйдем, на что напоремся.

Протяжный гудок паровоза приглушил лесные шорохи.

— Сигнал отправления! Поблизости станция! — вскочил на ноги Емельянов.

— Какая станция? — требовательно спросил Владимир Ильич.

Вот этого Емельянов не знал. Возле станции Левашово, куда они держали путь, песчаного карьера нет, значит, вышли куда-то в другое место. Но куда? И какая это станция?..

3. ОГОНЬ НА СЕБЯ

Пошли по направлению станции. Мелькнули расплывчатые в тумане огоньки. Обрисовался силуэт железнодорожной платформы. Послышались голоса людей У железнодорожного полотна залегли в кювет, заросший бузиной и ольхой. Острый запах созревших ягод бузины смешивался с тем особым «букетом», который присущ всем железным дорогам: карболовой кислоты, мазута, железа, шлака. Емельянов шепнул, что он пойдет в разведку и чтобы до его сигнала или возвращения все трое оставались на месте.

Владимир Ильич лежал плечом к плечу с Рахьей и, пригнув к земле широкие листья лопухов, вглядывался в тени, мелькающие на платформе, оценивал обстановку. Над ухом зудели комары. Владимир Ильич отвернул ворот пиджака, вобрал голову в плечи и, сорвав ветку, помахивал ею над головой: комары добирались до кожи сквозь толстые носки, проникали под парик, за широкие рукава косоворотки. Вот досаждают, хоть броню от них надевай!

Под пучком света станционного фонаря мелькали силуэты людей в фуражках и сапогах. Видно, военные, юнкера. Дело плохо... Рахья старался сдержать кашель — едкий дым разбередил больные легкие. У Владимира Ильича тоже першило в горле. Он вынул из кармана горсть рябины, поделился с Шотманом и Рахьей, после горького дыма даже рябина показалась сладкой и хорошо освежала.

Железнодорожный рабочий в белом фартуке подметал платформу. Метла ритмично скрежетала над самыми головами.

Томительные минуты шли одна за другой, а Емельянов не появлялся.

Шотман, обеспокоенный долгим отсутствием Николая Александровича, тоже решил пойти в разведку. Он тронул за локоть Рахью и шепнул:

— Я пошел.

Он подполз к самому зданию станции, приложил уцелевшее стеклышко к глазу и, запрокинув голову, прочитал на дощатой стене: «Дибуны». Чуть не вскрикнул. Станция Дибуны всего в семи верстах от границы, это уже пограничная зона, где контроль за всеми людьми, а особенно пассажирами, весьма строг. Этим и объяснялось, что, несмотря на столь поздний час, на перроне сновало много юнкеров. Он видел их зелено-серые мундиры, когда они попадали в полосу света, залихватски надвинутые на лоб фуражки, перетянутые ремнями талии, слышал отдельные слова и целые фразы. Переговаривались они лениво, курили, плевали, зевали. По привычке старого конспиратора Шотман отметил, что никаких особых событий на станции нет, юнкера несут обычную патрульную службу и скучают.

Но вот произошло какое-то оживление. Шотман увидел, как по платформе, неуклюже размахивая руками, покачиваясь, будто пьяный, шел Емельянов.

Послышался резкий окрик:

— Стой!

Емельянов продолжал идти.

Вот он встал под сноп света, вынул папиросу, чиркает спичку за спичкой. К нему подошел юнкер, что-то спрашивает. Емельянов бессвязно отвечает... Юнкер знаком руки требует идти за ним. Николай Александрович начинает задираться. Вокруг него собираются юнкера, что были на платформе, хватают его за руки, Емельянов замахивается. Затем неожиданно громко говорит, Шотман слышит: «Сейчас, сейчас я вам предъявлю документики». Роется в карманах и, разведя руками, смеется пьяным смехом: «Извините, господа дорогие, документы забыл на рояле, а рояль в форточку вытащили»... Юнкера скрутили ему руки. Им есть теперь, по крайней мере, чем развлечься. Емельянов вырывается, не скупится на брань. Но вот послышался шум приближающегося поезда. И тогда он что есть мочи кричит:

— Пустите меня, мне ехать надо, поезд на Петербург подходит. Ехать надо! Ехать!

Юнкера с шумом и руганью повели Емельянова внутрь вокзала.

Он упирался, но — что поделаешь — сдался. И тут Шотман понял, что Николай Александрович подавал им сигнал: надо ехать!

Александр Васильевич проворно пополз обратно.

— Вы слышали, Николай Александрович подал сигнал: «ехать»,— прошептал он на ухо Владимиру Ильичу.— После второго звонка выйдем на перрон. Старайтесь сесть в хвостовой вагон, он остановится как раз против нас, я сяду в вагон рядом.

Поезд подошел, и паровоз, устало дохнув раз, другой остановился.

Перрон был пуст, только дежурный по станции стоял под фонарем, держась за веревочку от станционного колокола. Его красная фуражка под снопом света рдела как гроздь рябины.

Первый звонок!

Рахья напружинился. Шотман нервно протирал стеклышко от пенсне.

Второй звонок!

— Пошли,— прошептал Рахья.

Вышли на перрон. Из здания вокзала все еще доносились шум и брань. Видимо, Емельянов продолжал буянить.

Владимир Ильич схватился за поручни, легко вскочил в тамбур. Рахья за ним.

Третий звонок!

Паровоз бешено заработал колесами, медленно тронулся. Мимо обезлюдевшей платформы проплыли вагоны. В руках дежурного по станции трепетал зеленый флажок — сигнал, что путь свободен. Дежурный заметил, как в поезд вскочили три человека, но это не его дело; если зайцы — пусть разбирается кондуктор, а он дежурный по станции, проводил

сегодня последний поезд на Петроград, может снять свою красную фуражку и идти домой отдыхать.

Владимир Ильич и Рахья сели в уголок в пустом вагоне. Под потолком раскачивался фонарь.

— Боюсь, что Емельянов засядет надолго,— вздохнул Рахья.

— Я тоже думаю над тем, как его выручить,— обеспокоенно сказал Владимир Ильич.— Николай Александрович вызвал огонь на себя, дал нам возможность уехать.

За окнами вагона поползло белое марево, казалось, к стеклам прилипли облака. Глуше стал стук колес. Дым торфяного пожара проникал сквозь щели, першило в горле.

На следующей станции в вагон сразу набилось множество пассажиров. На руках у женщин плакали растревоженные дети.

— Что это горит? — спросил Рахья у старухи с ребенком, помогая ей пристроить узлы на багажной полке.

— Болота горят... торф... До самого Сестрорецка горят. С вечера на поезд втиснуться не могли, дачники все в Питер подались. Дышать-то нечем, хаты полны дыму. А к нашей деревне так огонь совсем близко подошел, стога попалил, две коровы на лугу в тартарары провалились. Вот беда так беда! Одного сена погибло — не счесть. Весь бабий труд даром пошел...— Старуха погладила по голове захныкавшую девочку: — Нишкни!

Владимир Ильич, полузакрыв веки, внимательно прислушивался к разговору.

— Траншеи рыть надо, чтобы дорогу огню преградить,— сказал Рахья.

— Кто рыть-то будет? Опять бабы? Мужики все на войне... А питерские дачники хвосты задрали да по домам. Им что? У нас корова сгорела, так они в другое место подадутся. Я все бросила, внучку на руки и вот везу ее к дочери в Питер. А там есть нечего... тоже на нашу корову полагались. Когда же войне-то конец? Скажи, мил человек!

— Про то господин Керенский знает,— ответил, еле сдерживая волнение, Рахья.

— Керенский войну до победного конца вести будет, пока Питера немцам не сдаст,— зло отозвался бородатый мужчина, севший рядом с Владимиром Ильичем.

— Насчет министра-председателя полегче бы, гражданин хороший,— ввязался в разговор мужчина в чесучовом пиджаке.

Рахья замолчал — не к чему было затевать спор.

Он сидел против Владимира Ильича, который, уткнувшись головой в угол, казался спящим. Облокотившись на подоконник, Рахья сквозь пальцы смотрел на Владимира Ильича, на закрытые глаза, обведенные синими кругами усталости, на вихры русого парика, и неуемное чувство нежности к этому человеку распирало его сердце...

4. ТРЕТЬЯ НОЧЬ

Трепещущий огонек ночника освещал заострившиеся черты лица больной. Широко раскрытые, неестественно блестящие глаза смотрели в одну точку с покорной печалью. Невесомая рука лежала поверх на груди, тонкие прозрачные пальцы теребили складки простыни.

Лю́ли сидела поодаль на стуле и не спускала глаз со своей подруги. Маленькая табачница Соня умирала от чахотки.

Дождь колотил в стекла.

Обе женщины молчали.

Но вот начался мучительный приступ кашля. Люли подсунула ладони под спину больной, приподняла ее худенькое, горячее тело. Под рукой хрипело, клокотало: отравленные табачной пылью легкие кровоточили.

Наконец Соня сникла. Кашель прекратился. Люли вытерла полотенцем взмокший лоб больной, пригладила волосы, принесла из кухни теплого молока.

— А Эмилю ты дала молока с собой? — спросила едва слышно Соня.

— Дала и молока, и хлеба, и творогу...

Правдой было то, что Люли дала мужу Сони в ночную смену кусок хлеба, намазанный творогом, который привезла из деревни, а молоко было только для Сони. Доктор прописал больной усиленное питание — яйца, сливочное масло, белый хлеб. А в булочных выдавали по полфунта хлеба, смешанного бог знает с чем, и, чтобы получить его, надо было выстоять в очереди. Муж Сони, Эмиль Кальске, работает токарем на заводе «Айваз». Эмиль, как и Люли и ее муж Эйно Рахья, член большевистской партии. Эмиль предоставил партии свою квартиру для конспиративных встреч. Эту неделю он работает в ночной смене. Кто здесь будет встречаться, Эмиль не знает и не спрашивает: условия партийной конспирации требуют, чтобы о таких делах лишних слов не говорить.

— Тяжело бедняге Эмилю,— продолжала шептать Соня.— Придет с ночной смены, а я ему не даю отдохнуть со своим кашлем. Но я ведь поправлюсь, правда, Люли?

— Конечно, поправишься, и весной я тебя повезу к моему отцу в Ялкала, будешь пить парное молоко, дышать лесным воздухом, и силы вернутся.

— Как только Эмиль один без меня останется? — продолжала думать вслух Соня.— Когда мы поженились, я была совсем здорова, и вот...

— Ты будешь здорова, если будешь спокойна, если будешь себя хорошо вести.

— Почему ты не спишь, Люли? Ты две ночи ходила по комнате, я слышала. Ты чем-то взволнована? Где Эйно?

— Тебе показалось,— поспешила успокоить ее Люли,— я две ночи спала рядом в комнате как убитая. А Эйно на работе. Он всегда на работе.

— Ну, давай спать,— умиротворенно предложила Соня.

Люли привернула фитиль в ночнике, поставила перед

ним раскрытую книгу, чтобы заслонить свет, и тихо вышла в соседнюю комнату.

Наступила третья ночь томительного ожидания.

Эйно сказал, что они придут 6-го в воскресенье, а вот уже пошла ночь на вторник.

Две ночи Люли ходила взад-вперед по темной комнате, не отрывая глаз от окна. Будет ходить и сегодня, третью ночь.

Надо снять полусапожки. Соня не должна слышать, что она шагает по комнате. А не ходить нельзя — заснешь. И лампу нельзя зажечь: свет в окне — это сигнал, что в дом заходить нельзя. Мысли одна страшнее другой приходят в голову. И знобит от бессонных ночей.

Люли накинула на плечи платок, встала у окна. Отсюда, со второго этажа, хорошо видна дорога вдоль Удельнического парка, а парк ночью выглядит густым, непроницаемым бором. Они выйдут из парка, пересекут дорогу, и Люли должна успеть спуститься вниз, откинуть крючок на двери. Прозевать нельзя.

Сегодня утром газеты Керенского писали, что властям удалось установить точное местонахождение Ленина, знают даже номер дома, где он скрывается. Может быть, действительно узнали? А где он скрывается, откуда должен привезти его сюда Эйно? Муж не говорит, и Люли не спросит. Это мысленно она произносит имя «Ленин», а когда разговаривает о нем с Эйно, то оба говорят просто «он».

А «она», Надежда Константиновна? Ведь она тоже, как Люли, третью ночь мучается ожиданием, недалеко отсюда тоже, наверно, стоит у окна и ждет сигнала ее, Люли, что Владимир Ильич пришел, жив, здоров... А Люли не может оставить свой пост. Третью ночь ждет, и надежды тают, тают с каждым часом. Что с ними? Арестованы? Убиты?..

«Женщины созданы для того, чтобы волноваться, преувеличивать опасность и страшить самих себя»,— сказал как-то Эйно, сказал не о Люли, о какой-то барыньке, а Люли

примерила это к себе и дала слово никогда не волноваться раньше времени. Вот Надежда Константиновна, наверно, не терзает себе сердце страшными предположениями. Она приходит на явочную квартиру спокойная, веселая, будто действительно пришла навестить подругу, а у Люли всегда глаза круглые от страха. И сейчас занозой в сердце сидит тревога за Эйно и за «него» — Ленина.

Люли прижалась лбом к холодному оконному стеклу и тут же отпрянула: с улицы могут увидеть, надо отойти от окна, чтобы свет уличного фонаря не падал ей на лицо.

Прислониться к теплой печке? Нет, сейчас же заснешь. Надо встать посередине комнаты, ни на что не опираться и смотреть на дорогу.

А может быть, уже больше нечего ждать?.. С кем посоветоваться, кого спросить? Даже своему двоюродному брату, члену партии Эмилю Кальске, она не имеет права высказать своих тревог. Эмиль приходит с ночной смены и спрашивает: «Все в порядке?» — «Все в порядке»,— как эхо отзывается Люли.

Самое трудное в жизни — уметь ждать. Эйно умеет ждать. Если Люли уходит на конспиративную встречу по партийным делам, она говорит мужу: «Приду через три часа». А Эйно, целуя ее, отвечает: «А я буду ждать тебя через пять часов. Придешь раньше — приятный сюрприз». Когда же уходит Эйно, Люли начинает ждать его сразу после ухода и к его возвращению вся истерзается от тревоги. «Уметь ждать — это значит уметь верить». Так всегда говорит Эйно. Придут они, придут, и Эйно будет смеяться над ее страхами... А если не придут?

Люли хорошо знает своего мужа. Он вооружен и будет биться до последнего. Арестовать Эйно нельзя, его можно только убить. Убить? Нет, нет! Люли протестующе мотнула головой — из пучка посыпались шпильки, и коса сползла на спину. Нет, нет. Ее Эйно крепкий как кремень, хоть ростом не высок, щуплый на вид, лысоватый и очень сутулый.

Когда Люли была совсем юной, она мечтала выйти замуж за стройного, высокого, кудрявого. А полюбила Эйно, и он для нее теперь самый красивый, самый умный. Его все любят: и братья Люли, и сестра Анна, и отец с матерью почитают его за родного сына. Но ведь было время, когда строгий отец и слышать не хотел, чтобы Люли выходила замуж за большевика, отсидевшего в тюрьме. «Чего хорошего — он будет в тюрьме сидеть, а ты ему передачи носить, а потом одна с детьми маяться». А Люли своенравна и непреклонна. «Я, отец, большевичка, и муж у меня должен быть большевик». Теперь отец видит, что не ошиблась она в своем выборе. И когда Эйно спросил Люли, можно ли укрыть Ленина в доме ее отца, она твердо сказала: «Да, можно» — и отправилась в деревню Ялкала, что затерялась в лесах на Карельском перешейке. Отец Люли старый питерский рабочий, литейщик, хотя сейчас считается то́рпарем, крестьянином-арендатором. В Питере с огромной семьей не проживешь, а у Люли шесть братьев и сестра. Отец расстался со своим заводом и переехал в деревню, где был крохотный отцовский дом и кусочек земли.

— Отец,— сказала Люли,— я обещала Эйно дать приют в твоем доме очень хорошему человеку, рабочему-большевику, которого разыскивает Временное правительство. Я не ошиблась, отец?

Петр Генрихович не спешил с ответом, попыхивая трубкой, глядел из-под седых бровей на дочь. Люли сидела перед ним такая маленькая, что, если бы не черная длинная юбка, ее можно было бы принять за девчонку. Туго затянутые в узел волосы открывали ее лицо, и на лице все было написано, вся душа нараспашку. Люли ждет. Ее голубые глаза позеленели — сердится дочка, что отец долго не отвечает, тревожится, вдруг скажет «нет». Хорошая дочка — ладная и упрямая. Это он, Петр Парвиайнен, наградил ее таким характером. Но он умеет терпеть, а Люли не терпится, и на уме только революция, битвы с буржуазией, борьба за сча-

стье народное. А улыбнется оно народу, счастье-то? Что-то не видно. Хоть царя и свергли, а буржуи-то лютуют, в их руках власть. Люли верит, что все изменится к лучшему. Верит, а вот ждать не любит. Ишь ты как сжимает пальцы в кулачки, драться с ним, старым, что ли, собралась? Глаза у нее совсем потемнели, как озеро Питкяярви ночью.

— Отец, я жду ответа. Прошу тебя.

Так не просят, так требуют. Требует укрыть большевика от русских властей. А у него, Парвиайнена, жена и семеро детей, это если не считать Люли. Впрочем, почему это им, Парвиайненом, должен распоряжаться страх перед властями? Это не его власть, чужая, буржуйская, а у него совесть рабочего, она ему и хозяин.

— Отец! — уже в отчаянии хватает его за рукав Люли.

— А я разве еще не сказал, что согласен?

Люли горячо обняла Петра Генриховича.

— Ты замечательный, отец. Не потерял своего пролетарского духа, не закопал его в землю. Итак, мы привезем нашего друга в воскресенье вечером. Пошли лошадь на станцию Териоки к последнему поезду из Петербурга, истопи баню, попроси маму испечь пирогов с мятой картошкой и комнату приготовь. Я думаю, ему удобно будет в нашей сепараторной. Вот только побелить ее надо, и пол вымыть, и чтобы стол был, и стул, и глухие занавески на окнах,— распоряжалась Люли.

Отец поворчал тогда, сказал, что Люли командует им, как офицер солдатом. Но Люли знает: отец приготовит все как нельзя лучше, и лошадь сегодня в третий раз пошлет на станцию, и, наверно, тоже волнуется...

Люли качнулась, протянула руки, чтобы ухватиться за что-нибудь.

Вот беда: глаза закрылись сами собой, уснула-таки стоя. Сердце замерло и забилось часто-часто.

За окном льет дождь, раскачиваются березы, оголяя мутно-серое небо.

Из парка вышли двое, идут, не разбирая луж. Это не они. Их должно быть четверо: Ленин, Эйно, Александр Шотман и Николай Емельянов. Всех их Люли знает. А здесь шагают двое. Но разве может Люли не признать в сутулой и по-мальчишески тонкой фигуре своего Эйно? Это он, Эйно, живой! А рядом? Кто же рядом? Неужели «он»?

Люли, как была, в одних чулках, шмыгнула в кухню, неслышно открыла дверь, быстро спустилась вниз по деревянной лестнице, отодвинула задвижку.

Пропустила их вперед. Второй — это Ленин. И в темноте узнала.

Уже на кухне спросила:

— Все благополучно?

— Все превосходно,— ответил за обоих Владимир Ильич.— Здравствуйте, дорогая Лидия Петровна. Конечно, волновались?

— Нет, вы не знаете мою Люли, Владимир Ильич... Она не умеет волноваться, она умеет ждать.— Рахья ласково погладил по плечу жену.— Если я сказал, приду завтра, она ждет меня через три дня.

— Где же Емельянов и Шотман? — спросила Люли.

Рахья нахмурился:

— Емельянова в Дибунах юнкера задержали, вернее, он сам заарестовался, чтобы дать нам возможность уехать, а Шотман в дороге пропал. Я видел, как он садился в наш поезд, в соседний вагон, а приехали на Удельную — его как корова языком слизнула.

— Утром надо сообщить в Цека, чтобы выручали Николая Александровича, и его жену необходимо предупредить,— сказал Владимир Ильич.— Надюша, поди, тоже волнуется, всякие страхи строит. Как бы ей дать знать?

— Мы с ней договорились, Владимир Ильич, встретиться в понедельник в восемь часов утра. Но Надежда Константиновна сказала, что всякое может случиться и вы в воскресенье не приедете, поэтому она на явку будет приходить

пять дней подряд. На шестой день я в любом случае должна явиться к ней.

— Надюша молодец, она всегда учитывает возможные осложнения, я просто завидую ее предусмотрительности. И все-таки она волновалась, я ее знаю. У меня же с пропуском неувязка была, никак не могли настоящую печать на моем пропуске поставить, а я хотел иметь документ по всем правилам. Вот мы и запоздали.

— У меня чайник еще горячий, и к чаю творог деревенский. Присаживайтесь.

Только сейчас заметила Люли, какие оба были усталые, мокрые. Брюки до колен забрызганы, и даже пиджаки в грязи.

— А вот переодеться вам не во что. У Эмиля только один костюм.

— М-да...— произнес Владимир Ильич,— это тоже недосмотр в нашей программе.— Он приложил ладони к печке.— Печка еще теплая, и я надеюсь, к утру одежда высохнет.

Ели с аппетитом. Деревенский творог показался восхитительно вкусным, и морковный чай с сахарином, забеленный молоком, тоже был не плох.

— Проходите, Владимир Ильич, в комнату, там вам постель приготовлена,— пригласила Люли, распахивая полотняную портьеру на двери.

Владимир Ильич рассмеялся:

— Да, в таком виде только в постель. Нет уж, увольте. Может быть, найдутся старые газеты, так мы на полу устроимся.

И как ни уговаривали Люли и Эйно воспользоваться кроватью, чтобы отдохнуть перед новым походом, Владимир Ильич наотрез отказался.

Рахья принес из чулана кипу старых журналов и газет.

— Куда же мог деваться Александр Васильевич? — недоумевал Владимир Ильич.— В сутолоке, что творилась

в эту ночь на станциях, едва ли он мог попасть в какую-нибудь историю, и документы у него в порядке.

— Я уверен, что он прикорнул малость и проехал до самого Петрограда, проспал Удельную,— старался успокоить Рахья.

Владимир Ильич из толстых переплетенных журналов соорудил подушки, из газет выстелил на полу два матраца.

Люли возилась на кухне. Рахья вышел к ней. Она распахнула пуховый платок, обняла за шею мужа, прижалась к нему:

— Я чуть не умерла от страха. Не чаяла увидеть вас живыми.

— Ай-люли́, моя Лю́ли,— шептал Эйно Абрамович.— Ты все-таки женщина, хоть и называешься большевичкой. Ну, поплачь немного. Я все равно насквозь мокрый.

— Ладно, придет время, я покажу, на что способна.

— Да оно уже пришло, и ты уже показываешь себя, моя дорогая Люли. Ведь я шучу. Ты отважный товарищ и дорогой мой друг.

— Ладно, ладно, а то захвалишь, я и впрямь подумаю, что я чего-то стою...

— Ты мое настоящее сокровище,— ответил Эйно, целуя жену.

Люли подбросила дров в печку, развесила вокруг нее мокрую одежду. Рахья принялся счищать грязь с башмаков.

Над головой задребезжал звонок. Кто-то у входа осторожненько дергал за веревочку.

Рахья посмотрел в окно. Внизу на крыльце стоял Шотман.

Александр Васильевич еле держался на ногах.

— Куда ты пропал? — накинулся на него Рахья.

Из комнаты вышел Владимир Ильич:

— Ну, наконец-то! Ничего страшного не произошло?

— Нет, нет...— Шотман смущенно стал рассказывать,

как он без очков не разглядел названия станции и вышел на одну остановку раньше. Пять верст ему пришлось идти пешком.

Владимир Ильич не мог скрыть своей радости, что Шотман жив и здоров, схватил его за уши и полушутя, полусерьезно приговаривал:

— Горе вы конспираторы: дорогу не проверили, ни карты, ни компаса не взяли, очки потеряли, сошли с поезда на остановку раньше. Куда годится такая непредусмотрительность? Мы так и революцию прозеваем.

— Что вы, Владимир Ильич! Когда дело дойдет до вооруженного восстания, мы маху не дадим...

— Дорогой товарищ, к восстанию тоже готовиться надо.

— Эх, когда забурлит, взорвется народное терпение, все к чертям собачьим полетит! Восстание — это что лавина с гор...

— Эту лавину надо уметь направить, надо ей помочь, иначе это будет просто бунт, заговор, авантюра.

Шотман сидел и, нервно протирая стеклышки от пенсне, готов был уже защищаться, но Владимир Ильич его разоружил:

— Раздевайтесь, батенька, выпейте горячего чаю да ложитесь спать, сейчас не время спорить.

Увидев, что Эйно принялся чистить его ботинки, Владимир Ильич сердито выхватил их из рук:

— Такого ответственного дела я никому перепоручить не могу. Это я делаю всегда только сам...

За стеной раздался тяжелый, надрывный кашель.

Владимир Ильич поднял голову.

— Здесь кто-то есть? Кто это так тяжело кашляет?

— Соня, жена Кальске.

— Она больна?

— Да,— прошептала Люли,— безнадежно... чахотка... врачи говорят, что до зимы не протянет.

Люли вынула из печки глиняный горшок, отлила из него в стакан молока и пошла к Соне.

— В доме умирающий человек, а мы здесь шум подняли,— сказал с укоризной Владимир Ильич.— Как ей можно помочь?

Рахья вздохнул.

— Кажется, уже поздно.

— Страшное это слово — «поздно»,— как бы про себя сказал Владимир Ильич.— И как часто мы слышим это...

На цыпочках в одних носках он прошел в комнату, осторожно улегся на газеты, чтобы не шуршали. Лежал с открытыми глазами, о чем-то думал.

В темноте белела нетронутая постель со взбитыми подушками.

5. «НУ, И НАПУГАЛА ЖЕ!»

Люли шла по дороге от станции к дому Емельяновых и обдумывала, как сообщить Надежде Кондратьевне об аресте ее мужа.

С семьей Емельяновых Люли была знакома давно и всегда дивилась мужеству и душевной красоте Надежды Кондратьевны.

Мать семерых сыновей, усердная хозяйка, она с утренней зари до поздней ночи стряпала, стирала, шила, работала на огороде, и никто никогда не заподозрил, что эта домовитая женщина, строгая и ласковая мать, была большевичкой. В 1905 году, имея уже четверых детей, Надежда Кондратьевна состояла членом боевой дружины Сестрорецкого завода, руководителем которой был ее муж, и вместе с другими членами дружины организовывала склады оружия, занималась в нелегальном марксистском кружке и ночью, уложив детей спать, садилась за книги.

Люли свернула на тихую улицу. В зарослях рябин и ку-

стов сирени укрылся домик Емельяновых. Этот дом Емельяновы построили своими руками, когда были молодоженами. Возводили его на топком месте, работали в белые ночи без сна. А когда соседи, видя, как надрываются молодые, предлагали помощь — отказывались. «Спасибо, мы сами. Хочется похвастаться перед нашими будущими детьми, что этот дом отец и мать сделали для них собственными руками». Строили дом, думая не только о своих удобствах, но и о нуждах партии: соорудили двойной фундамент с обширным тайником, чтобы прятать в нем нелегальную литературу и оружие, таскали взрослые деревца из лесу и сажали их у дороги, чтобы любопытные не могли заглянуть в окна, не подслушали бы, что происходит за стенами этого голубого домика.

Отстроив дом, который сиял чистотой и уютом, молодые Емельяновы предложили его в распоряжение партии. Сколько здесь было проведено нелегальных совещаний, занятий кружков, собраний социал-демократов сестрорецких рабочих!

В декабре 1905 года к Емельяновым нагрянула полиция. Под ногами полицейских были склады оружия и литературы, винтовки висели даже в густых ивах у протоки, запушенные снегом. Недаром потрудились молодые Емельяновы над двойным фундаментом — полицейские ничего не обнаружили, но вожака сестрорецких большевиков, Емельянова, увели в тюрьму. Надежда Кондратьевна уже тогда с четырьмя детьми управлялась одна и переняла на себя партийные связи мужа.

Люли толкнула калитку. Видит — Надежда Кондратьевна сидит на крылечке, что-то вяжет и, видно, ждет. Ну конечно, ждет его, Николая Александровича, а Люли должна сообщить, что он арестован.

Надежда Кондратьевна увидела Люли, сделала знак — все, мол, спокойно, можно входить. Ввела Люли в дом и, едва закрыв дверь, спросила:

— Ну, как там они, благополучно добрались?

Люли закусила нижнюю губу, теребит кончик шарфа и не знает, с чего начать, не знает, как ее подготовить, чтобы не оглушить страшным известием.

А Надежда Кондратьевна уже почувствовала неладное, требует ответа:

— Да ну же, ну говори скорее. Неужели... беда?

— Да, Надежда Кондратьевна, я принесла невеселые новости,— и увидела, как краска сбежала с лица женщины, как ухватилась она пальцами за край стола.

— Арестован? — еле выговорила она.

— Да,— ответила Люли.— Но вы уж не очень беспокойтесь, в Цека сообщили, и там примут меры, чтобы высвободить. Долго его не продержат... Полиция к вам в дом не являлась?

— Нет, нет.

— А бумаги Владимира Ильича хорошо спрятаны?

— За это я не беспокоюсь. Надо дом по бревнышку разнести, чтобы их сыскать... К юнкерам в руки попал?

— Да.

— Батюшки светы, да как же его не отбили? Где же на засаду-то наткнулись? Ой, горюшко-то какое! Где, где его взяли-то?

— На станции Дибуны. Он сам стал задираться с юнкерами, чтобы отвлечь на себя внимание.

Надежда Кондратьевна метнулась в спальню.

— Коля, Колюшка, вставай скорее, несчастье! Да проснись ты, ради бога,— слышит Люли встревоженный голос Надежды Кондратьевны и думает, что будит она младшего сына, Колю. Наверно, за старшими детьми послать хочет.— Коля, Коля, скорее одевайся!

Надежда Кондратьевна, опираясь о стенку, выходит из спальни. Следом за ней, откинув занавеску, впопыхах надевая пиджак, заспанный и взлохмаченный, торопится... Николай Александрович.

— Владимир Ильич арестован? — схватил он за плечи изумленную Люли.

— Да нет же, нет, что вы?

— А кто же? Шотман? Рахья?

— Нет-нет, я приехала сообщить, что вы... вы арестованы.

Николай Александрович радостно охнул, развел руками. Надежда Кондратьевна опустилась на стул.

— Ну и напугала ж ты меня, голубушка. Я ведь поняла, что Владимира Ильича схватили,— обмахивалась она платком.

— Так Владимир Ильич, значит, в безопасности? Не простудился? Меня-то очень ругает? — засыпал Николай Александрович вопросами Люли.

О себе рассказал, что с первым поездом его повезли в Белоостров, где начальник полиции славился особой жестокостью в отношении большевиков.

— Прибыли туда, сижу я в запертом вагоне и думаю, как же дать знать Надежде, что я арестован — в дом ведь могут явиться с обыском,— чтобы догадалась спрятать понадежнее бумаги Владимира Ильича...

— Я и без того догадалась,— с гордостью заметила Надежда Кондратьевна.— Пакет Владимира Ильича только переночевал в сарае, а на рассвете я уж так его запрятала, что только черт сыщет.

— А черт — это, значит, я,— засмеялся Николай Александрович.— Ну вот, сижу и думу думаю и очень беспокоюсь, как доехал Владимир Ильич. В это время раскрывается вагон и заглядывает наш сосед, унтер-офицер Смирнов. «Ты чего сюда забрался?» — спрашивает. «Не по своей воле,— отвечаю.— Арестовали меня, за что — не знаю, может, перехватил малость. Жена небось дома волнуется. Окажите такую милость, сообщите ей, что я арестован»,— начинаю просить Смирнова. А он оглянулся вокруг и говорит: «Ты давай сам пойди да расскажи ей, что тебя арестовали».—

«То есть это как?» — спрашиваю. «А вот так. Беги!» Ну, я не заставил себя долго просить. Спрыгнул наземь и бегом. Пришел домой и свалился в кровать.

Надежда Кондратьевна между тем собрала чай, поставила вазу с брусничным вареньем.

— Нет, нет, спасибо, мне скорее в Питер надо, сообщить Владимиру Ильичу, что с вами все в порядке.

— Сердится на меня, поди, Владимир Ильич-то? — еще раз спросил Люли Николай Александрович.

— Нет, что вы, беспокоится только очень, говорит, что вы отвлекли на себя огонь.

— Эх, если бы я мог отвлечь на себя весь огонь...— покачал головой Николай Александрович.

Люли распрощалась с хозяевами, и, едва она скрылась за поворотом дороги, во двор вбежал Саша. Он был чем-то очень взволнован.

— Отец, пойдем в дом.— Саша вытащил из-за пазухи газету и развернул ее.— Читай.

«Местопребывание Ленина установлено»,— было напечатано на первой странице крупными буквами.

— Отец, неужели это правда?

Николай Александрович похлопал сына по плечу:

— Брешут. Владимир Ильич в безопасности.

— Пишут, что знаменитая собака Треф нашла его.

— Даже такая собака, как Алексинский, не сможет его найти, а не только Треф.

6. АДСКИЙ ПЛАН

Так кто же такой Алексинский, чье имя записано на черной доске позора в истории?

Впервые он всплыл на гребне революции 1905 года. Объявил себя борцом за дело рабочего класса, примкнул к большевикам. Питерские рабочие верили Алексинскому и избра-

ли его в Государственную думу. Но когда революция потерпела поражение, Алексинский сомкнулся с теми, кто разуверился в силах рабочего класса, и вместе с ними пошел против Ленина, против большевиков, оплевывая святое дело революции, измываясь над ним. Ленин порвал с Алексинским всякие отношения, рабочие отвернулись от него.

Апрельские тезисы Ленина, основным из которых был «Вся власть Советам!», предусматривали мирный переход от буржуазной к социалистической революции. Тезисы стали программой действий партии. Партия организовывала, направляла рабочих, солдат и беднейшее крестьянство к победе социалистической революции.

Но в Советах большинство захватили соглашатели — эсеры и меньшевики. Партия большевиков призывала избирать в Советы достойных, стойких, истинных революционеров и отзывать тех, кто стоит за сговор с Временным правительством.

Правительство министров-капиталистов продолжало вести захватническую войну, не помышляло отнимать землю у помещиков и передать ее крестьянам, ничего не предпринимало, чтобы покончить с голодом и разрухой в стране.

Большевики сплачивали революционные силы под лозунгом: власть Советам, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным!

Буржуазия понимала, что под ее господство заложена мина невиданной силы.

В июне Временное правительство предприняло наступательные действия на германском фронте и готовилось к разоружению рабочих, к выводу революционных войск из Петрограда, к запрещению партии большевиков.

Наступление на фронте провалилось.

Измученные войной, голодом, рабочие и солдаты 4 июля вышли на улицы Питера с требованием покончить с Временным правительством, передать власть Советам.

Большевики считали, что момент для взятия власти еще не наступил. «Взять власть можно, но удержать ее нельзя»,— предупреждал Ленин.

Но, понимая, что сдержать возмущение масс, отменить демонстрацию невозможно, большевики вышли тоже на улицу, стараясь придать демонстрации организованный и мирный характер, не допустить кровопролития.

Временное правительство с согласия меньшевистских и эсеровских руководителей вызвало с фронта верные воинские части, которые обстреляли демонстрацию. На улицах пролилась кровь рабочих.

Временное правительство обвинило большевиков в заговоре и при поддержке соглашателей перешло в наступление на революцию.

В эти дни Алексинский понял, что может оказать бесценную услугу Временному правительству, может вновь подняться, но уже на гребне контрреволюции.

Еще гремели выстрелы казаков на Садовой против демонстрантов, а Алексинский уже сидел в кабинете министра юстиции Переверзева. Здесь присутствовал также полковник, начальник контрразведки Петроградского военного округа.

Начальник контрразведки не ввязывался в разговор министра юстиции с Алексинским, пока шла речь о погоде. Это было пустое предисловие. Но пора бы перейти к делу. Полковник старательно укладывал на столе толстые граненые карандаши горкой, но как только он пытался устроить последний карандаш — горка расползалась и карандаши рассыпались.

Алексинский усмехнулся, глядя на бесплодное занятие старого полковника и его явное нетерпение.

— Если я вас правильно понял, вы пригласили меня для обсуждения весьма важного для всех нас вопроса — как убрать с дороги Ленина. И эту почетную миссию хотели бы возложить на меня?

— Вот именно,— оживился полковник.— Убрать с дороги! Уничтожить! — И он выстроил карандаши на столе по четыре в ряд, как солдат.

По лицу Алексинского скользнула усмешка.

— Вы, полковник, лишены сентиментов. Каким же оружием вы намерены его уничтожить?

— Любым,— отрезал начальник контрразведки,— любым огнестрельным и даже холодным.

Алексинский раздавил недокуренную папиросу о полированный подлокотник кресла.

Министр юстиции Переверзев поспешно пододвинул ему пепельницу, но Алексинский смахнул окурок на ковер, сполз на край кресла и уперся короткими ногами в пол.

— Таким оружием его убить нельзя. Вы не знаете Ленина. Присутствовали ли вы хоть раз на его выступлении?

— Нет, не имел чести,— с раздражением ответил полковник.

— А я был. Я видел его в Таврическом дворце, я слышал его в кадетском корпусе на Первом съезде Советов. Теперь он известен миллионам рабочих и... любим ими,— выдавил из себя Алексинский.

— Любим?— поморщился Переверзев.— Вот это уж действительно сентименты.

— Да, да, любим. Мы должны трезво смотреть на вещи. Я присутствовал на двадцатитысячном митинге в прошлом месяце на Путиловском заводе. Я понимал, что мне придется аплодировать и кричать вместе со всеми «ура». Я ко всему приготовился, отрепетировал, как себя вести, чтобы не быть белой вороной на этом сборище. Но когда он вышел на трибуну и произнес свою речь, речь, в общем, ничем не примечательную...

— Как сказать! — пожал плечами Переверзев.— После этой речи эсеры и меньшевики на Путиловский не смели носа сунуть.

— Я видел, как он говорил. Он имеет власть над людь-

ми, над их душами. Он сумел каждому посмотреть в глаза, прочесть его сокровенные мысли, ответить на мучившие, наболевшие, как говорят, вопросы. Последние его слова потонули в ликующем гуле голосов присутствующих. И я очнулся, поняв, что тоже кричу, что я тоже во власти восторженного экстаза. Ленина подняли на руки и понесли в машину...

— Э-э, позвольте, позвольте, да вы тоже во власти его личности, вы, как барышня, влюблены в него.

— Нет, нет! У меня нет врага более нетерпимого, более лютого, чем Ленин.

— Так что же вы предлагаете?

Алексинский встал, облизал пересохшие губы, налил в бокал сельтерской воды и разом осушил его.

— Я предлагаю уничтожить это обожание, эту любовь, развенчать веру в него, вызвать к нему ненависть народных масс. И тогда я вам больше не нужен. Тогда вы можете физически уничтожить его. Вместе с Лениным будет уничтожена и большевистская партия.

— Все это ясно и без ваших лирических отступлений. Но что же вы, собственно, предлагаете? — недоумевал начальник контрразведки.

— Слушайте меня внимательно.— Алексинский шагал по ковру, размахивая руками, и полковник отметил, что непомерно короткие ноги и длинные руки делали похожим Алексинского на обезьяну.— Большевистская партия насчитывает сейчас около двухсот сорока тысяч членов. Почти четверть миллиона. Целая армия, и армия более опасная для России, чем кайзеровская Германия. И это не просто солдаты Ленина, это его офицерский корпус. Надо считать, что за каждым большевиком идет пять-шесть человек. Это не досужие размышления. Об этом говорит тираж большевистских газет — около полутора миллионов экземпляров. Итак, полтора миллиона активных соратников Ленина. Значительная часть их находится в армии. Каждый большевик

в состоянии сделать небоеспособной целую роту, а то и целый полк...

— К чему все это? Похоже, что вы нас агитируете,— возразил нетерпеливо и Переверзев.

— Вы, уважаемый министр юстиции,— остановился Алексинский перед Переверзевым,— хоть и называетесь социалистом, но привыкли иметь дело с уголовными преступниками. Вы, дорогой полковник, как начальник контрразведки, имеете дело с филерами, осведомителями. Я всю жизнь имел дело с пролетариатом. В тысяча девятьсот седьмом году, когда я был депутатом Думы на том же Путиловском заводе, рабочие меня встречали аплодисментами. Я знаю рабочих, крестьян и понимаю солдатскую душу. Вы задумали убить Ленина. Чего мы этим добьемся? Его смерть взорвет все подспудные силы революции, его идеи приобретут стократную силу. Он после смерти будет для нас еще опасней. Надо убить... веру в Ленина, уничтожить его политически.

Полковник и министр юстиции переглянулись: вон куда он гнет.

Алексинский продолжал:

— Солдаты устали от войны — с этим надо считаться. Они устали бить вшей в окопах, у них нет желания идти в бой. Солдат рвется домой, к земле, к ребятишкам, к теплой печке, к жене. Но и солдаты, распропагандированные большевиками, не терпят шпионов. Попробуйте крикнуть в окопе: «Вот немецкий шпион!» — солдаты растерзают его в клочья. Русский готов брататься с немцами, но терпеть в своих рядах немецкого шпиона — никогда! Правильно я говорю?

Полковник поморщился. Он был явно разочарован.

— Это не ново. О том, что Ленин шпион, писали почти все благонамеренные газеты, и что же? Каков результат? Я полагал, что вы придумали что-нибудь пооригинальнее.

— Версия о том, что Ленин германский шпион, была бездоказательна. Кроме запломбированного вагона, в котором его якобы привезли сюда немцы, у вас никаких козырей не было, и мы проиграли. Нужны до-ка-за-тель-ства! Нужны документы. И я как русский патриот выступлю с этими документами перед питерским пролетариатом.

Переверзев заерзал на стуле. Алексинский уже давно снискал себе славу склочника, клеветника. Наглый, драчливый, корыстный, он готов был каждого облить грязью. Многие его бывшие друзья по эмиграции требовали привлечь его к судебной ответственности за клевету.

Даже меньшевики и эсеры захлопнули перед ним двери своих издательств. Кто теперь ему поверит? Не только рабочие, но и злейшие враги Ленина из буржуазного лагеря будут плеваться и смеяться над документами, с которыми выступит Алексинский.

— Я понимаю, о чем вы думаете.— Алексинский насмешливо и пронзительно посмотрел на Переверзева. Он выдержал долгую паузу молчания и, усевшись в кресло, пуская кольца дыма, раздельно, хозяйским тоном спросил: — У вас, я думаю, найдется какой-нибудь настоящий шпион, переброшенный сюда немцами?

— Есть, есть,— с готовностью ответил полковник,— прапорщик Ермоленко. Он попал в плен к немцам, они его завербовали и перебросили в район Шестой армии для подрывной работы.

— Так вот.— Алексинский снова сполз с кресла, уперся ногами в пол и принялся диктовать: — Ермоленко должен дать письменные показания, что в германском генеральном штабе он слышал от офицеров, что такое же шпионское задание получил их платный агент Ленин. Ленин дал обязательство использовать большевистскую партию для шпионской работы в пользу Германии. Это— первое. Второе— надо доказать, что Ленин получает от немцев большие деньги для ведения подрывной работы. Надо доказать, что у Ленина

есть капиталы, и немалые, и на эти капиталы по указке немцев была организована вчерашняя демонстрация.

— Ну, право же, господа, кто поверит, что Ленин капиталист! — усмехнулся полковник.

— Я сделаю Ленина миллионером. Я докажу, что Ленин начал получать деньги от немцев еще в тысяча девятьсот четырнадцатом году. Все будет доказано. В тысяча девятьсот четырнадцатом году умерла тетка жены Ленина. Она работала учительницей в гимназии, копила деньги и завещала сбережения своей сестре Елизавете Васильевне Крупской. Четыре тысячи рублей были переведены по месту жительства Крупских в Краков. Мы получим выписку из Краковского банка, объявим, что это было первым вознаграждением Ленину от немцев, что именно тогда германский генеральный штаб и завербовал его. Необходимо произвести обыск в квартире Ленина, отыскать сберегательную книжку Краковского банка. Это будет отличным вещественным доказательством.

— Но всем известно, что австрийские власти в тысяча девятьсот четырнадцатом году арестовали Ленина по ложному доносу как русского шпиона,— заметил полковник.

— А мы скажем: был царским шпионом, немцы через австрийцев выручили из тюрьмы и в благодарность за это Ленин стал немецким шпионом...

Даже видавшему виды начальнику контрразведки стало тошно, и он понял, почему этого матерого клеветника ненавидят во всех партиях. Но Алексинский продолжал развивать свой план:

— Недавно из Стокгольма в Петроград прибыл Ганецкий, член Цека польской социал-демократии, друг Ленина. Я Ганецкого тоже хорошо знаю. Он имел коммерческие связи с фирмой, в которой участвовал германский социал-демократ Парвус...

— Но Ленин давно на ножах с Парвусом. Почитайте

только, что он о нем пишет, иначе как социал-предателем его не называет...

— Ерунда,—оборвал Алексинский Переверзева,— пишет так, чтобы замести следы. Мы докажем, что немцы через Парвуса — Ганецкого из нейтральной Швеции переводят деньги в Петербург для Ленина. Вам следует разыскать человека, имеющего большие вклады в Петербургском банке и поддерживающего связь со Стокгольмом. Это и будет источник, из которого Ленин получает деньги. Когда все документы будут опубликованы, я дам клятвенные показания, что все это правда. Такие же клятвенные показания даст мой друг эсер Панкратов, просидевший много лет в Шлиссельбургской крепости. Нам поверят. После этого Ленин как вождь перестанет существовать. На основании этих документов вы сможете спокойно его арестовать.

— Но Ленин предстанет перед судом и разоблачит все это. Он сам юрист и легко расправится с вашими доказательствами,— заметил мрачно Переверзев.

Полковник смерил его насмешливым взглядом:

— Кто же собирается довести дело до суда, предоставить Ленину трибуну, чтобы он всенародно изобличил нас? Я надеюсь, наши люди сообразят, что Ленина не следует доводить даже до тюрьмы. Он может быть застрелен при попытке к бегству. Это я беру на себя.— План Алексинского начальнику контрразведки явно нравился.

— А если он откажется явиться в суд, скроется и мы не успеем его арестовать? — продолжал уточнять Переверзев.

— Не думаю,— авторитетно заявил Алексинский,— Ленин слишком дорожит доверием рабочих и захочет во что бы то ни стало публично оправдаться. Я его характер знаю. Он тоже не без слабостей, и доверие рабочих — дело его чести.

— Предположим даже, что он скроется,— подхватил полковник.—В наших руках будет опять козырь: раз скрыл-

ся, значит, чувствует за собой вину, боится суда революционной демократии. И мы скажем: царского суда не боялся, а суда народной власти испугался, значит, виновен.

Алексинский молча ходил по кабинету. Он чувствовал себя героем, видел перед собой ликующую толпу, прославляющую его как спасителя России.

— Ну что ж,— заключил полковник,— не будем откладывать. Сегодня вы получите показания Ермоленко, выписки из Петербургского банка.

— И сегодня же я выступлю на собрании журналистов всех газет, верных правительству, доложу им правду о Ленине.

— План не плох,— облегченно вздохнул Переверзев.— Действуйте, милейший Григорий Александрович.— Он протянул Алексинскому руку.

И адская машина завелась...

7. СЕРДЦЕ ПРОТЕСТУЕТ

Надежда Константиновна и Мария Ильинична сошли с извозчика на углу Садовой и Невского.

Улицы Петрограда еще не успокоились. Только три дня назад — 4 июля — здесь пролилась кровь рабочих. Вчера были разгромлены помещения газеты «Правда» и типография «Труд», созданная питерским пролетариатом на свои деньги. В рабочих кварталах идут повальные обыски, погромы, совершено злодейское убийство рабочего Воинова, распространявшего «Листок Правды». И сейчас Невский походит на казарменный плац — заполнен казаками, конными и пешими патрулями, марширующими солдатами. Обыватели пугливо жмутся на тротуарах, собираются возле газетных киосков. На круглых тумбах расклеены газетные афиши с угрожающими заголовками в адрес рабочего класса и его партии. Сегодня опубликовано постановление Временного

правительства об аресте и привлечении к суду Ленина. А ночью вооруженные юнкера ворвались в квартиру Ульяновых, искали Ленина, все перерыли, унесли документы.

Мария Ильинична скользнула взглядом по афише и крепко сжала руку Надежды Константиновны. Владимир Ильич по настоянию Свердлова ушел из дому, скрывается от ищеек Временного правительства. Но не просто скрывается. 5 июля написал пять статей, 6-го совещался с большевиками из Петербургского комитета, с членами ЦК. Ночевал у большевиков Каюрова, Полетаева, а сегодня должен перебраться к рабочему-большевику Аллилуеву.

Надежда Константиновна остановилась у лотка, рассматривает открытки. Это ура-патриотические открытки. Германский кайзер Вильгельм II изображен плачущим мальчишкой, железный шлем съехал набок, под глазом синяк, на лбу шишка. Под карикатурой подпись: «Плачет горько мальчик Вилли, его здорово побили». А на самом деле русская армия терпит на фронтах поражение за поражением. Немцы угрожают самому Петрограду.

Надежда Константиновна купила открытку — пригодится. Мария Ильинична между тем осматривается — нет ли «хвоста». Подходит трамвай, обе вскакивают на подножку.

У Николаевского вокзала сошли с трамвая, покружили по улицам, убедились, что за ними «чисто», и свернули на 10-ю Рождественскую улицу.

Сюда, на квартиру Сергея Яковлевича Аллилуева, рано утром должен был перебраться Владимир Ильич.

Поднялись на пятый этаж, постояли на площадке, прислушались. Тихо. Надежда Константиновна нажала кнопку звонка и с тревогой посмотрела на Марию Ильиничну — вдруг Владимир Ильич не дошел и по пути схвачен?

Сергей Яковлевич открыл дверь, улыбнулся одними глазами, быстро впустил женщин в квартиру. Надежда Константиновна и Мария Ильинична поняли: он здесь.

Владимир Ильич помог женщинам водворить на полку шляпки, обнял за плечи жену и сестру, усадил на диван.

— Рассказывайте скорее, какие новости?

Мария Ильинична вынула из ридикюля пачку газет.

— Новости плохие, Володя,—сказала Надежда Константиновна.— Какое счастье, что ты вовремя скрылся! Сегодня ночью к нам на квартиру ворвалась толпа вооруженных юнкеров...

— Даже дом весь оцепили,— добавила Мария Ильинична.

— Это по какому праву? — вскипел Владимир Ильич.

— О каких правах сейчас может идти речь? У них не было даже официального приказа на обыск,— горько усмехнулась Надежда Константиновна.— Искали тебя... Попадись ты им — растерзали бы! Весь дом перевернули вверх дном, как в доброе царское время. Забрали письма, документы. Очень обрадовались, когда извлекли из письменного стола нашу сберегательную книжку из Краковского банка, словно бомбу нашли...

Владимир Ильич сцепил руки, хрустнул суставами:

— Это черт знает что такое.

— И сегодня Временное правительство опубликовало приказ о твоем аресте и привлечении тебя к судебной ответственности.

— И в газете «Живое слово»...— подала газеты Мария Ильинична.

— Ну, это бульварная газетенка,— отмахнулся Владимир Ильич.— За что же меня привлекают к судебной ответственности?

— «Живое слово» все объясняет,— сказала Мария Ильинична.

Владимир Ильич взял газеты и, прищурив левый глаз, принялся быстро их перелистывать.

«Ленин, Ганецкий и К°— шпионы!» — крупным шрифтом сообщало «Живое слово».

— Чертовщина какая-то! — возмущенно передергивая плечами, бормотал Владимир Ильич.— Оказывается, германским генеральным штабом мне поручено подорвать доверие русского народа к Временному правительству! Будто я сам додуматься до этого не мог. «Деньги на агитацию получаются через служащего в Стокгольме при германском посольстве... На текущем счету уже имеется свыше двух миллионов рублей...» Итак, я миллионер.

На второй странице задержался на статье «Кто разоблачил Ленина».

«Мы, нижеподписавшиеся, Григорий Александрович Алексинский, бывший член Государственной думы от рабочих города Петрограда, и Василий Семенович Панкратов, член партии социалистов-революционеров, пробывший 14 лет в Шлиссельбургской каторжной тюрьме, считаем своим революционным долгом опубликовать выдержки из только что полученных нами документов, из которых русские граждане увидят, откуда и какая опасность грозит Русской свободе, революционной армии и народу...» «Сообщение о том, что Ленин, Ганецкий и К° командированы в Россию немцами и оплачены немецкими деньгами — официально!» — сообщало далее «Живое слово».

Надежда Константиновна с тревогой наблюдала, как побледнел Ильич, даже губы побелели. Горели только глаза.

Она вынула из ридикюля носовой платок и провела по лбу Владимира Ильича.

— Право, ты напрасно так близко принимаешь к сердцу эту клевету. Чего иного можно ожидать от министров-капиталистов; от алексинских, керенских и других горе-социалистов!

Владимир Ильич даже задохнулся от волнения.

— Но ты же знаешь, что в глазах народа Временное правительство все еще революционное правительство! Передовые рабочие едва ли могут поверить, что я шпион... Но солдаты, а они часть народа, особенно болезненно воспри-

нимают на фронте слово «шпион»... Маняша! Надюша! Вы понимаете, что это значит для нашей партии? Я должен явиться в суд... Да, да, и немедленно.

— Володя, подумай, что ты говоришь! — с отчаянием воскликнула Надежда Константиновна.

— Да, я должен предстать перед судом и разоблачить клевету, я очищу себя, нашу партию от этой мерзости. Тем более, что разоблачить все это не так уж трудно. Это даже к лучшему. Рабочий класс увидит, какие клеветники эти социалистические правители. Я использую трибуну суда...

— Никакой трибуны не будет,— сказала Мария Ильинична.— Разве они такие дурачки, чтобы сделать открытое заседание суда, предоставить тебе трибуну?

Сердце у Надежды Константиновны билось острыми, частыми толчками. Она понимала состояние Владимира Ильича.

— Ты не дашь себя арестовать, Володя. Ты не имеешь на это право!

— Это моя обязанность.— Владимир Ильич вцепился пальцами в спинку кресла.— Я живой человек и не могу ходить с клеймом шпиона.

Мария Ильинична встала перед ним. Глаза ее горели, и Надежда Константиновна невольно подумала — как похожи они, брат и сестра, оба горячие, и у обоих искрометные глаза, темные и глубокие.

— Володя, я таким тебя не знаю! — заговорила горячо Мария Ильинична.— Ведь это так очевидно, что ты должен уйти в подполье и продолжать работу, а ты хочешь сам отдать себя на растерзание контрреволюции. Кому принесет пользу такая жертва? Злорадствовать будут враги, только им ты принесешь радость.

Владимир Ильич круто повернулся и сел за стол:

— Я должен отвести удар не только от себя, но и от партии.

Мария Ильинична и Надежда Константиновна стояли за спинкой кресла, молча следили за бегающим по бумаге пером.

«В Бюро Центрального Исполнительного Комитета».

— Ты пишешь Всероссийскому Совету рабочих и солдатских депутатов,— в изумлении воскликнула Мария Ильинична,— но ведь сейчас там хозяйничают меньшевики и эсеры!

— Я член Цика и должен обратиться туда.

Перо продолжало бегать по бумаге.

«Сейчас только, в $3^1/_4$ часа дня, 7 июля, я узнал, что у меня на квартире был сегодня ночью обыск, произведенный, вопреки протестам жены, вооруженными людьми, не предъявившими письменного приказа. Я выражаю свой протест против этого, прошу Бюро ЦИК расследовать это прямое нарушение закона.

Вместе с тем я считаю долгом официально и письменно подтвердить то, в чем, я уверен, не мог сомневаться ни один член ЦИК, именно: что в случае приказа правительства о моем аресте и утверждения этого приказа ЦИК-том, я явлюсь в указанное мне ЦИК-том место для ареста.

Петроград, 7/VII. 1917.

Член ЦИК *Владимир Ильич Ульянов*
(Н. Ленин)».

Владимир Ильич аккуратно промокнул пресс-папье письмо, свернул его вчетверо и протянул Марии Ильиничне:

— Прошу немедленно передать.

— Никогда! — Мария Ильинична, так глубоко уважавшая мнение своего брата, теперь возмутилась.— Я пойду к членам Цека,— заявила она,— пусть они решают этот вопрос. Ты прежде всего член Центрального Комитета партии большевиков. Будет решение Цека, тогда и отправлю.

— Хорошо. Разыщи, пожалуйства, членов Цека, попроси собраться у меня.

— Мы это сделаем сейчас же с Надюшей.

— Но ты дай слово, что до нашего возвращения не будешь ничего предпринимать,— умоляюще посмотрела на Ильича Надежда Константиновна.

Владимир Ильич погладил ее руку:

— Не волнуйся. Даю слово, что, не посоветовавшись с товарищами, заарестовываться не буду. А если Цека решит, что я должен использовать суд для разоблачения клеветы,— сегодня же пойду. Пусть только поместят в Петропавловскую крепость, там гарнизон большевистский, убить не дадут. Попроси Орджоникидзе переговорить с комендантом крепости об условиях содержания.

Надежда Константиновна еле сдерживала слезы. Обняла мужа и прижалась к его плечу — кто знает, может, больше не увидятся...

Мария Ильинична подошла к брату и, строго глядя ему в глаза, сказала:

— Я понимаю твои переживания, но ты не можешь собой распоряжаться. Ты, как сам любишь выражаться, являешься казенным имуществом, и Цека решит, как распорядиться этим имуществом. Но даже если Цека найдет, что ты должен предстать перед судом, я буду возражать, протестовать и не допущу этого.

— Ты горячишься и сама себе противоречишь. Я полагаюсь на волю Цека.

Мария Ильинична и Надежда Константиновна ушли. Владимир Ильич остался один.

Вспомнил арест царской полицией в 1887 году. Ему было тогда семнадцать лет. 500 студентов принимали участие в сходке протеста против полицейского режима в университете, 100 человек было арестовано, и он среди них. Впервые тогда прикоснулся к революционному делу. Когда полицейский вез его по улицам Казани, дрожал от внутреннего

волнения, гордости, чувствовал себя почти счастливым от сознания, что принял участие в важном народном деле. Знал, что с этого пути уже больше не сойдет никогда.

В заключении держали всего двое суток. Но и за эти дни понял, что главное для революционера—это непрестанно действовать, а значит, необходимо быть на свободе, необходимо овладеть искусством конспирации. Жадно изучал методы конспирации народников, тренировался: разыскивал проходные дворы, учился охватывать взглядом улицу, запоминать прохожих, отличать шпиков от обывателей, по звуку шагов определять, кто идет сзади, уметь оторвать «хвост». «У конспиратора глаза должны быть и на затылке»,— сказал ему как-то старый народоволец. И Владимир Ильич всегда это помнил. Учился составлять шифры, тайники, организовывать конспиративные квартиры, изменять свою внешность, делать шифрованные записи в книжке. Всегда проверял содержимое карманов, тщательно тренировался и научил затем Надежду Константиновну удерживать в памяти многочисленные клички, адреса явок, пароли, ключи к шифрам, писать эзоповским языком по самым жгучим вопросам, чтобы рабочим было понятно и чтобы не могла придраться цензура. Всю жизнь учился русскому языку, чтобы, не сюсюкая, быть доходчивым для рабочих, и очень ценил точное русское слово, тщательно оберегал русский язык от иностранщины, самым большим счастьем для себя считал уметь писать для рабочих.

Вспомнился и второй арест в 1895 году, который тяжело пережил. Арест руководящего ядра «Союза борьбы» был ударом по организации рабочего класса. И тогда, сидя на Шпалерной, дал себе слово, что больше никогда не допустит лишить себя свободы. Правда, в 1900 году переконспирировался и попался, просидел две недели в тюрьме, но никаких улик полиция не обнаружила. В революции 1905 года шпики, как тучи комаров, гонялись за ним, и он много раз уходил из-под самого их носа.

Но никогда в тюрьме, на скамье подсудимых, в ссылке не чувствовал себя униженным, оскорбленным. Это была борьба, открытая схватка с врагом. Всю сознательную жизнь шел вместе с рабочим классом и никогда не задумывался над тем — верят ли в его искренность рабочие, как никогда не приходит матери в голову мысль о том — верят ли ее дети, что она их мать. А вот теперь должен доказывать, что честен, должен очищать себя и партию от омерзительной клеветы, оправдываться перед рабочим классом на скамье подсудимых. Скорее бы началось следствие, скорее бы предстать перед судом, очиститься, и тогда фальшивки Алексинского и компании обратятся против них же самих.

Владимир Ильич, сцепив пальцы за спиной, шагал из угла в угол, не заметил даже, как в комнату заползли сумерки.

Когда совсем стемнело, стали собираться товарищи, члены ЦК.

Первыми пришли Серго Орджоникидзе, Надежда Константиновна и Мария Ильинична. Серго сообщил, что поместить Владимира Ильича в Петропавловскую крепость отказались. Стало быть, речь может идти о заключении в одиночную камеру в «Крестах», где хозяйничают юнкера, а это означает верную гибель.

Серго горячо доказывал, что самоарестовываться — это безумие, и Надежда Константиновна видела, что Владимир Ильич с ним готов согласиться.

Затем явились Ногин и Сталин. По мнению Ногина, Ильичу следовало бы явиться на суд и дать бой. Ногин сказал, что московские товарищи считают, что Ильич должен очиститься от клеветы и сделать это на суде.

И Надежда Константиновна почувствовала, что Владимир Ильич снова заколебался. Таким она его еще не знала. Очевидно, труднее всего принимать решение, когда речь идет о защите самого себя.

Последней пришла Стасова.

— Я только что из Таврического,— сказала она.— Дело осложняется. Кем-то пущен слух, что Временное правительство располагает документами из архива департамента полиции о том, что Ленин завербован царской охранкой.

В комнате наступила мертвая тишина.

Надежда Константиновна видела, как нервная судорога перекосила лицо Ильича.

— Это уж слишком,— тяжело вздохнул он.— Разве теперь товарищам не ясно, что я должен явиться в суд?

— Именно сейчас очевидно, что гласного суда не будет, что будут стряпаться новые и новые фальшивки,— заметила Стасова.

— Ильич не должен являться к властям. Юнкера до тюрьмы не доведут, убьют по дороге,— сказал Сталин.

— Дать себя арестовать — значит идти на самоубийство. Во имя чего? — горячо вырвалось у Марии Ильиничны.

Владимир Ильич стоял, повернувшись лицом к окну. Надежда Константиновна с болью в сердце смотрела на него. Может быть, только она одна понимала, какой разлад происходит сейчас между сердцем и разумом Ильича.

Наконец он повернулся к товарищам, и Надежда Константиновна поняла: Ильич сумел подавить в себе взрыв негодования, оправиться от тяжелого удара, сумел преодолеть личные переживания.

— Да, для меня теперь ясно, что никакого гласного суда не будет, будет комедия суда и это нанесет большой ущерб партии. Мы разоблачим клеветников через нашу печать, объясним невозможность в данной обстановке для большевиков самоарестовываться. Рабочие нас поймут. Спасибо, товарищи.

Все облегченно вздохнули.

Было решено, что в ближайшие же день-два Владимир Ильич должен покинуть Петроград и уйти в подполье.

Товарищи распрощались. Дольше оставаться на квартире было опасно. Последней уходила Мария Ильинична.

— Ну, здравствуй, Ильич, теперь я узнаю тебя,— сказала она.

Надежда Константиновна сидела у стола, подперев лицо руками.

— Спасибо, Маняша, не сердись на меня и поцелуй, может быть, долго не придется увидеться. Очень прошу вас, берегите себя. Ваше здоровье — это тоже казенное имущество... Как нога, Маняша?

— Ничего, я почти не хромаю, пройдет.

— Дай мне слово, что ты поедешь куда-нибудь отдохнуть, тебе тоже не надо попадаться на глаза. И ты, Надюша.

— Ну, уж я останусь на посту. Давай-ка договоримся о шифрах и условных открытках.

Мария Ильинична ушла.

Владимир Ильич и Надежда Константиновна сели за стол, углубились в работу...

Утром Сергей Яковлевич принес газеты. «Вестник Временного правительства» сообщал, что князь Львов ушел в отставку. Его заменил на посту министра-председателя Временного правительства Александр Керенский, сохранив за собой посты военного и морского министров.

Владимир Ильич усмехнулся: Керенский теперь един в трех лицах. Итак, русская контрреволюция и западные империалисты вручили бразды правления эсеру Керенскому. Лучшего лакея буржуазии не сыскать. И конечно, Керенский постарается выслужиться перед щедрыми хозяевами и еще яростнее поведет поход против большевистской партии, чтобы задушить революцию. И Владимир Ильич в душе еще раз поблагодарил товарищей, сумевших укротить его гнев, сломить колебания. Теперь было совершенно ясно, что явка на суд была бы на руку только контрреволюции.

Владимир Ильич вспомнил рахитичного мальчика Шурика Керенского — сына директора Симбирской гимназии. По большим праздникам к Ульяновым приходили в гости со своими семьями инспектора народных училищ, инспек-

тор чувашских школ Яковлев, приходил и Федор Михайлович Керенский. Старшая дочь Ульяновых Аня всегда возилась с маленькими гостями и учила Шурика Керенского играть в «ладушки».

И вот теперь этот Шурик — «правитель» России, он играет уже не в «ладушки», а судьбами огромной страны, судьбами народа, поднявшегося на борьбу за свою свободу.

Отец Керенского — Федор Михайлович был в какой-то мере благороден и старался быть справедливым. Оба старших сына Ульяновых учились у него в гимназии. Александр Ульянов окончил гимназию с золотой медалью и получил аттестат зрелости за подписью Ф. Керенского. Владимир Ульянов сдавал экзамены за гимназический курс в дни, когда казнили его старшего брата Александра. Директор гимназии не поступился своей гражданской совестью, выдал золотую медаль и второму Ульянову, который во всех классах был первым учеником. И когда Владимир Ульянов явился к директору гимназии за характеристикой, необходимой для поступления в Казанский университет, Федор Михайлович нашел в себе мужество написать:

«Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный Ульянов во всех классах был первым учеником и при окончании курса награжден золотой медалью, как самый достойнейший по успехам, развитию и поведению...»

На Широкой улице в квартире Елизаровых и сейчас хранится книга сестры Оли «Немецкие поэты в биографиях и образцах», которой она была награждена «за благонравие и успехи». На форзаце книги дарственная надпись: «Конференция Симбирской Мариинской женской гимназии, уважая отличные успехи, прилежание и похвальное поведение воспитанницы IV класса Ольги Ульяновой, наградила ее сею книгою при похвальном листе. Симбирск. Июня 8 дня 1884 года. Начальник Мариинской гимназии Керенский».

После ареста Владимира Ильича Ульянова в Казани Ф. М. Керенский имел неприятности. Чиновники Казанского

попечительства корили его: в течение многих лет братья Ульяновы были красой и гордостью гимназии вашей, а сестры Ульяновы, Анна и Ольга, украшали собой Мариинскую женскую гимназию, где вы состояли тоже начальником. Все четверо из ваших рук получили высшие награды. И вот вам результаты: Александр повешен за государственное преступление, Анне присудили ссылку, Владимир арестован и неизвестно еще, что выйдет из шестнадцатилетней Ольги. Ф. М. Керенский был переведен на работу в Ташкент.

Александр Керенский не унаследовал гражданской совести своего отца.

Но и у отца было зерно спеси и чванства, которое пышно произросло в его сыне. У обоих братьев Ульяновых по всем предметам были пятерки, и только по логике обоим была выставлена в аттестате зрелости четверка. А логику преподавал «сам» Федор Михайлович, и не мог допустить, чтобы кто-то, кроме него, знал этот предмет на «пять»...

Владимир Ильич отодвинул газету.

Сейчас ясно, что основная государственная власть в России стала военной диктатурой. Вожди партий эсеров и меньшевиков предали дело революции, превратили Советы, в которых они имели большинство, в подсобный орган контрреволюционного Временного правительства. Надежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно. И лозунг «Вся власть Советам!» теперь уже неверен. Он был лозунгом мирного развития революции до июльских событий, до капитуляции эсеров и меньшевиков, превративших Советы в фиговый листок контрреволюции.

Собирать силы. Готовиться к вооруженному восстанию, к переходу власти в руки пролетариата.

И самому надо скорее укрыться, чтобы начать действовать...

Вечером 9 июля Владимир Ильич перебрался в Разлив к Емельянову. Прожил там ровно месяц, работал сначала в сарае, затем в шалаше. Оттуда он руководил VI съездом

партии, нацелившим партию на вооруженное восстание, неустанно в своих статьях — они почти ежедневно появлялись в газетах — разъяснял пролетариату его задачи.

И сейчас, 8 августа, Ленин, покинув шалаш, снова отправляется в путь, на новую позицию.

8. ЛЕТЕЛИ ИСКРЫ

Это был последний и, как его называли железнодорожники, «пьяный» поезд. Он увозил из Питера запоздавших, подгулявших, среди которых всегда было много пьяных.

Гуго Ялава вел паровоз и, высунувшись по пояс из окошка, не спуская руки с рычага, вглядывался в темноту. Паровоз несся мимо Удельнического парка. Машинисту на этом перегоне надо было выиграть минуту, чтобы на станцию Удельная прибыть без опоздания.

За переездом, у большой березы на пригорке, Ялава должен будет остановить поезд, чтобы взять пассажиров. На одну минуту он остановит состав, и эта минута у него должна быть в запасе. Поэтому и гонит Ялава этот последний ночной поезд Петербург — Райвола с недозволенной скоростью. У Ялавы важное партийное задание: принять у березы человека и провезти его через финляндскую границу.

Не первый раз Ялава по поручению большевистской партии тайно провозит революционеров через финляндскую границу, а сколько нелегальной литературы, оружия доставил он в революционный Петроград в 1905 году! Он был тогда звеном в нелегальной цепи революционеров, и с тех пор действует эта цепочка: Шотман — Рахья — Кальске—Ялава—Ровио... Крепкой старой большевистской дружбой связаны эти люди, и никогда не разрывалась цепь, никогда не проникал в нее враг-провокатор.

Сегодня днем к Ялаве пришел Шотман и сказал, что на-

до вывезти в Финляндию одного партийного «Старика», за которым охотится Временное правительство, вывезти так, чтобы при досмотре на границе на него не обратили внимания юнкера, не вздумали бы проверять у Старика документы.

«Будьте покойны, на моей машине я хозяин, и ни один юнкер не посмеет сунуть туда своего носа»,— заверил Ялава Шотмана.

Кто этот Старик, Ялава не знает, как никогда не знал и имен революционеров, которых вывозил раньше.

Ялава опытный конспиратор и лишних вопросов не задает.

Шотман сказал, что тем же поездом поедет он, Шотман, Люли и Рахья.

...В темноте засветился зеленый фонарик переездного сторожа, пора тормозить, скоро из темноты вылетит навстречу паровозу белый ствол березы на пригорке. Под деревом будет стоять человек и попыхивать папироской — раз-два, раз-два. Это сигнал ему, Ялаве.

Светлячком засветилась папироса. Заскрежетали тормоза. Предупрежденный Ялавой, кочегар соскочил с паровоза на противоположную сторону: до Териок он поедет пассажиром в вагоне.

От березы отделился человек, перемахнул через насыпь, схватился за поручни подножки и по-молодому легко подтянулся. «И не старик вовсе»,— отметил про себя Ялава. Подождал, пока Шотман и Рахья вскочили в вагон. Пассажиры в поезде те, что трезвые, наверно, уже заволновались — что за остановка? Ялава перевел рычаг, и снова понеслись мимо мохнатые кроны деревьев, замелькали телеграфные столбы.

До станции Удельная некогда было разглядеть пассажира. Зато когда тронулись от Удельной, Ялава протянул Старику руку и спросил:

— Кочегаром назначены?

— Определен к вам помощником,— ответил Владимир Ильич.

— Будете подбрасывать дровишки в топку, проявите особое усердие на остановках. Если сунутся юнкера, в переговоры не вступать, делать свое дело. Я за все в ответе.

Ялава открыл круглую дверцу топки и в свете огня мог разглядеть своего помощника. Рабочий лет сорока, костюм потрепан, кепчонка старая, волосы аккуратно расчесаны на пробор и выложены по тогдашней моде «бабочкой» на лбу, лицо бритое, глаза глубокие, добрые и чуть насмешливые— подходящий человек.

Ялава набрал охапку коротких звонких березовых поленьев и кинул их в топку. Новый кочегар тоже нагрузил согнутую левую руку поленьями и, щурясь от огня, чуть отвернув лицо в сторону, ловко побросал дрова в огонь.

Миновали Парголово, Левашово и затем, как по тоннелю, помчались сквозь сплошной дым.

— Торфяной пожар,— объяснил Ялава.— До самой границы болота горят. Весь сенокос в этом районе пропал, и скотины порядком погибло.

Машинист был не суетлив и ловок. Руки методично передвигали рычаг, словно слившись с ним; глаза следили за давлением пара, за профилем дороги. Из-под промасленной и блестевшей, как люстриновая, куртки выглядывала свежая рубашка. Владимир Ильич невольно залюбовался неторопливыми, уверенными движениями машиниста — он был здесь хозяином. Каждое движение экономно, точно, расчетливо. Красиво работает человек!

Ялава взглянул в окно и сказал:

— Подъезжаем к Белоострову. В окно не высовываться, хлопочите с дровишками, протрите концами стекла манометра.

Перрон на пограничной станции был заполнен юнкерами, полицейскими; они сразу устремились к поезду, прове-

рять документы у пассажиров. Машинист спрыгнул с паровоза, нырнул под буфера, отцепил паровоз от поезда и через несколько секунд уже гнал его вперед.

— Что вы делаете? — спросил Владимир Ильич.

— Поедем набирать воду! — весело ответил Ялава.

Он подвел паровоз к водокачке и крикнул:

— Подава-а-ай!

Из будки вышел рабочий, привычно нацелил рукав водокачки над тендером и пошел было накачивать воду, но Ялава, взглянув на часы, окликнул его.

— Покурить хочешь? — протянул он портсигар.

Рабочий вытер о штанину руку, осторожно вынул папиросу, повертел ее в руках, понюхал и заложил за ухо.

— Отвыкли от такого табачка. Потом устрою себе праздник.

— Как жизнь? — спросил Ялава.

— А черт ее знает! Паршивая жизнь, одним словом. Жрать нечего, курить нечего. Юнкеров сюда тучу нагнали. Ищут какого-то шпиона. Поскорее бы нашли, может, потом жизнь и на лучшее повернет.

Владимир Ильич замер у открытой топки.

— А кого они ищут-то, не знаешь? —спросил Ялава.

— Ленина. Главный шпион он германский, и все большевики шпионы.

— Эх ты, дурья голова, бабы болтают, а ты и уши развесил!

— Коли б бабы! Все газеты про то пишут.

— На старых баб эта клевета рассчитана.

— А ты что, знаешь этого Ленина?

— Нет, не знаю, никогда не видел, но от верных людей слышал, что Ленин самый правильный человек, поэтому и клевещут на него буржуи.

Владимир Ильич дернул Ялаву за полу пиджака.

— Полегче, полегче, товарищ, неподходящая обстановка для такого разговора,— прошептал он.

Ялава вынул из кармана часы. До отправления поезда оставались считанные минуты.

— Ну ладно, пошевеливайся, качай воду! — приказал он водокатчику.

Рабочий нырнул в узкую дверь. Из рукава с гулом хлынула в тендер вода. Ялава, высунувшись в окно, зорко посматривал по сторонам — не вздумают ли юнкера припожаловать сюда. Тогда он погонит паровоз прямо через границу. Своего пассажира посадит в выемку между дров, чтобы шальная пуля не задела.

Рабочий качал воду и выглядывал в открытую дверь, когда ему машинист подаст рукой знак: «Хватит!» Вот вода уже через край бежит, но Ялава только головой кивает: давай, мол, качай, не ленись!

— Хватит! — подал он наконец знак водокатчику.

На путях образовалось целое озеро, когда Ялава дал паровозу задний ход. Из-под колес веером хлестала вода.

На станции ударил колокол: один, два, три...

Паровоз подкатил к составу, когда замер третий удар.

Сцепщик проворно накинул цепь на крюк.

«Кочегар» распахнул топку, кинул в ревущее пламя несколько поленьев. Ялава спустил пары и чуть двинул рычаг.

Медленно вел поезд Ялава. Так полагается на границе, чтобы таможенные чиновники и пограничные стражники, которые уселись на корточки вдоль насыпи, смогли проверить — не прицепили ли какой контрабанды под вагоном, не спрятался ли кто на буферах.

Вот и мост через реку Сестру. Это граница между Россией и Финляндией. Еще сотня метров, и русская пограничная стража останется позади.

Сколько раз уже провозил через границу Ялава людей и каждый раз, когда переезжал через этот мост, волновался, подкашивались ноги: а вдруг раздастся свисток и поезд остановят?

Но вот паровоз уже идет по финляндской территории. А где паровоз, там будут и все вагоны. Теперь уже не остановить. Последний вагон прогромыхал по мосту. Финляндская пограничная станция Райяйоки. Все! Точка!

Машинист повернулся к своему помощнику и обхватил Владимира Ильича за плечи:

— Понимаешь, Старик, проскочили! Теперь все позади. Можешь отдыхать.

Владимир Ильич видел, какого напряжения стоило ему, этому машинисту, вот так красиво и легко работать, мурлыкать под нос какую-то песенку, делая вид, что все это так просто, обычно.

— И спасибо, что одернули меня,— сказал Ялава.— Но когда слышишь такое о Ленине, о партии, в самое сердце ранит. Нет сил терпеть.

— Да,— сказал Владимир Ильич,— это правда, нет сил терпеть.

На станции Териоки «кочегар» энергично потряс руку машинисту:

— Спасибо, дорогой товарищ!

— Не за что благодарить. Хорошо то, что хорошо кончается. В добрый час!

— В добрый путь! — ответил Владимир Ильич.

Ялава перевел рычаг, и паровоз весело помчал дальше, оглашая финские леса веселым посвистом, и стройные стволы сосен отвечали ему звонким эхом.

Трехглазый паровоз набирал ход. Из широкой трубы, как туча комаров, летели искры.

9. В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ

У переезда на станции Териоки, как было условлено, Владимира Ильича ожидали Рахья, Шотман и Люли, которые ехали тем же поездом, но в разных вагонах. Завидев



Владимира Ильича, бросились ему навстречу, и у всех словно тяжелый камень с плеч свалился.

— Ну, поздравляю с благополучным приездом! — радостно воскликнула Люли.

Владимир Ильич пожал плечами:

— Уж если и поздравлять, то Ялаву. Он не только чудесный машинист, но и замечательный конспиратор.

— А лошади-то нет,— виновато сказала Люли.— Ведь мы должны были прибыть позавчера. Почему отец не догадался посылать лошадь каждый вечер — не понимаю.

— Ничего, пройдемся пешком. Сколько верст? — спросил Владимир Ильич.

— Около четырнадцати.

— Одолеем.

Прошли версты три вдоль железной дороги. Навстречу загромыхала телега.

— Вяйно, это ты? — окликнула Люли по-фински.

Возница остановил лошадь.

— Это мой брат,— пояснила она.— Что же ты так поздно?

— Я приехал вовремя,— отвечал мальчишеский голос,— но паровоз так свистел на все лады, что перепугал лошадь. Она сорвалась с привязи и понесла. Я еле ее успокоил и вот возвращаюсь обратно.

— Экий ты, право,— корила Вяйно сестра,— не мог справиться с лошадью. Теперь быстро поехали до дому.

Сидели на телеге, свесив ноги, вдыхая свежесть соснового леса. На подъемах седоки соскакивали с телеги, шли пешком. Внизу, под крутыми обрывами, плыли облака, отраженные в спокойных водах озер.

С проселочной дороги свернули направо на лесную тряскую дорогу. Шли за лошадью, которая, почуяв близость дома, бежала рысцой. За поворотом деревья расступились, образуя широкие ворота, а за ними раскинулась просторная поляна в обрамлении деревьев-гигантов, освещенная неяр-

кой луной, и посередине ее крохотный, как в старой сказке, домик.

Старый Парвиайнен стоял на крыльце и попыхивал трубкой.

Гости вошли в кухню.

— Знакомьтесь,— представил Владимира Ильича Рахья,— наш гость и мой друг Константин Петрович Иванов. Анна Михайловна, Петр Генрихович — мать и отец моей Люли,— отрекомендовал Рахья тещу и тестя.

На покрытом вышитой скатертью столе под светом керосиновой лампы возвышалась горка ржаных пирогов, поблескивал гранеными боками самовар.

— Третий день вас с ужином ждем,—сказал Петр Генрихович.

— Пироги совсем зачерствели,— посетовала Анна Михайловна.— Но завтра я свежих испеку. Присаживайтесь к столу!

— Если бы можно было немного помыться,— вздохнул Владимир Ильич.

— Милости просим, — пригласил Петр Генрихович. — Баньку тоже третий вечер топим...

Из бани шли босиком по росистой, прохладной траве.

Ржаные пироги с картофельной начинкой, сделанные на финский манер, с оборочкой по бокам, выглядели аппетитно. Мурлыкал самовар, чуть покачивалась над столом под плоским абажуром лампа. Хозяева — оба рослые, ладные, немногословные — были удивительно приветливы и уютны.

— Кушайте, кушайте, голубчики,— подвигала Анна Михайловна гостям то пироги, то повидло из морошки.

После ужина хозяйка повела Владимира Ильича в отведенную для него комнату.

Это была крохотная пристройка к дому, служившая обычно сепараторной и складом для овощей.

Владимир Ильич перешагнул порог и осмотрелся. По

углам синели непросохшие пятна после побелки, на двух оконцах топорщились туго накрахмаленные занавески, пол тщательно выскоблен, в комнате пахло чистотой. Он похлопал ладонью по потолку и усмехнулся. В детстве, в Симбирске, у него была такая же крохотная комната, с таким же низким потолком, с такой же незатейливой и вместе с тем очень удобной мебелью. Так же выглядела комната и в Подольске, приготовленная для него матерью. Давно это было, семнадцать лет назад, когда он вернулся из сибирской ссылки. А впрочем, все комнатки, где ему приходилось обитать в своей скитальческой жизни, были похожи на эту. Может быть, завитушки на спинках железных кроватей были разные, оконца — где побольше, где поменьше, но везде этажерка с книгами, небольшой стол с неизменной лампой под абажуром; в России и в Финляндии лампы были керосиновые; в Швейцарии, Франции, Англии — электрические.

Владимир Ильич тронул кровать под белоснежным покрывалом.

Анна Михайловна поняла этот жест по-своему:

— Может быть, жестко? Перинку подкинуть?

Владимир Ильич звонко рассмеялся. Тридцать две ночи перед этим он спал на сене, сначала в сарае у Емельяновых, а потом на покосе, в шалаше.

— Великолепная постель! — воскликнул он.— Замечательная комната!

Анна Михайловна с улыбкой смотрела на гостя, удивляясь, что́ он нашел прекрасного в этой, почти нищенской, обстановке, но материнским сердцем поняла, что измаялся человек, изустал и ему надо хорошенько отдохнуть.

— Спите спокойно,— сказала Анна Михайловна и прикрыла дверь.

Владимир Ильич подошел к письменному столу.

Простой некрашеный стол показался ему чудом цивилизации, да еще лампа на нем и стул возле. Он может писать и писать за этим замечательным сооружением, сидя на на-

стоящем стуле. Только сейчас, пожалуй, оценил всю прелесть гладко выструганной доски на четырех ножках, на которой с удобством можно расположиться с записями, газетами, и ветер не будет ерошить листки, не будут одолевать проклятые комары, не будет затекать нога, неловко подвернутая на низком пеньке.

После месяца работы в «зеленом кабинете» под рябиной, где столом ему служил низкий шершавый чурбан, не терпелось поработать за настоящим столом.

...Разбудило солнце. Продравшись сквозь густую листву березы, оно выпустило пучки светлых стрел в маленькое оконце и рассыпало по полу, стенам круглые, как блюдечки, блики.

Владимир Ильич вскочил с кровати, прижал пальцами парик к вискам, пробежался по прохладному дощатому полу к окну, протер запотевшее стекло и замер в восхищении: темно-зеленая лужайка ковром выстилалась под стеной гигантских берез и елей, свешивавших ветви до самой земли.

Прильнул к окну, чтобы увидеть вершины деревьев, пронизанные солнцем и дрожащие в изумрудном блеске.

Ни парк Сан-Суси под Берлином, переливающийся восхитительной гаммой красок деревьев и кустов, искусно подобранных художниками, ни замечательный ботанический сад в Лондоне, ни венский парк Пратер никогда не хватали так за сердце, не вызывали такого жадного желания жить, действовать, радоваться, как созданные самой природой-матерью тенистые, душистые лесные заросли, звонкая тишина соснового бора и играющая изумрудными бликами березовая роща.

— Хорошо! — воскликнул Владимир Ильич, подошел к столу, оперся ладонями, чтобы еще раз почувствовать упругость и прочность этого дивного сооружения.

За стеной слышались приглушенные голоса, звякала посуда, погромыхивали ухваты и заслонки.

Владимир Ильич привел в порядок комнату и собирался уже сесть за стол, как к нему постучали, пригласили завтракать.

В кухне за столом сидела вся многочисленная семья Парвиайненов. Когда гость вошел, дети вскочили и выстроились в ряд.

— Познакомьтесь с моим семейством,— пробасил довольным голосом Петр Генрихович.— Только мои ребята не говорят по-русски, выросли в финской деревне.

— Вернер! — окликнул отец.

Семилетний мальчуган, теребя в смущении длинную холстинковую рубашку, вежливо поклонился:

— Хювя пяйвя! («Здравствуйте!»)

Владимир Ильич протянул ему руку и осторожно пожал маленькую доверчивую ладонь.

— Эверт!

Девятилетний мальчик, не спуская больших любопытных глаз с гостя, кивнул головой, словно хотел боднуть его.

— Фердинанд!

— Иван!

Владимир Ильич узнал в мальчике шестнадцати лет своего ночного кучера Вяйно.

— Владимир!

Оказывается, здесь есть даже тезка, мелькнула мысль. Но он был здесь Константин Петрович или «эно Коости» — дядя Костя, как отрекомендовался он детям.

— Эдвард!

Шестеро сыновей было в этой дружной семье.

— Анна,— сказал как-то особенно ласково отец и погладил по голове девочку лет двенадцати с русой косичкой.

Анна сделала книксен.

— Ну, а мою Люли, старшую, вы знаете.

Владимир Ильич жил до этого в семье Емельянова, в ко-

торой было семеро сыновей. В семье Парвиайнена — шестеро сыновей и две дочери. Владимир Ильич всегда удивительно легко чувствовал себя в большой семье и умел быстро устанавливать дружеский контакт с каждым из ее членов. Это напоминало ему привычную обстановку детства. В семье Ульяновых за стол садились восемь человек: шестеро детей и родители.

— Богатая у вас семья,— заметил Владимир Ильич, обведя глазами сидящих за столом мальчишек и девочку.

— Не жалуемся,— ответил степенно Петр Генрихович.— Лучше много детей, чем мало. Забот с ними меньше. У матери под рукой на все дела помощники есть.

— Да,— сказала Анна Михайловна,— бывают же такие неудачливые люди, которым бог посылает только одного ребенка. Он хоть и при родителях, но без братьев и сестер всегда сирота и вырастает нелюдимым, себялюбцем, как горбатый. А у нас скучно не бывает.

Владимир Ильич подавил вздох. Сколько лет мечтали они с Надеждой Константиновной о детях, но «бог не послал». «Не собирается ли прилететь птенчик в ваше гнездо?» — спрашивала в письме его мать Мария Александровна, когда они жили в Шушенском. «...Никакой пташечки что-то прилететь не собирается»,—отвечала ей грустной шуткой Надежда Константиновна и не переставала надеяться, что у них будут дети — и не один, а много-много детей. И когда высказывала заветную мечту своей подруге Зинаиде Павловне Кржижановской, та с сомнением спрашивала: «А не помешают ли дети революционной работе?» — «Что ты,— смеялась Надежда Константиновна,— помощники будут расти».

И это была правда. Ведь не помешали семеро сыновей супругам Емельяновым неутомимо заниматься революционной работой.

10. «А ВЫ ВЕРИТЕ?»

После завтрака Рахья с женой и Шотман должны были поехать в Петербург. На станцию Териоки отправился и старший сын Эдвард за газетами. Он поехал на стареньком велосипеде, чтобы быстрее привезти газеты гостю.

Петр Генрихович вывел из сарая запряженную в плуг лошадь: собирался поднимать целину за домом.

Вонзив сильным движением лемех под кочку, Петр Генрихович легонько приказал лошади: «Эгхе!» И за плугом стала отваливаться ровным пластом вспоротая земля.

— Разрешите мне попробовать,— подошел Владимир Ильич.

Он ухватился за ручки, плуг подпрыгнул, лемех скользнул по кочке, сделал кривую борозду, лошадь даже с ноги сбилась.

Владимир Ильич остановился.

— Что-то у меня не получается,— с досадой сказал он.

Петр Генрихович передал плуг Фердинанду, сам присел на валун и пригласил Владимира Ильича.

— Все сначала очень трудно. Мне тоже земля не поддавалась. И скажу вам, Константин Петрович, с земли на завод легче переходить, чем с завода на землю. Посмотрите, какое здесь раздолье, красота неоглядная. Легкие дышат как кузнечные мехи. Ребятишки на одной картошке да молоке вон какие крепыши растут, а сердце мое, как ржа, тоска гложет.

— Что так? — участливо спросил Владимир Ильич, любуясь гордой посадкой головы старого рабочего. Патриархальную величавость Петра Генриховича немного портили седые прокуренные усы. Но крестьянская одежда не превратила его в землепашца,— уверенность в движениях, во взгляде выдавала в нем пролетария.

Петр Генрихович вытащил из-за пояса коротенькую трубочку, набил ее табаком, закурил.

— Вы сами рабочий человек,— ведь на Сестрорецком, Эйно говорил, работаете?

— Да, да,— пробормотал Владимир Ильич. Даже такая вынужденная ложь, тем более Петру Генриховичу, была для него неприятна.

— Я столько лет проработал на заводе,— продолжал Парвиайнен,— работал как на каторге по двенадцати — пятнадцати часов. У домны стоял. Рубаха от жары дымилась, кожа на лице и руках трескалась, и всегда я мечтал о лесе, о чистом воздухе. Пробьешь, бывало, лётку, хлынет расплавленный чугун, как жидкое солнце, осветит цех алым заревом, а видишь утренние зори в лесу. Поднесешь кружку с вонючей тепловатой водой и о родниковой водичке мечтаешь. Землю для опоки сеешь — об огороде думаешь. Тянуло к земле, в лес, ведь я крестьянский сын, и дом этот по наследству мне от отца достался. А теперь все шиворот-навыворот пошло. Солнце утром встает вон из-за той кромки,— Петр Генрихович показал рукой на лес,— мне кажется, это лётка пробита, чугун пошел; грядку ровняю, комья земли разбиваю, мне кажется, что опоку готовлю. Чертовщина какая-то. И завод уже не каторгой, а родным домом вспоминается. Вот что значит привычка... Хорошо бы день на заводе поработать, другой — в земле повозиться...

— А потом за книжкой посидеть,—подхватил Владимир Ильич.

— Вот, вот. Я к книжкам в Питере приохотился и сейчас без газеты не могу. Про политику люблю читать, хоть ни в каких партиях не состою. Плеханова даже читал, Ленина...

Владимир Ильич насторожился.

Парвиайнен выколотил трубку о пенек, притоптал пепел и продолжал:

— А теперь про Плеханова что говорят? Против революции, против рабочих он теперь. Ведь вроде сам когда-то за революцию ратовал, научно доказывал, а теперь что пи-

шет? Не дорос, говорит, рабочий до того, чтобы власть в руки брать, предлагает ее как яблочко на золоченом блюдечке буржуазии поднести.

Владимир Ильич вздохнул.

Восхищение тем, прежним Плехановым не исчезло; он нежно любил и глубоко почитал Плеханова-марксиста, а теперь ведет против него яростную борьбу. Ведет борьбу не против личности, борется против чуждого рабочему классу мировоззрения, отстаивая единственную революционную правду, в которой уверен, непоколебимо уверен. Но такой уж характер у Ленина — порывая с человеком политически, он рвал и личные связи, и дружеские отношения, хоть и было это не легко, не просто.

— Ну, Плеханов, бог с ним,— услышал Владимир Ильич последние слова Парвиайнена.— А вот Ленин...

Владимир Ильич вздрогнул и пытливо посмотрел в лицо Парвиайнену.

Петр Генрихович, оглянувшись на малышей, строгавших неподалеку палочки, перешел на шепот:

— Вот о Ленине пишут, что германскому генеральному штабу он служит, капиталы нажил на этом. А мне, знаете, не верится. И Люли не верит, а Эйно, тот просто горло готов перегрызть тому, кто плохо о Ленине скажет.

Парвиайнен искоса взглянул на своего гостя, увидел, как он помрачнел, и понял это по-своему.

— А почему вы молчите? Вы что, верите, что Ленин шпион?

Владимир Ильич поднялся на ноги, до боли стиснул парик на висках:

— Нет, я не верю. Я слишком хорошо знаю Ленина.

— Ну! — обрадовался Парвиайнен.— Он вам лично известен? Расскажите о нем. Расскажите мне так, чтобы я мог и другим о нем правильное слово сказать, а то кричишь, огрызаешься, а ответить на эту клевету хочется так, как бы ответил сам Ленин.

Владимир Ильич смотрел куда-то вдаль, заложив большой палец за поясок рубашки, а потом, глядя прямо в глаза Парвиайнену, сказал:

— О всех своих делах Ленин всегда отчитывался перед партией. И где бы он ни был — в тюрьме, в ссылке, в эмиграции, в подполье,— работал для рабочего класса, для революции.

— Это ясно,— ответил задумчиво Парвиайнен.— А зачем Ленин поехал в Россию через Германию, ведь мы воюем с немцами?

— И в этом он отчитался не только перед партией, но и перед всем народом,— ответил Владимир Ильич.

И он поведал старому рабочему, как по возвращении из эмиграции Ленин опубликовал отчет «Как мы доехали». Английское правительство не дало возможности Ленину и другим революционерам, выступившим против захватной войны, вернуться на родину через Англию. Эта возможность была предоставлена только Плеханову, который призывал рабочих воевать во имя интересов капиталистов. Временное правительство отказалось помочь Ленину вернуться в Россию. Оставался один путь, через Германию, и швейцарские товарищи добились согласия немцев пропустить Ленина и других революционеров в обмен на германских пленных.

— Правильно поступил Ленин,— твердо сказал Парвиайнен.— Как он мог оставаться в Швейцарии, когда здесь такое заварилось!.. И сказки про ленинские капиталы, я думаю, тоже ложь.

Владимир Ильич усмехнулся. Надежда Константиновна и ее мать получили в наследство две тысячи рублей. Жили на эти деньги втроем три года и еще уделяли из этих денег на газеты, книги, на связь с Россией. Осенью 1916 года деньги кончились, жили почти впроголодь. Владимир Ильич писал тогда в Стокгольм товарищу: «О себе лично скажу, что заработок нужен, иначе прямо поколевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем...»

Но ничего этого не сказал Парвиайнену Владимир Ильич. Он объяснил главное, что клевета против Ленина — это клевета против большевиков, и нужна она буржуазии для того, чтобы убить веру рабочего класса в большевистскую партию, задушить революцию.

Парвиайнен был взволнован.

— Но ведь так легко было Ленину разоблачить всех клеветников, может быть, стоило подать на них в суд?

Владимир Ильич шагал перед Парвиайненом, подбрасывая носком башмака сухие еловые шишки. При последнем вопросе старого литейщика он остановился.

— Ленин очень хотел сам предстать перед судом, чтобы разоблачить клеветников. Но... партия запретила ему являться в суд, велела уйти в подполье, укрыться.

Парвиайнен пристально смотрел на Константина Петровича.

— Правильно решила партия, правильно. И если вам доведется встретить снова Ленина, скажите ему, что ни один честный рабочий не верит этой клевете. Ленину верит, партии верит. Правильный и чистый он человек. Но разве может он теперь распоряжаться своей судьбой? Его судьба — это судьба рабочего класса, его кровь — наша кровь. И вот что я должен сказать вам, Константин Петрович: когда будет наша, рабочая власть, и отомстим же мы всем этим барским холуям, крепко отомстим.

— Нет, Петр Генрихович,— горячо воскликнул Владимир Ильич,— пролетариат мстить не будет! Мы будем делать все по закону, сметая с нашего пути то, что мешает идти нам вперед, ничего не будем делать из низменного чувства мести.

Парвиайнен задумался.

— Может быть, вы и правы. Пролетариату прежде всего нужен ум, а в сердцах можно натворить много лишнего. Ну, видите, Фердинанд уже закончил работу, пойду проверю.

— И я пойду поработаю,— сказал Владимир Ильич.

Он быстро шагал к домику, и на сердце у него было легко, почти празднично.

Старый Парвиайнен стоял и, набивая трубку, смотрел ему вслед, и под прокуренными усами вздрагивала улыбка.

«Правильный, чистый человек», — с нежностью сказал про себя старый литейщик.

11. ПО-ОТЦОВСКИ

Работа над книгой «Государство и революция» продвигалась. Сегодня работалось особенно споро. Прижимая время от времени парик к вискам — ненавистный парик, он все время напоминал о себе, а в жаркий день был просто нестерпим,— Владимир Ильич писал. Увлеченный работой, он машинально передвигал бумагу то вправо, то влево, чтобы избавиться от тени, которая ползала по столу. Наконец поднял голову и увидел два приплюснутых к стеклу носа и две пары светлых глаз, внимательно следивших за ним. Это были его маленькие друзья — Вернер и Эверт, он обещал им пойти по грибы. Владимир Ильич щелкнул пальцем в стекло и кивнул: сейчас, мол, выйду. Действительно, пора было передохнуть.

У порога кухни стояла Анна Михайловна и, вытирая руки о край передника, что-то тихо выговаривала своим мальчикам по-фински.

— Ну вот, помешали вам, Константин Петрович. Как ни гоню их в лес, без вас не хотят идти.

— И правильно делают,— сказал Владимир Ильич,— мне самому страсть как хочется прогуляться.

— Ну, если так, то идите.

— Для разговора мне необходимо пополнить мой запас слов,— сказал Владимир Ильич.— Как будет — «пошли домой»?

— Ту́лкка ко́тона,— перевела Анна Михайловна.

— Брусника?

— Пу́булукка.

— Леший?

— Ме́тсянхалтия.

Владимир Ильич повторял финские слова, мальчишки смеялись. Вернер даже дрыгал ногой — до чего смешно произносил финские слова дядя Коости.

Подбежала и Анна с корзинкой в руках. Вернер и Эверт были вооружены деревянными ружьями, которые они, как заправские охотники, носили за спиной. У Эверта в руках, кроме того, была какая-то мышеловка.

— Это что же,— поинтересовался Владимир Ильич,— мы мышей ловить, что ли, собираемся, уж не летучих ли?

Анна Михайловна объяснила, что Петр Генрихович смастерил такую машинку для сбора брусники.

— По одной ягодке когда ее соберешь, а машинка гребнем обдирает ягоды с веток, и они сыплются в проволочную корзинку. На нашу семью брусники на зиму много требуется, и урожай в этом году богатый.

Анна пошла вперед. Вернер и Эверт шли рядом с Владимиром Ильичем, как оруженосцы. Они видели, что дяде Коости очень нравятся их ружья и он хорошо вникает во все их ребячьи дела.

Они рассказывали разные интересные истории про этот лес и по глазам видели, что дядя Коости все понимает: в них то лукавинка засветится, то они в страхе округлятся, то в удивлении широко раскроются. Очень хорошо понимал их дядя Коости.

И шли они все не просто на прогулку, а по делу: мать велела собрать два ведра брусники и кошелку грибов. Все это пойдет впрок на зиму.

На опушке леса стояла красавица береза, свободно раскинув ветви.

Владимир Ильич закинул голову и, придерживая кепку, надвинутую на парик, окинул ее взглядом.

— Ми́тэ тэ́мя он? («Что это такое?») — спросил он.

И ребята хором ответили:

— Се он ко́йву («Это береза»).

— Хю́вя койву («Хорошая береза»).

— Ойкен хювя («Очень хорошая»),— согласились ребята.

И Вернер, указывая пальцем на младшего брата, рассказал, что когда Эверт был маленький, а теперь ему уже девять лет, он полез на эту березу и свалился, и на лбу выросла «вот такая шишка!».

— Было больно? — поинтересовался Владимир Ильич.

— Пустяки! — махнул рукой Эверт.

Когда шишка зажила, Эверт снова полез на березу и среди листвы нашел гнездо, и в нем были маленькие птенчики, которые пищали и широко раскрывали клювы. Но Эверт не обидел птенчиков, потому что из них вырастут хорошие птицы, добрые помощники человека.

А потом Эверт показал дяде Коости на дорогу, которая вилась вниз по спуску. Внизу было озеро Питкяярви. Озеро всегда темное, заросшее ряской, и люди в нем не купаются. Много страшных историй поведали ребята дяде Коости про это озеро. А когда Эверт пошел вперевалку и зарычал, дядя Коости понял, что в этом лесу водятся медведи и нужно быть осторожным.

Конечно, этот дремучий бор с лиловым ковром вереска под ногами был населен, как все леса на земле, добрыми и злыми волшебниками, и почему-то злых было всегда больше, чем добрых. Поэтому и вооружились Эверт с Вернером ружьями и жаждут встречи с лешим, а почему-то он все им не попадается, но, может быть, сегодня посчастливится, вырастет перед ребятами злой колдун, и они сумеют постоять и за дядю Коости, и за сестру Анну.

Анна застенчиво вступала в разговор, то подтверждая, что все рассказы про леших чистая правда, то лукаво грозила братьям пальцем, чтобы особенно не завирались. Среди

вереска нашла запоздалый колокольчик, сорвала его и поднесла дяде Коости.

Под ольхой Владимир Ильич заприметил большой белый гриб, шагнул к нему, но Вернер живо снял с плеча ружье и с размаху прикладом вдребезги разбил шляпку гриба, словно врага сразил.

Владимир Ильич покачал укоризненно головой: зачем такое озорство — уничтожить чудесный боровик.

— Ей хювя («Плохой»), — авторитетно заявил Вернер.

— Митэ тэмя он? («Что это такое?»)

— Се он хе́рккутатти. Ей хювя («Это боровик. Нехороший»).

— Хювя! Ойкен хювя! («Хороший! Очень хороший!») — возразил дядя Коости.

Вернер засмеялся, и Эверт с Анной горячо пытались объяснить дяде, что гриб этот несъедобный, тьфу, поганка, одним словом.

Но если им теперь попадался боровик, они подзывали дядю Коости и видели, какое доставляет ему удовольствие осторожно срезать с толстой ножки гриб. Зато дети не проходили мимо лисичек и с таким же азартом срезали их и наполняли корзины. Владимир Ильич лисичек не брал, но, завидев их семейство, рассевшееся в вереске оранжевым кольцом, подзывал ребят. Среди вереска все чаще стали появляться темно-зеленые островки брусничных зарослей, а вскоре пошли целые плантации брусники.

— Пуолукка! («Брусника!») — закричали в восторге ребята.

Всякие разговоры кончились. Началась серьезная работа. Анна и Вернер проворно обирали с веточек похожие на крохотные румяные яблочки ягоды. Эверт своей машинкой, похожей на мышеловку, «стриг» ягоды, сдувая плотные, круглые листики, и ссыпал бруснику в ведро.

— Тулкка котона! («Пошли домой!») — сказал наконец Владимир Ильич, и ребята весело с ним согласились.

— Тулкка котона!

И снова защебетали, и опять, тараща глаза, размахивая руками, перебивая друг друга, рассказывали дяде Коости дивные истории — веселые и страшные, но все ужасно интересные.

У опушки под березой их ожидал Петр Генрихович.

— Уфф, — воскликнул он, идя им навстречу, — как вы долго!

— Зато смотрите, с какой мы богатой добычей, — ответил Владимир Ильич. — Ребята почему-то пренебрегают такими замечательными грибами, не берут боровики, подосиновики, подберезовики.

— Финны никаких грибов, кроме лисичек, не признают, — пояснил Петр Генрихович. — Лисички — гриб чистый, в них черви не заводятся, а во всех остальных если не черви, то уж яйца их наверняка заложены... А ну-ка, несите все скорее матери, да живее, она вас ждет, — приказал он ребятам.

От внимания Владимира Ильича не ускользнуло, что Петр Генрихович был чем-то взволнован. Ребята потащили корзины и ведра к дому, а Петр Генрихович взял под руку Владимира Ильича и усадил на скамейке под березой. Он вынул из кармана берестовую табакерку, раскрыл, щелкнул крышкой и снова сунул в карман.

Владимир Ильич насторожился.

Парвиайнен, разглаживая согнутым пальцем усы, тихо проговорил:

— Теперь я знаю... Понимаете, знаю. Вы — не Иванов Константин Петрович. Вы — Ленин.

Наступила минута молчания.

Владимир Ильич поднял голову и взглянул на Парвиайнена. Из-под нависших седых бровей Петр Генрихович смотрел на него нежным отцовским взглядом.

— Гм... да... — начал было Владимир Ильич.

Но Парвиайнен знаком руки остановил его:

— Ни-ни! Тсс... ничего не говорите, дорогой Владимир Ильич. Никаких слов не надо. Все понимаю. Только вы меня простите, старого дурака, что вчера вот так пытал вас, так бесцеремонно расспрашивал о вас самом и не понимал, какую боль вам причиняю.

— А я думаю, Петр Генрихович, что это был для нас с вами очень полезный разговор.

— Да, да, для меня очень полезный урок. Будьте спокойны, Владимир Ильич, старый Парвиайнен вас не подведет. Только одного вас теперь я ни в лес, ни на озеро не пущу. Нет, нет,— решительно заявил Петр Генрихович.

— Спасибо!

— Вам спасибо.

— А откуда вы узнали?

— Вот! — Петр Генрихович раскрыл табакерку, вынул из нее кусок газеты. Это была фотография Владимира Ильича, фотография, размноженная в сотнях экземпляров и опубликованная в финской газете.

Петр Генрихович зажег спичку и поднес ее к газетному обрывку. Бумага вспыхнула.

— Это чтобы детям на глаза не попалась. А теперь, Константин Петрович, пошли чай пить, хозяйка нас ждет.

12. ЕСЛИ БЫ НЕ КНИГА...

Люли вошла в вагон, села на свободную скамейку возле окна и развернула томик Силланпяя. Буквы прыгали и расплывались перед глазами. Судьба крестьянской девушки, которая так занимала еще вчера Люли, сегодня ее не интересовала. Она не могла сосредоточиться. В книге между страницами заложены листочки, исписанные мелким почерком, — статьи Владимира Ильича в газету, зашифрованное письмо в Центральный Комитет партии и длинная узенькая записка для Надежды Константиновны.

Владимир Ильич сказал, что это очень важные бумаги, «архиважные». Люли сидит и до боли в пальцах сжимает книжку.

Напротив нее — двое мужчин, очевидно дачники. Люли, не поднимая глаз от книги, видит две пары ног. Одни в модных туфлях и гетрах, болтающиеся ноги, не достающие до пола, и другие в мягких прюнелевых ботинках, далеко выдвинутые вперед, и между ними трость с резиновым наконечником, на которую, очевидно, опирается этот господин. «Коротыш и Длинный»,— определила для себя Люли.

Оба молча шуршали газетами. Коротыш переворачивал страницы с шумом, перекидывая каждый раз ногу за ногу, Длинный делал это бесшумно, каким-то плавным движением.

— Да, сейчас дела на фронте должны круто перемениться,— складывая газету, сказал Коротыш.

— Я верю в это,— отозвался его собеседник.— Восстановление смертной казни на фронте, несмотря на всю свою трагическую мрачность,— весьма мудрое решение. Но это только одна из составных частей сложной задачи оздоровления духа русского войска.

«Буржуи проклятые,— подумала Люли,— им мало того, что убивают солдат на фронте, так они еще сами готовы их расстреливать».

— Надо полагать, что Государственное совещание оздоровит не только дух русского войска, но и вообще всю затхлую атмосферу в России.

— Я думаю выступить на этом совещании,— веско сказал Длинный, и для Люли не оставалось сомнений, что перед ней сидят люди из чужого лагеря.

Люли знала, что Временное правительство созывает это совещание в Москве (в революционном Петрограде не решились), созывает, чтобы мобилизовать силы контрреволюции, уничтожить партию большевиков, утвердить военную диктатуру буржуазии.

Партия большевиков уже сказала свое гневное и решительное слово против этого совещания.

— О, это будет весьма ценное выступление,— льстиво заметил Коротыш,— весьма ценное. Каково же будет ваше кредо?

Господин в прюнелевых ботинках покрепче оперся на палку:

— Я буду призывать к соглашению между пролетариатом и буржуазией. Я обращусь направо — к торгово-промышленному классу и скажу им, что настал такой момент, когда в интересах всей России и в их собственных интересах искать сближения с пролетариатом. Я обращусь налево и напомню, что я сорок лет работаю под революционным знаменем и мне можно верить...

Люли вздрогнула и совсем низко опустила голову над книгой. Кто же это такой, кто так кичится своей революционностью и будет участвовать в контрреволюционном сговоре с буржуазией? Наверно, меньшевик.

Длинный продолжал:

— Если не будет такого соглашения, то придет ваша гибель — обращусь я направо, и ваша гибель — обращусь налево. Я напомню им ирландскую легенду о двух кошках, которые так упорно и так жестоко дрались, что от них в результате остались одни только хвосты... На этом совещании мы покончим с Лениным, нокаутируем его. Он выйдет из игры...

Коротыш хихикнул.

Люли сжалась от негодования. Теперь не было сомнений, что перед ней сидят напуганные насмерть революцией меньшевики.

Коротыш продолжал хихикать.

— Вы что это так развеселились? — спросил его Длинный.

— Вы говорили про кошек, а я вспомнил про кота. Помните, в далекие годы эмиграции вы тоже собирались покон-

чить с Лениным, и один из ленинцев нарисовал тогда весьма забавную карикатуру: «Как мыши кота хоронили». Ленин был изображен котом, которого отпевают мыши, и как потом этот кот слопал всех мышей, певших ему отходную.

Коротыш залился смешком, словно вниз по лестнице запрыгал.

— Смеется тот, кто смеется последний, уважаемый Григорий Александрович, а вам смеяться вовсе не следовало бы. Вы взялись уничтожить Ленина, объявили его шпионом, чуть ли не на Евангелии клялись, что он служит германскому генеральному штабу. А что получилось? Голос Ленина звучит все громче, и самое большое несчастье будет для России, если пролетариат под влиянием Ленина победит. Против Ленина не полицейскими мерами надо действовать, а по-ли-тическими,— сказал он раздельно.— Когда мы сумеем помирить пролетариат с торгово-промышленным классом, так сказать, свяжем их вместе, Ленин со своими единомышленниками окажется раздавленным.

— Не говорите «гоп»... За ротозейство этой старой вороны контрразведки я не отвечаю. Если бы они его вовремя арестовали, тогда бы вам нечего было делать на этом Государственном совещании. Ленин бы не существовал сейчас ни политически, ни физически.

Ах, если бы не книжка! Если бы не строгий наказ Владимира Ильича и чувство ответственности, Люли сейчас наговорила бы...

«Спокойно, спокойно. Сосчитай до двадцати, как учит Эйно, за это время овладеешь собой».

Но, наверно, Люли чем-то обратила на себя внимание.

— Барышня интересуется Силланпяя? — раздался голос над ее головой.— Что вы читаете? Разрешите посмотреть.

Люли делает вид, что не слышит, только кровь медленно заливает лицо, начинают пылать уши.

— Барышня, разрешите посмотреть,— уже настойчиво требует Коротыш.

Люли вскидывает глаза.

— Ух, какая сердитая!

Сердце у нее остановилось. Перед ней сидел Алексинский.

Она знает его, слушала его речи, его портреты одно время не сходили со страниц газет. Тот самый Алексинский, который затеял всю эту гнусную клеветническую кампанию против Ленина.

«Люли, улыбнись»,— уговаривала она себя, а вместо этого губы сжались в презрительной гримасе, глаза расширились от страха, гадливости.

— Я вас не понимаю,— бормочет Люли по-фински.

— Милашка чухоночка,— говорит Алексинский и протягивает руку за книжкой.

Люли проворно прячет книгу за спину, даже поджимает ноги, словно готовится к прыжку. Прижалась к деревянной спинке, смотрит на Алексинского злющими глазами.

— Оставьте, бросьте ваши шалости, Григорий Александрович. Разве вы не видите, как перепугали эту милую девушку,— журчит бархатный голос.

— Дикарка! Чухонка! —с нескрываемым раздражением произносит Алексинский.

Он видит в глазах девушки неприязнь, презрение лично к нему, Алексинскому.

Грамотная женщина, читает Силланпяя — прогрессивного финского писателя, она не может не знать его, Алексинского. Сколько презрения в ее глазах...

А Люли, прижав к себе книгу, поднимается с места, быстро идет к выходу вагона, наклонив пылающее лицо. Лишь бы удержаться, не назвать этих людей их подлинными именами, не сказать, как она их ненавидит.

13. ШАРАДА

На углу переулка Люли нагнулась, будто зашнуровать ботинок, быстро огляделась. «Хвоста» не было. Подошла к одноэтажному дому, толкнула калитку в палисадник, поднялась на крыльцо. Руки дрожат, и ключ не попадает в замочную скважину. Наконец дверь открыта. Люли прошлась по комнатам. Никого. Товарищ мужа дал ей ключ от своей квартиры. Он живет сейчас у родственников, а здесь Люли встречается с Надеждой Константиновной. Люли села за стол, не выпуская из рук книги.

Послышались легкие шаги на крыльце и дробный стук в дверь. Это Надежда Константиновна. Люли поспешно открывает дверь и, едва пробормотав «здравствуйте», начинает рассказывать о своей встрече в вагоне.

— Алексинского я узнала сразу,— заключает она свой рассказ,— узнала его по коротким ногам и длинным рукам. Лицо второго — он такой... барственного вида, с бородкой,— тоже показалось знакомым. Мне даже почудилось, что это был Плеханов. Но возможно ли это?

— Вполне возможно,— спокойно ответила Надежда Константиновна.— Это мог быть Плеханов или кто-то из его единомышленников. Это его мысли, его теперешняя позиция. Но это не тот Плеханов, которого Ильич почитал. Нынешний Плеханов — ренегат, изменник делу рабочего класса, и с ним Ильич ведет жестокую борьбу.

— Но как мог он превратиться из марксиста в ярого врага рабочего класса? Ведь это надругательство над самим собой, над своим учением.

Надежда Константиновна задумалась.

— Георгий Валентинович бо́льшую половину своей жизни провел вдали от родины. Он представляет себе русский рабочий класс таким, каким он оставил его тридцать семь лет назад, не сумел разглядеть, как возмужал за это время пролетариат, совершивший две революции. Наверно, и воз-

раст дает себя знать, ведь ему уже шестьдесят... Ну, а этот проходимец и скандалист Алексинский нам давно известен, Ильич всегда относился к нему с какой-то брезгливостью. Один вид его чего стоит — эти короткие ноги и непомерно длинные руки с обгрызенными ногтями. Фу!.. Ну, что вы привезли?

Люли стала листать книжку. Статья, заложенная по листкам между страницами, наконец собрана. А где же шифрованная записка? Она была написана на папиросной бумаге. Люли теребит книгу, трясет ее, ухватив за корешок. Надежда Константиновна успокаивает:

— Да вы не волнуйтесь. Никуда она не денется. Я уж по себе знаю. Никогда ничего не теряла, а волноваться приходилось.

Наконец шифрованный листок и длинная узенькая записка для нее, Крупской, извлечены из книги.

— Расскажите-ка мне, как он там? Волнуется, поди, когда почта задерживается? Сердится на нас?

— Владимир Ильич волнуется? — удивилась Люли.— Вот уж нет! Отдыхает, ходит с ребятами купаться, за грибами, и разве он умеет сердиться? А впрочем, умеет,— спохватилась Люли, вспомнив, как разносил Владимир Ильич Эйно и Шотмана за то, что они не выяснили расписания поездов, не проверили дорогу через болото.

— О, еще как умеет! — рассмеялась Надежда Константиновна.— Неужто все гуляет да купается? И даже не работает?

— Нет, работает, конечно. Утром работает, пока ребята спят, потом идет с ними на озеро или в лес и опять за работу. После обеда любит с папой поговорить — они очень подружились — и снова садится за стол, и уж не знаю, сколько он работает. Мы ложимся спать, а у него все еще свет горит.

— Я здесь ему чистое белье принесла, кое-какие книги. Все это можете везти свободно, а вот этот пакет от Центрального Комитета, эта записочка от меня. Спрячьте ее в

книгу. На словах передайте, что все мы живы и здоровы и очень хочется мне его повидать, но боюсь — притащу за собой «хвост». В общем, пусть сам решает. А теперь посмотрим, что он мне пишет...

Надежда Константиновна развернула длинную, узенькую полоску, пробежала ее сверху вниз глазами, а потом снова принялась читать, вдумываясь в каждое написанное слово.

— Собирается менять позицию? — спросила она.

— Да, к сожалению, Шотман должен на днях за ним приехать.

— Хорошо ему у вас и трудно. Газеты поздно приходят, со связью сложно.

Надежда Константиновна расправила рукой длинную полоску и углубилась в чтение.

Владимир Ильич писал:

«Лента для шляпы (черная лента)

порошок зубной (белый, *мел*)

машинка для стрижки волос (с нолевым номером)...

хлеба

план Гельсингфорса...

иголку и черные нитки

конвертов простых

«Социал-Демократ» № 47

красный и синий карандаш

перочинный ножик...

перья

ручка

мои тезисы о политическом положении (съезду)

полиглот шведский и финский...— читает Надежда Константиновна,— шифр, условные открытки».

— Что это вы читаете так долго или записка шифрованная?

Надежда Константиновна улыбнулась:

— Пытаюсь понять ход его мыслей, его планы на будущее.

Она, как шараду, разгадывала перечень предметов, изложенный в записке.

— Просит прислать план Гельсингфорса — значит, перебирается туда. Машинка для стрижки волос — это чтобы из-под парика не вылезали его рыжеватые «кудри». Иголку и черные нитки — любит сам себя обслуживать, и, наверно, пуговицы на пиджаке не хватает. Полиглот шведский и финский — предпочитает обходиться без переводчика, с помощью словаря. Красный и синий карандаши — необходимы для работы с газетами. Просит прислать тезисы о политическом положении (съезду), речь на съезде Советов о войне, статью «К оценке 3—4. VII», статью Рейнштейна,— очевидно, собирается составить обзор последних событий в партии. Для кого? Вероятно, для Заграничного бюро ЦК. Для переписки нужен шифр и условные открытки.

Открытки тоже важный способ общения с товарищами по партии, с ней, Надеждой Константиновной. Пришлет, скажем, открытку с букетом роз — это будет означать, что необходимо срочно послать к нему курьера, а открытка с какими-нибудь безобидными барашками будет означать, что переменил местожительство и новый адрес нужно искать в следующем письме, написанный химическими чернилами.

И еще просит Владимир Ильич хлеба. Надежда Константиновна вспомнила далекие времена, когда она носила ему в тюрьму мягкий хлеб, чтобы он лепил из него «чернильницы», и молоко, которым он писал между строчек первую партийную программу. Сейчас ему хлеб нужен просто для того, чтобы есть. В Петрограде с хлебом плохо и в Финляндии, очевидно, не лучше, и Владимир Ильич не хочет обременять людей, у которых будет жить. «Надо насушить ему сухарей»,— думает Надежда Константиновна. Но вот зачем ему понадобилась черная лента на шляпу? Ведь теперь не носят черных лент — серые, коричневые, но не черные.

— Вы не знаете, зачем ему черная лента на шляпу?

— Нет, он ничего мне об этом не говорил.

Надежда Константиновна пожала плечами и снова вчитывается в строчки, чтобы что-нибудь не упустить.

Люли засовывает листики в книгу.

— Книга стала тяжелая, как чугун,— взвешивает она ее на руке.

— А вы ее держите в сумке, не читайте, а то опять какой-нибудь тип поинтересуется — попросит показать. Читайте другую книгу, которую можете и в вагоне забыть.

— У меня тогда на сердце будет неспокойно, если книга не в руках.

— Спокойно никогда не будет, мы сумеем найти повод для беспокойства,— засмеялась Крупская.— Ну, в добрый путь. Жду вас послезавтра здесь же в одиннадцать часов утра.

14. СНОВА ПРОМАХ

Итак, надо было двигаться дальше, в большой город, в Гельсингфорс, где легче затеряться, откуда удобнее установить связи с Питером, с товарищами.

И снова Александру Васильевичу Шотману поручается организация переезда Ленина. Неутомимый выдумщик и опытный конспиратор, он на этот раз предлагает Владимиру Ильичу ехать в качестве... пастора.

— Пастора? — удивился Владимир Ильич.— Что это вам в голову пришло?

— Только пастором, и никем иначе, и сейчас объясню почему. Во-первых, никому в голову не придет искать Ленина среди духовенства. Юнкера с ног сбились и ищут вас среди рабочих. Во-вторых, пастор в Финляндии личность весьма почитаемая и неприкосновенная, и в-третьих, вы ведь по-фински не говорите? Поэтому в случае чего — шпарьте по-латыни, в латыни вы можете состязаться с самим папой римским. И в-четвертых, Владимир Ильич, я на этот раз так все продумал и организовал, что комар носу не подточит.

Не будем менять план. Гримировать вас приедут специалисты из Гельсингфорса.

— Что за гримеры?

— Верные товарищи, рабочие, социал-демократы. Политически безукоризненны.

— А пастора-то сделать они из меня сумеют?

— Я же сказал — специалисты.

Владимир Ильич согласился, написал записку Надежде Константиновне.

В субботу вечером приехали два финна. Это были участники самодеятельного театра Народного дома в Гельсингфорсе, социал-демократы. Им было дано партийное поручение: загримировать под пастора одного русского большевика и сопроводить его до финского города Лахти.

Петр Генрихович встретил весть об отъезде дорогого гостя с явным огорчением. Ребята ничего не знали и ложились спать в этот субботний вечер с надеждой, что завтра чуть свет отправятся с дядей Коости за грибами.

Анна Михайловна принялась стряпать прощальные пироги.

Один из актеров — высокий и стройный, с красивой белокурой шевелюрой — несомненно исполнял роли «сердцеедов». Второй, плотный, медлительный, с длинными залысинами на висках, очевидно, играл злодеев. Первого звали Кустаа, второго — Карл.

— Ну, примемся за дело,— сказал Владимир Ильич, усаживаясь на стул.

Петр Генрихович принес осколок зеркала.

— Вы хорошо знаете, как должен выглядеть пастор?— поинтересовался Владимир Ильич.

— О да,— не без профессиональной гордости ответил Карл.— Я сам играю пастора, это мой коронный номер. Я вас сделаю точно для сцены.

— А мне бы хотелось, чтобы было как в жизни,— заметил Владимир Ильич.

Петр Генрихович стоял на пороге комнаты, посасывал трубку, выпуская дым в приоткрытую дверь.

— У меня есть фотография пастора,— сказал он.— Когда у Люли была конфирмация, их сфотографировали вместе с пастором. Сейчас поищу.

Между тем Карл стал накладывать грим на лицо Владимира Ильича.

Петр Генрихович принес фотографию. На ней было изображено несколько мальчиков в черных мундирах и девочек в белых платьях, в числе их и Люли. В середине сидел пастор в длинном балахоне с широченными рукавами, схваченными у запястий манжетами, под коротко подстриженной бородкой белый воротничок со спускающимися на грудь длинными концами, и на толстой цепи крест. Голова у пастора была совершенно лысой.

— Что же, мне придется надевать эдакое широкое платье да еще крест на шею? — поморщился Владимир Ильич.

— Нет,— ответил резонно Карл.— На улице пастор ходит в длинном сюртуке и с этим белым воротничком. Крест и мантию носит только во время богослужения.

— А на шляпе с высокой тульей черную ленту? Так ведь? Шляпа у меня есть, а черную ленту мне сегодня привезут,— сказал Владимир Ильич.— Ну что ж, сделайте меня под этого пастора.

Карл, растирая грим на лбу, сдвинул парик, снял его и ахнул:

— У вас отличная лысина, совсем как у этого пастора.

Владимир Ильич покачал головой:

— Нет, мне непременно нужен парик.

В чемоданчике у актеров нашелся черный как смоль парик. Волей-неволей пришлось согласиться стать жгучим брюнетом.

Актеры работали старательно. Когда Владимир Ильич взглянул на себя в зеркало, он звонко рассмеялся:

— Ну, знаете! Я больше похож на грабителя с большой

дороги, чем на почтенного пастора. Нельзя ли сделать внешность более благообразной?

Актеры работали ножницами, клеем, щетками, и скоро Владимир Ильич вообще перестал узнавать себя в зеркале.

В чемодан были уложены облачение, молитвенник, крест. В отдельный саквояж Владимир Ильич уложил рукописи, книги, тетради. Этот саквояж должен был везти Шотман, который поедет тем же поездом.

Владимир Ильич взглянул на часы. С минуты на минуту должна была прийти Люли, она привезет ему от Надежды Константиновны заказанные им предметы.

Все уселись за ужин, но Владимир Ильич в своем гриме не отважился попробовать ни пирогов с оборкой, ни рыбы, и Анна Михайловна завернула ему пакет с собой.

Люли вошла, запыхавшись, сняла с себя шапочку и жакет и с удивлением посмотрела на незнакомых ей людей.

— Познакомься,— сказал Петр Генрихович, сдерживая усмешку в усах,— это наши гости из Гельсингфорса.

Люли удивилась, что среди знакомых отца оказался пастор, каждому подала руку.

Пастор задержал ее руку в своей.

— Не узнаете? — тихо спросил он.

Люли пожала плечами:

— Нет, не могу припомнить, чтобы я вас видела.

Все громко рассмеялись, и Люли окончательно смутилась.

— Посмотрите внимательно на меня, дитя мое! — нараспев произнес Владимир Ильич.

И Люли ахнула:

— Константин Петрович!

Карл с довольным видом приглаживал на висках реденькие волосы. «А вы еще сомневались — могу ли я»,— говорил весь его вид.

— Ну просто замечательно! — смеялась Люли.— Я уверена, что ваша супруга вас тоже не узнала бы.

Владимир Ильич с Люли зашли в его комнату. Он с жадностью прочитал письмо Надежды Константиновны, уложил газеты и книги в саквояж. В беленьком мешочке были сухари.

— А ленту привезли? — спросил Владимир Ильич.

— Да,— ответила Люли,— но Надежда Константиновна ломала себе голову — зачем вам понадобилась черная лента на шляпу? Первый раз в жизни, говорит, не угадала вашего замысла...

Поздно вечером двинулись в путь. Петр Генрихович проводил своего гостя до опушки и по-отечески обнял его, Анна Михайловна вслед осенила крестом. Владимир Ильич окинул взглядом поляну и крохотный, похожий на пряничный, домик со светящимися окошками.

— Очень хорошо у вас. Если разрешите, обязательно приеду к вам с женой отдыхать.

— Милости просим,— сказала Анна Михайловна.

— А когда это будет-то? — поинтересовался Петр Генрихович.

— Я думаю, очень, очень скоро,— ответил уверенно Владимир Ильич.

Владимир Ильич, Шотман, артисты и Эдвард спустились с холма, прошли по окраине поселка к озеру Каукярви и сели в лодку. Переправившись на другую сторону, пошли по лесной тропинке к станции Териоки. Отсиживались на опушке леса, чтобы не маячить на платформе. За несколько минут до прихода поезда вышли на перрон.

Шотман купил билеты в два двухместных купе в разных вагонах. В одном ехал Владимир Ильич с Карлом, в другом Шотман с Кустаа, который взял с собой чемоданчик с гримом.

Проводник вагона почтительно поклонился пастору и провел его в купе.

Владимир Ильич сразу улегся на верхней полке. В вагоне было жарко, уже начали топить. Под толстым слоем гри-

ма лицо стало потеть. Сначала Владимир Ильич осторожно прикладывал платок к лицу, а потом расстелил его на подушке и незаметно для себя заснул. Проснулся, когда уже рассветало. Носовой платок был в темных пятнах растаявшего грима, черная волнистая борода лежала отдельно на подушке. Над правым глазом на ощупь Владимир Ильич не обнаружил кустика бровей. Он спрыгнул с полки и разбудил Карла.

Карл мутным взглядом не проснувшегося окончательно человека посмотрел на своего спутника и вдруг разом сел на постели. Глаза его выражали ужас.

— Ах, сатана-перкеле! — бормотал он, шаря по карманам.

Но в карманах, кроме осколка зеркала, ничего не было. Чемоданчик со всеми принадлежностями остался у Кустаа в другом вагоне. А нужен был вазелин, чтобы очистить лицо, грим, чтобы заново загримировать, и клей, чтобы водворить на место бороду и кустик бровей.

Владимир Ильич, поливая из графина на платок воду, с трудом снял с лица жировой грим, отодрал остатки бороды, второй кустик бровей. Черный как смоль парик уже выглядел чужим на посветлевшем безбородом лице. Поезд подходил к Лахти.

Владимир Ильич надвинул шляпу пониже на лоб и вышел в коридор.

Проводник, увидев пастора без бороды, остановился как вкопанный. Владимир Ильич важно поклонился. Прижавшись к стенке вагона, проводник пропустил мимо себя пастора, неторопливо и степенно шедшего по коридору, и решил, что вечером ему просто почудилось, будто пастор был с бородой.

За вокзалом встретились с Шотманом и Кустаа. Александр Васильевич, завидев Владимира Ильича без грима, просто лишился языка.

— Почему вы сняли грим? — спросил наконец Шотман.

— Он сам сполз, и борода отклеилась.— Владимир Ильич выразительно посмотрел на чемоданчик с гримом в руках Кустаа.— Хоть вы и обзавелись очками со шнурочком, но в организации дела снова допустили промах,— сказал Владимир Ильич,— и, кстати, давайте мне теперь мою тетрадь.

Город Лахти был только перевалочным пунктом. На следующий день Владимир Ильич выехал в Гельсингфорс.

15. ТАК БЛИЗКО!

Александр Васильевич пришел к Ровио, когда тот, стоя перед зеркалом, примерял парадный мундир полицмейстера.

— Вот, вот, таким ты мне и нужен! — воскликнул Шотман, завидев друга в мундире, отделанном серебряными галунами и шнурами.

— Во сне не снилось, что я, ненавистник полицейских, вдруг сам окажусь в роли полицмейстера города Гельсингфорса. Черт те что! — смущенно одергивал мундир Ровио.— Но ведь ты знаешь, что товарищи так решили.

— Все знаю. И раз социал-демократы победили на муниципальных выборах, не отдавать же каким-то прапорщикам такого важного поста! Это все на пользу рабочему классу.

— Ты ко мне по делу?

— Конечно. Не любоваться же я на твой мундир из Питера приехал! Тебе как финскому полицмейстеру будет от русских большевиков первое важное задание.— Александр Васильевич подошел вплотную к Ровио и, глядя ему в лицо, серьезно сказал: — Архиважное задание. Только сначала я должен выяснить некоторые вопросы. Прислуга у тебя есть?

— Что ты, какая там прислуга!

— А где твоя семья?

— В деревне.

— Отлично. Значит, живешь один?

— Бобылем.

— Я за тебя поручился Центральному Комитету. Заверил, что ты, как старый питерский рабочий, не подведешь и доверие оправдаешь.

— Ну, выкладывай, чего загадками говоришь.

— Руководство большевистской партии просит тебя укрыть одного дорогого партии и рабочему классу человека.

— Ленина?

— Да.

— Где?

— У тебя в квартире.

Ровио сел, расстегнул ворот мундира.

— Ну, знаешь,— сказал он,— ради этого я готов с гордостью носить полицейский мундир и исправно нести свою службу. Кстати, меня сегодня вызывают в контрразведку Керенского, будут учить уму-разуму, как бороться с врагами внутренними и внешними.

— Прежде всего тебя будут учить, как бороться с большевиками. Так ты веди себя там как полагается. Понимаешь?

— Теперь-то понимаю.

— Ты Ленина в лицо знаешь?

— А как же! И на Финляндском вокзале его встречал, и во дворце Кшесинской слушал. С большой лысиной, рыжеватая бородка, усы, как у нашего Рахьи...

— Вот и нет. Он сейчас без бороды, без усов, и на голове парик, поэтому нужен пароль...— Шотман задумался.—Мне однажды дали замечательный пароль, давно это было, лет семнадцать назад, когда я по делам «Искры» ездил в Псков. Он тебе скажет: «Битва русских с кабардинцами». А ты ему должен ответить: «Или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа». Правда, хитрый пароль? Запомнишь?

Ровио несколько раз повторил.

Шотман ушел, а Ровио, распахнув мундир, ходил из угла в угол. Нелепость и комическая сторона назначения его полицмейстером (правда, генерал-губернатор Стахович утвердил его пока временно исполняющим обязанности гельсингфорсского полицмейстера) отошли на задний план. Назначение приобретало серьезный характер. Мундир полицмейстера не казался уже шутовским нарядом. Он поможет укрыть Ильича. А для него, Ровио, старого питерского рабочего, всю жизнь связанного с большевистской партией, нет чести выше.

Взглянув на часы, он застегнул мундир, надел полицейскую фуражку и отправился на встречу с представителем контрразведки.

Шотман пришел вовремя. Приди он немного позже, Ровио натворил бы беды. Представитель контрразведки, правда, в учтивой форме, но категорически предложил Ровио направить его аппарат на розыски Ленина, который может скрываться в Финляндии. Если бы Шотман не предупредил, Ровио стащил бы с себя ненавистный мундир и бросил его в физиономию этому молодому наглецу. Но теперь он знал, как себя держать.

— Да, да, можете быть спокойны. Приложим все наше старание.

— Вам известно, что за поимку Ленина обещана награда в двести тысяч рублей? — спросил контрразведчик.

— Маловато,— сказал Ровио,— маловато. Поскупились.

— Я был бы счастлив получить и такую сумму,— вздохнул контрразведчик.

— Я понимаю, что не отказались бы. Но дешево...

Вечером Ровио вооружился ведром и тряпкой, вымыл полы, прибрал квартиру, поставил на двери второй замок. Днем сидел у себя в служебном кабинете и прислушивался к телефону. Он ждал звонка социал-демократа Карло Виика, который должен был привезти Владимира Ильича из Лахти в Гельсингфорс.

И наконец этот звонок раздался.

— Что ты делаешь сегодня вечером? — спросил глуховатый голос в телефон.

— Вечер у меня свободный. Заходи, потолкуем.

— Давай встретимся на углу Хагнеспарка, что выходит на площадь, в одиннадцать часов вечера.

— Хорошо,— небрежно ответил Ровио, еле сдерживая волнение.

Около одиннадцати Ровио, в гражданском костюме, был в парке. Дул холодный ветер, моросил дождь. Гуляющих в парке не было. По аллее шли двое. В маленькой, согнутой фигуре, по блеску очков, Ровио угадал Виика. А рядом с ним, свободно и широко шагая, словно наслаждаясь прогулкой, шел он, Ленин.

Ровио по привычке конспиратора прошел мимо, не останавливаясь. Виик на ходу спросил:

— Чисто?

— Все спокойно,— ответил Ровио и, пройдя несколько шагов, убедившись, что за Вииком и Лениным нет наблюдения, повернулся и нагнал их.

Пришли домой. Невозмутимый и не склонный к сентиментам, Виик представил Владимира Ильича, не стал задерживаться и распрощался.

Ровио с гостем сели чаевничать. Владимир Ильич вытащил из мешочка сухари черного петербургского хлеба, ценившегося на вес золота, а по тяжести походившего на пла́тину. Ровио рассмеялся:

— Хлеба я, как полицмейстер, получаю вволю и в муниципалитете могу доставать масло и яйца. Кроме того, мы можем с вами ходить обедать в кооперативную столовую.

Владимир Ильич отрицательно покачал головой:

— Нет, в столовую я ходить не буду. А если вы достанете яиц и масла, я сам сумею сделать завтраки и ужины. Но чем вы должны меня непременно обеспечить, так это газетами — раз.

— Поезд из Питера приходит вечером, и на следующий день утром вы будете иметь все газеты.

— Не утром,— возразил Владимир Ильич,— а в тот же вечер, через час после прихода поезда. Во-вторых, необходимо сегодня же позаботиться о том, чтобы найти верный способ пересылки моих статей и писем в Петербург. Есть у вас такая возможность?

Ровио задумался.

— Да, есть. У меня приятель работает в почтовом вагоне, который курсирует между Петербургом и Гельсингфорсом, тоже бывший питерский рабочий. Знаю его давно.

— Можете быть в нем уверены?

— Абсолютно. Я на днях с ним встречаюсь.

— На днях — это весьма неопределенно, завтра с ним надо послать статью, за которую я сейчас сяду.

Владимир Ильич подошел к письменному столу, вынул из чемоданчика газеты, бумагу, перья, привычно разложил на столе, словно всегда работал за ним.

— Да, скажите, есть ли второй выход из квартиры?

— Есть, черный ход во двор и со двора на другую улицу.

— Есть ли в доме чердак?

— Да.

— Он открыт?

— Не знаю.

— Очень прошу проверить и показать мне. И еще одна просьба: придумайте способ отправить с надежным человеком мое письмо в Стокгольм. Это надо сделать тоже завтра.

— Боюсь, что за завтрашний день я не сумею всего сделать.

— Сделать надо обязательно. Это архиважно. Скажите, я вам не помешаю, если здесь будет гореть свет поздно? Закрывается ли плотно окно шторой?

— Нет. Я перевешу портьеру из другой комнаты.

— Очень вас прошу.

— Это надо сделать сегодня? — спросил Ровио.

— Да, да, давайте это сделаем сейчас же.

— Хорошо ли вам будет здесь спать, может быть, дать еще одно одеяло, вторую подушку?

— Нет, нет, пожалуйста, не беспокойтесь. Стол замечательный, и окно выходит в стену, работать можно отлично. И последняя просьба — обменять мои русские деньги на финские: на покупку газет нам понадобится много марок.

Владимир Ильич вручил Ровио пачку «керенок».

— И это надо сделать завтра же? — нерешительно спросил Ровио.

— Обмен надо произвести в несколько приемов, чтобы не было подозрительно,— ответил Владимир Ильич и принялся писать.

Ровио пошел к себе в комнату. Лег, погасил свет и прислушался. Иногда тихо шелестела переворачиваемая страница. «Сказать о поручении контрразведки? — думал он.— Нет, не стоит. Оскорбительно».

Владимир Ильич снял пиджак, развесил его на спинке стула, не отрывая глаз от бумаги. Он писал письмо в Стокгольм Заграничному бюро ЦК, излагал свои планы создания коммунистического международного объединения рабочих, создания Третьего Интернационала...

В воскресенье к вечеру Владимир Ильич вышел погулять.

По улицам шли празднично одетые люди, девушки с букетами бумажных цветов. Революционный подъем разжег и финнов. Это была не обычная праздная толпа, а люди, заряженные энергией русских рабочих. Владимир Ильич оказался в толпе. «Ленин!» — вдруг услышал он возле себя и вздрогнул. Нет, на него никто не обращает внимания. На всякий случай он отделился от толпы и медленно пошел по тротуару. «Ленин», «Ленин»,— снова услышал он.

«Неужели опять о клевете?» — с горечью подумал Владимир Ильич. Нет, хотя он и не понимал по-фински, в голосах не слышалось ни порицания, ни неприязни, это имя

произносилось с дружеским оттенком. И Владимир Ильич посетовал, что не знает финского языка, не понимает, о чем говорят эти рабочие, почему празднично настроены и почему его имя произносится все чаще и чаще.

С сожалением повернул обратно и пошел к себе.

Ровио был дома и беспокоился.

— Что это за манифестация? — спросил Владимир Ильич.— Я шел некоторое время с толпой и слышал много раз имя «Ленин». Не можете ли вы мне объяснить?

Ровио улыбнулся:

— Видите ли, сегодня в Финляндии традиционный праздник труда. Он устраивается в последнее воскресенье августа. Рабочие готовятся к нему задолго и собираются в Народном доме. Еще летом профсоюзный комитет решил пригласить на праздник труда вас, Владимир Ильич, и поручил мне написать пригласительное письмо.

Ровио вынул из ящика письменного стола небольшой листок исписанной бумаги.

— Вот оно, я написал. Правда, не сразу, по своей дурной привычке все откладывал, а потом разразились июльские события. Судя по газетам, вы укрылись от Временного правительства, и я решил письма вам не посылать. Но весть о том, что вы приглашены и будете выступать в Народном доме, широко распространилась среди рабочих. Они сегодня ждали вас и не знали, что вы так близко.

16. НАЗРЕЛО!

Каждый день Ровио по дороге с работы заходил на вокзал к прибытию петроградского поезда и прямо из почтового вагона получал все питерские газеты, которыми набивал свой обширный портфель.

Три раза в неделю служащий почтового вагона Карвинен, сопровождающий поезд Гельсингфорс — Петроград, ак-

куратно прятал в сейф с ценными отправлениями пакеты, которые Ровио велел беречь пуще своего глаза и передавать только в собственные руки Эмилю Кальске.

Ровио теперь никогда не забывал завернуть на вокзал и научился не откладывать дела на завтра. Он даже старался вывести из употребления хорошее и удобное слово, понимая, как не любит это «завтра» Владимир Ильич.

И Кальске пунктуально являлся к поезду на станцию Удельная, чтобы получить пакеты и передать их в ЦК. Только один раз не пришел Эмиль на станцию, Карвинен вынужден был вечером отправиться к нему домой. Кальске объяснил, почему он не мог выйти к поезду: в этот час было особенно плохо его жене Соне...

Погружаясь каждый раз в газеты, читая письма из ЦК и от товарищей, Владимир Ильич чувствовал себя в центре нарастающего урагана, где немедленно надо сориентироваться, всегда быть во всеоружии, наготове, иначе этот вихрь опередит, сомнет, сокрушит, и тогда погибнешь.

И из маленькой комнаты пятиэтажного дома на Хагенской площади в Гельсингфорсе к пролетариям Питера, Москвы, Донбасса и Урала, к русскому рабочему классу Ленин подключал свою энергию, свой творческий гений.

И под каким бы псевдонимом ни помещал своих статей Владимир Ильич, рабочие научились распознавать ленинский полет мысли, ленинский почерк.

Пусть статья подписана «Н-ков» — мысли в ней ленинские.

«Чего ждали рабочие и крестьяне, совершая революцию?» — спрашивает в статье «Н-ков» и отвечает так, как ответил бы каждый из них: ждали свободы, мира, хлеба, земли.

А что получили?

Вместо свободы — прежний произвол. Для солдат — смертная казнь на фронте; для крестьян — суд за самочинный захват помещичьей земли; для рабочих — локауты, разгром рабочих типографий, убийства, аресты большевиков.

Вместо хлеба — голод, ведь война стоит народу 50 миллионов рублей ежедневно.

Вместо мира — снова захватная война, выполнение тайных обязательств перед империалистами, подписанных еще Николаем Вторым.

— Где же выход? Как покончить с произволом? Кто даст народу свободу, хлеб и землю? — спрашивают рабочие, спрашивают крестьяне.

— Только власть пролетариата и беднейшего крестьянства,— отвечает Ленин.

Из кажущейся на первый взгляд несерьезной заметки в «Новой жизни» Владимир Ильич вылущивает замысел противника и раскрывает его рабочим. Газета пишет, что Петроград наводнен слухами о готовящемся «контрреволюционном» заговоре против «революционного» правительства Керенского и что, мол, не только меньшевики и эсеры, но и большевики встают на защиту этого правительства.

Эта ложь нужна буржуазии для того, поясняет Ленин, чтобы обмануть рабочих, показать, будто большевики тоже считают Временное правительство революционным и готовы защищать его от контрреволюции.

От контрреволюции народ может защититься, только создав свое, рабоче-крестьянское правительство, делает вывод Владимир Ильич.

Генерал Корнилов предательски сдал Ригу немцам, чтобы расчистить им путь к Петрограду. Рига стала добычей немецких капиталистов-разбойников.

Кто может покончить с войной, кто может предложить справедливый мир всем народам?

— Только власть Советов,— еще и еще раз утверждает Ленин.

Генерал Корнилов в сговоре с Керенским в конце августа двинул войска на революционный Петроград. Цель ясна: уничтожить оплот революции — большевистскую партию, разогнать Советы, восстановить монархию, сдать

Петроград немцам как плату за помощь в разгроме революции.

Большевистская партия призвала народ к защите Петрограда от мятежных корниловских войск, но предупредила, что это будет помощь революционному Петрограду, а не защита правительства Керенского.

Сорок тысяч петроградских рабочих стали под ружье, чтобы дать отпор Корнилову. Контрреволюционный мятеж был ликвидирован.

Кто же может обеспечить надежную безопасность Петрограда, спасти народ?

Только диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства, а для этого надо вырвать власть из рук буржуазии силой, с оружием в руках, отвечает Ленин, создать социалистическое государство.

И на заводах, фабриках снаряжаются отряды Красной гвардии. На Сестрорецком оружейном заводе работа идет день и ночь — рабочие производят винтовки для Красной гвардии. И Николай Александрович Емельянов снова на своем посту. В сентябре он передает Петроградскому Совету две тысячи винтовок. Вооружаются путиловцы, рабочие «Айваза», Обуховского, Семянниковского и многих других заводов. Готовятся силой вырвать власть у буржуазии. Готовятся к вооруженному восстанию.

— Восстание — великое искусство, — предупреждает Владимир Ильич.— К нему надо готовиться исподволь, готовиться тщательно, и главное — определить момент его начала.

И в маленькой комнате, с окном, выходящим в кирпичную стену, Ленин изучает, взвешивает, обдумывает, разрабатывает в деталях план восстания.

Момент восстания близок.

Керенский готовится сдать Питер немцам, он уже решил перевести столицу в Москву, чтобы освободить Петроград для нового хозяина — кайзеровской Германии.

Спасти Питер может только вооруженное восстание.

Вопрос о восстании назрел. Большевики должны взять власть!

И Карвинен в сейф почтового вагона укладывает простой белый конверт, который надо беречь пуще собственного глаза.

В конверте ленинский план восстания, план, который должен утвердить ЦК. И еще один конверт с письмом Надежде Константиновне.

Очень важно, просто необходимо встретиться с родным человеком в такой момент.

17. КАК ДОБРАТЬСЯ?

Был уже двенадцатый час ночи, когда Надежда Константиновна возвращалась с работы домой. На улице Широкой тускло мерцали редкие фонари. Дома с черными проемами окон казались нежилыми. Улица была бы пустынной, если бы не длинная очередь, которая вытянулась по панели вдоль дома и заворачивала в переулок к булочной. Огромный золоченый крендель, висевший над дверями булочной, похрустывая, качался на ветру. За толстым стеклом на витрине лежали булки, поджаристые калачи, горки баранок, сушек, сухарей, а в середине возвышался огромный, как пуховая подушка, ситный с мучной корочкой. Все это походило на мираж, раздражало, потому что все эти румяные булки и ситный были сделаны из папье-маше и лежат здесь уже давно, а в булочной выдают по полфунта клеклого бурого хлеба, в котором и жмыхи, и лебеда, и подгнивший картофель, и меньше всего муки.

В очереди главным образом женщины. Незнакомые друг другу, молодые и старые, работницы и чиновницы, домохозяйки и студентки, они стоят, прижавшись друг к другу и к стене дома, опасаясь, чтобы не проник кто-нибудь «чу-

жой», не выстоявший, не выстрадавший в томительном ожидании своего полфунта хлеба.

Надежда Константиновна замедлила шаг. Женщины тихо, словно подруги, переговаривались между собой, доверяя случайной соседке свои думы, свои беды, и тут же, как искры по сухой соломе, ползли слухи. «Говорят...» «Говорят, что большевики Питер немцам на днях сдадут...» «Говорят, с первого октября хлеба по осьмушке давать будут...» «Мой муж в первый год войны убитый, и я теперь одна-одинешенька...» «Тебе хорошо — одна, а мой без вести пропал, а детишки-то при мне, куда их денешь?» «Вышел бы такой закон — на войну только баб посылать, а мужики пусть одни дома с детишками маются. Вот тогда бы мужики взбунтовались и войне конец положили...»

В толпе раздались невеселые смешки.

Надежда Константиновна остановилась.

Жалобы на растреклятую жизнь, на голод, на войну прорвались и сыпались со всех сторон.

— Вот уж коли бы знала, кто в этой войне повинен, жизни своей не пожалела бы, удавила, окаянного! — выкрикнула с ожесточением женщина с надвинутым на глаза платком.

— Кто виноват? Известно,— взвизгнула рядом нагловатая бабенка,— большевики! Они продали Россию немцам.

Надежда Константиновна внутренне сжалась. Многое бы хотелось сказать ей этим измученным, ожесточенным женщинам. Но она смолчала. Подумала только, что работу большевикам надо вести и в очередях. И женщины не знали, что стоит рядом с ними человек, который вкладывает столько энергии, труда и настойчивости, чтобы облегчить их жизнь, обеспечить ребятам бесплатные столовые, организовать детские сады. На прошлой неделе она выиграла бой за дачу Дурново, отвоевала чудесный сад царского министра для ребятишек.

С утра до поздней ночи работает заведующая культурно-



просветительным отделом Выборгской районной управы Надежда Константиновна Крупская. Сегодня засиделась до позднего вечера, щелкала на счетах, выписывала колонки цифр. Итог угрожающий: только на текстильных фабриках одного Выборгского района около восьми тысяч неграмотных работниц. Подвела итоги и задумалась. Вспомнился разговор с одной немецкой социал-демократкой, когда они с Владимиром Ильичем были в эмиграции. Эта социал-демократка как-то сказала Владимиру Ильичу, что, когда большевики победят, им будет легко: в России большинство рабочих неграмотны и среди них легче вести работу, они не развращены правыми социал-демократами, как развращены германские рабочие социал-соглашательской печатью. Владимир Ильич рассмеялся этим наивным рассуждениям. Только грамотный просвещенный рабочий может правильно воспринять социал-демократические идеи. Только грамотные работницы могут разобраться, за кем им идти. Надо немедленно обучить грамоте. А как это сделать? И снова щелкают счеты, снова вырастают колонки цифр. За шесть недель ежедневной учебы можно ликвидировать неграмотность. Но откуда взять время? Работа, дети, очереди. Надо обучать грамоте в рабочее время. Поставить этот вопрос на заседании районной управы. Выборгский район — это большевистский остров в Петрограде, и управа в нем большевистская. Товарищи, конечно, найдут возможность предоставить работницам два часа в день на ликвидацию неграмотности. Сейчас сентябрь. К ноябрю надо добиться, чтобы в районе не было ни одной неграмотной работницы. Ни одной...

Надежда Константиновна шагает по Широкой улице, улыбается. Ильич одобрит ее работу. Как бы повидаться с ним, рассказать живые впечатления, хотя придется рассказать и о вчерашнем заседании Центрального Комитета. Рассказать надо непременно. Но без вызова она не может поехать в Гельсингфорс, а повидаться надо во что бы то ни стало.

Подходя к дому, увидела свет в квартире, значит, все собрались, ждут ее с ужином.

Открыла своим ключом дверь, устало повесила пальто. Навстречу бежит Мария Ильинична, в руках конверт.

От Ильича?

— Надюша, тебе письмо, и, как видно, с двойным текстом, с тайнописью.

Усталость как рукой сняло. Распечатала конверт. Почерк его, Ильича, хотя и измененный. Пишет как дальний родственник, сообщает цены на черном рынке на картофель, капусту. Это сигнал, что между строчек тайнопись, надо нагреть письмо. На кухне гудит самовар. Надежда Константиновна спешит на кухню, снимает трубу с самовара, осторожно расправляет листок бумаги над синеватым язычком пламени. Вот поползли между чернильными строчками строчки тайнописи. «Дорогая Надюша!» Просит приехать немедленно... Соскучился страшно. Архинеобходимо поговорить. Подробно описывает, как пройти от вокзала в Гельсингфорсе, и дальше четко вычерченный план с названием улиц. Можно никого не спрашивать. Лизанкату... Александринкату... обогнуть Хагенский парк... Надежда Константиновна всматривается в желтоватую линию, запутавшуюся между лиловыми строчками.

— Приглашает приехать? — Мария Ильинична обнимает Надежду Константиновну.

Та оглядывается, и вдруг синий язычок пламени из самоварной трубы отхватывает кусок письма. Обе женщины вскрикивают.

Надежда Константиновна прихлопывает пламя, но угол обгорел. Как же идти дальше от парка? Остался адрес: Хагенская площадь, дом 22, пятый этаж и номер квартиры.

— Найду! — уверенно говорит Надежда Константиновна.— Но как добраться до Гельсингфорса?

— Поедем утром к Емельяновым, они помогут,— предлагает Мария Ильинична.

18. АГАФЬЯ АТАМАНОВА

В семье Емельяновых жизнь шла по-прежнему в трудах и заботах. Николай Александрович и сын Саша после отъезда Владимира Ильича снова приступили к работе на Сестрорецком заводе. Надежда Кондратьевна хлопотала по хозяйству, возилась с меньшими сыновьями и каждый день заглядывала в газету. Прежде всего искала, что пишут про Ильича. Всякие басни пишут. Значит, не нашли. То сообщат, что он улетел на аэроплане в Германию, то новую сказку придумают, что перевезли его на подводной лодке в Швецию, то кто-то видел его в Петербурге, то в Сестрорецке.

В это утро она сидела на кухне и нанизывала грибы на нитку, что ребята из лесу принесли,— готовилась к зиме. Скрипнула калитка. Надежда Кондратьевна выглянула в окно — две женщины, видно питерские.

Кто такие?

Открыла дверь.

— Николай Александрович дома? — спросила женщина с усталыми добрыми глазами.

— Пока нет, но с минуты на минуту явится с работы.

— Вы Надежда Кондратьевна? — осведомилась другая, чернявая, помоложе.

— Да,— недоуменно ответила Надежда Кондратьевна, вытирая руки о фартук. Пригласила зайти в комнаты.

— Я — Надежда Константиновна.

— А я — Мария Ильинична.

Надежда Кондратьевна даже бровью не повела.

— Мне ваши имена ничего не говорят. А если вам нужен Николай Александрович, подождите его здесь.— Она подала гостям тарелку со сливами: — Угощайтесь! — а сама ушла на кухню и с сильно бьющимся сердцем продолжала нанизывать грибы.

«Неужели это жена и сестра Ильича? — думала Надежда Кондратьевна.— А может быть, выдают себя за них? Нет,

конечно, это они. Владимир Ильич рассказывал, что его сестра Маняша самая веселая в семье. Вот и сейчас звонко смеется. И еще говорил он, что жену его тоже зовут Надеждой и что у нее серо-голубые, «питерские» глаза».

— Может быть, вы сомневаетесь, Надежда Кондратьевна? — спросила черноволосая веселая женщина, назвавшаяся Марией Ильиничной, выглядывая из комнаты.— Мы вам документы покажем.

— Мне это ни к чему,— ответила как можно равнодушнее Надежда Кондратьевна, а сердцем уже чуяла, что они это, они, родные и дорогие люди Ильича. Нехорошо, что она так недоверчива и так холодно их встретила. Но что поделаешь, когда речь идет о судьбе Ильича.— Да вот и сам Николай Александрович идет,— сказала она, заслышав знакомые шаги мужа.

Николай Александрович широко распахнул дверь.

— Гости к тебе,— поспешила сообщить ему Надежда Кондратьевна и показала глазами на дверь.

Николай Александрович заглянул в комнату.

— Боже мой, какими судьбами? Надежда Константиновна! Мария Ильинична! Надежда! — обратился он к жене.— Чего же ты чаем не угощаешь дорогих гостей?

— Ну, слава богу,— радостно вздохнула Надежда Кондратьевна.— Вы извините меня за такой холодный прием, но я-то вас никогда не видела. Простите меня. Сейчас приготовлю чай.

— Нет, нет,— стали отказываться обе женщины.— Мы по делу.

— Мне надо съездить в Финляндию, Ильич вызывает,— объяснила Надежда Константиновна.— Вот и пришла к вам. Пропуск через границу нужен. Не поможете ли достать?

Николай Александрович обратился к жене:

— Как ты думаешь, если отправить нам Надежду Константиновну по документам тетки Агафьи?

Надежда Кондратьевна рассмеялась:

— Так ей под семьдесят было.

— А грим на что? — возразил умудренный опытом Николай Александрович.

— Наша тетя Агафья Атаманова умерла недели две назад. Мы даже паспорт не успели еще сдать в полицию.— Надежда Кондратьевна вынула из комода серую книжицу. Старая сморщенная женщина в черном платке глядела с фотографии.— И юбки ее у нас есть, и кофточки, и платок. Сейчас живо вас обрядим.

— Вам по ее документам, как работнице Сестрорецкого завода, запросто выдадут пропуск через границу,— добавил Емельянов.

Через несколько минут Надежда Константиновна вышла из спаленки в длинной широченной черной юбке. Бумазейная старушечья кофта скрывала фигуру. Надвинутый на брови кашемировый платок неузнаваемо изменил лицо.

— Карандашиком добавите морщин на лице, в руки возьмите кошелку и отправляйтесь,— сказал Николай Александрович.

Вечером на Широкой улице в квартире Елизаровых была генеральная репетиция. Надежда Константиновна училась повязывать платок, ходить старческой походкой, говорить надтреснутым голосом.

— Только смотри не переиграй,— предупреждала Мария Ильинична, хохотавшая до слез над маскарадом своей любимой Надюши.

А потом сидели и озабоченно обсуждали, как и что сообщить Ильичу. Стоит ли рассказывать о недавнем заседании...

Сентябрьским вечером старая работница Сестрорецкого завода Агафья Атаманова с кошелкой в руках, опираясь на сучковатую палку, переходила финляндскую границу. Пограничный офицер повертел паспорт, проходное удостовере-

ние и заглянул в кошелку. Курица со связанными крыльями всполошилась, закудахтала.

— Ладно, бабка, проходи,— лениво сказал офицер.

На станции Олилла стоял солдатский поезд, готовый к отправлению. По перрону шла старая женщина, опираясь на палку, из кошелки выглядывала курица с остекленелыми глазами.

— Эй, бабка, ехать тебе, что ли, надо? — крикнул солдат, перевесившись через балясину теплушки.

— Да, касатик, ехать, до самого Гельсингфорсу,— ответила женщина.

— Поезжай с нами, давай руку! — крикнул солдат.

«Бабка» довольно легко подтянулась в теплушку. Солдаты раздвинулись, чтобы дать женщине место. Волновалась только курица в кошелке, но и она вскоре затихла, не в силах сбросить с себя шпагата, связывавшего крылья.

Поезд тронулся. Солдаты запаслись на станции кипятком и разливали из котелков по кружкам чай, настоенный на брусничных листьях, развязывали вещевые мешки.

Надежда Константиновна, опершись обеими руками на палку, низко склонила голову, делая вид, что дремлет.

— Заснула наша бабуся,— сказал вполголоса молодой солдат.

— Чайку бы ей предложить,— отозвался другой,— а то у нее ни чайника, ни кружки.

— Пускай поспит, не буди, на следующей станции мы ей свежего кипяточку добудем.

Слышался аппетитный хруст, словно солдаты грызли крепкими зубами голубоватый рафинад, а не твердь черных сухарей.

— Ничего не скажешь — царский ужин; третий год уж так пробавляемся,— пробасил, видно бывалый, солдат.

— Говорят, царь каждый день за ужином селедку с белым ситным ел и китайским чаем запивал,— мечтательно прозвенел мальчишеский голос.

Кругом невесело засмеялись.

— Керенский небось тоже пироги с ливером трескает, турецкий табак курит. Он нашего, солдатского, хлебушка не пробовал.

— Ну, ну,— раздался голос с верхней полки,— вы не задевайте главнокомандующего.

— Иди ты со своим главнокомандующим знаешь куда? — огрызнулся солдат.— Ты, наверно, все в тылах отсиживался, а мы три года вшей в окопах кормили.

— Да ты за такие слова под суд пойдешь! Забыл, что тебе грозит? Забыл, что объявлена смертная казнь?

— Она уже давно объявлена. Каждый день казнят ни за что ни про что. Каждый день города сдаем, вместо «караул» — «ура» кричим.

— А почему сдаем, про то тебе неведомо? — снова спросил голос с верхней полки.

— Генералы продают нашего брата.

— Не генералы — большевики. Они немцам служат.

Рядом с Надеждой Константиновной вырос матрос.

— Большевики служат не немцам, не буржуям, не Керенскому, а нам с вами, рабочим и крестьянам они служат.

— Ты большевик? — раздался голос с верхней полки.

— Большевик я или нет, про то помолчу. Я просто спрошу вас, чтобы каждый по совести ответил: зачем ему персонально нужна война? Что он от нее себе самолично ждет?

Раздались смешки.

— Костыли... Дубовый крест!..

— Веру христианскую мы в этой войне защищаем. Нашу землю в полон врагу не даем,— бубнил все тот же голос с верхней полки.

— Будто мы и так не в плену живем,— не унимался матрос.— У тебя есть земля? — спросил он солдата, сидящего рядом с Надеждой Константиновной.

— Нет, землицы кот наплакал,— сознался солдат.

— Вот то-то! Ты волен сейчас свою землю пахать? Волен над собой? За кого ты воюешь? Раньше за царя и толстосумов, а сейчас за Керенского и тоже за толстосумов. Не за себя ведь, не за мужицкую долю жизнь свою кладешь?

— Ты за свою шкуру дрожишь, о родине не думаешь, одним словом — большевик. Кто боится на фронт идти, тот в большевики записывается,— снова раздался ехидный голос с верхней полки.

— Полегче. Полегче, а это что? — Матрос распахнул бушлат. На тельняшке поблескивали два Георгиевских креста.— Труслив, говоришь?

Споры стали еще ожесточеннее. Видно, что солдаты были на стороне этого матроса.

Поезд остановился на станции. Надежда Константиновна подняла голову. Ей очень хотелось взглянуть в лицо этого матроса, запомнить его.

Бескозырка держалась на какой-то точке затылка, а на лоб свисали белесые пряди волос. Что-то очень знакомое почудилось Надежде Константиновне в этом матросе, в его серых, глубоко запавших и вместе с тем каких-то озорных глазах.

Матрос замолк и тоже вглядывался в лицо Надежды Константиновны, разгоняя рукой клубы махорочного дыма, словно высвобождая свою память.

Неужели и впрямь Роман? Тот самый питерский парнишка-ястребок, партийный связной в революционные дни пятого года. Неужели он узнал ее? Надежда Константиновна снова опустила голову на руки, поддерживающие палку, всем видом показывая, что ее не нужно, нельзя признавать.

Солдаты, гремя котелками, забирались в теплушку.

— Бабуся,— толкнул Надежду Константиновну солдат, сидевший рядом,— чайку, может, хочешь? У меня и кусочек сахару есть.

Голос Романа был слышен уже в другом конце вагона, он звучал особенно звонко и весело.

Надежда Константиновна отпивала горячий чай из огненной солдатской кружки. Ее сосед, молодой солдат, отломил краюху хлеба, сунул ее в руки «бабусе» и устремился тоже в другой конец вагона, где старого солдата просили рассказать, как они разделались со своими генералами.

— Все было запросто, как полагается,— отвечал солдат.— Пришел наш Ефимов и говорит, что ревком арестовал командующего корпусом генерала Орановского и его штаб. Корниловцы они. И командование Выборгского гарнизона заодно с Корниловым, и все они собирались Питер немцам сдать. Мы воевали, детей да жен бросили, землю осиротили, и чего же ради, говорим, все немцу отдать? Питер отдать? Сидеть и смотреть, как Корнилов большевиков вешает? Взлютовали мы. Нет, говорим, не бывать этому. Даже не помню, кто команду подал, а может, никто, сердце подало. Разобрали мы ружья из пирамид и подались в штаб гарнизона. Часового шуганули, двери распахнули, а генералы да полковники сидят себе, папиросы покуривают, разговоры разговаривают про то, как нас немцу продать, как нашего брата перевешать. «Руки вверх!» — говорим мы и винтовки наизготовку. Генерал поднялся из-за стола, у него аж борода еще больше побелела, до того он покраснел от злости лютой. «Как так, говорит, смеете без докладу врываться». Мы ему в ответ: «А ты нам докладывал, когда с Корниловым порешил Питер немцу сдать, а ты нас спросил, почем наши души продавать?» Он за кобуру, а Ефимов его за белу ручку. Наставили мы на генерала да полковников штыки. Генерал к телефону метнулся, а наш Иванов уже на часах у телефона встал. «Бунт! — кричит генерал.— Разойдись!» — рычит, а у полковников, у тех аж языки отнялись. «Всех вас как бешеных собак перестреляю!» — грозится генерал. «Не успеешь»,— отвечаем мы. Вытащили их всех из штаба, потащи-

ли к Морскому каналу и, как щенят от бешеной собаки, в канал покидали. А в соседней части солдаты тоже взбунтовались, побежали на гауптвахту и Орановского с его шайкой тоже в канал купаться бросили.

— Правильно сделали. Покончили, значит, с корниловщиной.

— Ну, это как сказать,— заметил матрос.— Пока власть не в наших руках, другие корниловы появятся, да и этот из тюрьмы может выйти. Знаете, как Сашка Керенский того Корнилова в тюрьме содержит?

— Коли знаешь, расскажи.

— Сидит тот Корнилов со своим штабом на гауптвахте. Гауптвахта честь честью, как полагается ей быть,— с бархатными коврами и резной мебелью. Спит его превосходительство Корнилов на перине что твоя купчиха. К завтраку ему кофей подают...

— На обед небось щи со свининой,— вздохнул старый солдат, проглотив слюну, и у него под подбородком заходил острый кадык.

— А музыка на той гауптвахте играет? — задал вопрос молодой солдат.

— А как же? Всё, как на солдатской гауптвахте.

Дружный хохот покрыл слова матроса.

— Давай-ка, ребята, споем нашу, солдатскую,— предложил матрос и тихо затянул:

Нам в бой идти приказано,
За землю станьте честно!

Солдаты подхватили:

За землю?
Чью?
Не сказано.
Помещичью — известно.

Песня объединила думы, солдаты вкладывали в них и тоску, и злость, и решимость:

Нам в бой идти приказано,
«Да здравствует свобода!»
Свобода?
Чья?
Не сказано!
А только не народа.

Нам в бой идти приказано
Союза ради наций.
А главного не сказано —
Чьих ради ассигнаций...

19. «ЗА» И «ПРОТИВ»

Вот и Гельсингфорс. Поезд остановился на запасных путях. Солдаты выпрыгивают из вагона. Матрос стоит уже внизу и, подхватив «бабусю» под руки, легко ставит ее на землю.

— До свиданья, мамаша,— говорит он громко и крепко жмет руку Надежде Константиновне.

Теперь только бы не заплутать. Надежда Константиновна идет по пустынным улицам Гельсингфорса. Раннее утро. Даже война не загрязнила этот чистенький город. Вдоль тротуаров цветут астры. «От вокзала идти налево»,— вспоминает Надежда Константиновна начертанный Ильичем план. Третья улица направо, затем прямо и снова направо. А теперь куда? Дальше на плане отгорел кусок. Но где-то в этом районе должна быть Хагенская площадь. Надежда Константиновна ходит по улицам, кажется, заблудилась... Лизанкату—здесь она уже была. Курица уже не квохчет, она сникла от голода. Вот наконец Хагенская площадь и дом № 22. Теперь быстро на пятый этаж. Подобрав подол черной юбки, Надежда Константиновна поднимается наверх. Звонит — раз-два, раз-два, раз-два.

— Вэм эр дет? — слышит вопрос по-шведски.

— Это я, я,— шепчет, прижав губы к косяку двери.

Дверь раскрылась.

— Надюша! Наконец-то!

— Не Надюша я тебе, а Агаша, Агафья Атаманова,— смеется Надежда Константиновна и, взяв в ладони голову мужа, вглядывается в лицо. Устал, а глаза горят нетерпеливым огнем и радостью, простой человеческой радостью. Соскучился.

— Ну что ж, Агаша так Агаша. Я ждал тебя вчера вечером. Ты так мне нужна!

— А я тащилась солдатским эшелоном, хоть медленно, но зато впечатлений масса, в самой солдатской гуще побывала.

— Сейчас поставлю чайник. Что привезла?

— Курицу я тебе привезла, да не знаю, жива ли, а под курицей — яйца.

Она вытащила из кошелки пачку газет, листовок, писем.

— Курочка снесла золотые яички.

— Читай, а я пойду помоюсь.

Владимир Ильич углубился в письма. Надежда Константиновна пошла в ванную. Намыливала руки и раздумывала — сказать сразу или подождать до завтра. И упрекнула себя за эгоизм. Нет, сказать немедленно. Вздохнула. Каждый раз, когда приезжает к нему на очередную конспиративную квартиру, она должна его огорчить, и почему это на ее долю всегда выпадают дурные новости? В 1906 году приехала к сестрам Винстен в Оглбю, чтобы сообщить, что царскими властями подписан приказ о его аресте и необходимо выбираться из России. 7 июля в этом году пришла с сообщением, что Временное правительство решило учинить над ним суд, и сейчас вести недобрые...

— Ну, Надюша, как там? — жадно спрашивает Владимир Ильич и пытливо смотрит ей в глаза.

И она смотрит ему в глаза. Как мучительно хочется по-женски, по-матерински сказать: не беспокойся, все хорошо. С какой бы радостью она взяла на себя все его печали, все заботы, всю боль сердца, чтобы дать свободу его уму, его прозорливости, дать возможность спокойно, холодно все взвесить. Но, наверно, без того, чтобы не вложить всего своего сердца в дело, которому служишь, нельзя точно рассчитать, нельзя холодно рассудить.

Владимир Ильич проявляет нетерпение.

— Мои письма в Центральном Комитете получили?

— Получили, и копии я с них сделала.

— Московскому и Петроградскому комитетам направили?

— Нет.

— Цека их обсуждал?

— Да. И будут обсуждать еще раз. Говорят, не было кворума.

— Каменев, конечно, выступил против?

— Да.

— Чем же он мотивировал? — нетерпеливо спросил Владимир Ильич.

— Сказал, что ты сидишь в Гельсингфорсе и не знаешь обстановки, что брать власть мы сейчас не можем — у большевиков нет большинства.

Надежда Константиновна видит, каким темным пламенем загораются глаза Ильича.

— «У большевиков нет большинства»! А? Как это тебе нравится? — Владимир Ильич взял со стола пачку узеньких листков.— А это что? В Петроградском и Московском Советах большинство уже в наших руках. Эти Советы приняли большевистские резолюции. Рабочие выгоняют оттуда меньшевиков и эсеров и посылают своими делегатами большевиков. Советы Киева, Харькова, Казани, Уфы, Минска, Ревеля, Урала, Донбасса стали большевистскими. Это же факты! Вот цифры! Это что, Каменеву не известно? — потрясал Влади-

мир Ильич таблицами.— Балтийский флот полностью на нашей стороне, русские войска в Финляндии — за нами! Этого мало?

— Каменев считает, что большинство народа не за большевиков.

— Ждать формального большинства — это ребячество. Активного большинства революционных рабочих Москвы и Питера достаточно, чтобы увлечь за собой массы, победить. Победив, большевики тотчас предложат демократический мир, передадут землю крестьянам, восстановят свободу, попранную Керенским. Кто может свергнуть такое правительство?

— Каменев говорит, что, взяв власть, надо опереться на государственный аппарат, а его у нас, мол, нет.

Владимир Ильич почти задохнулся от гнева, и Надежда Константиновна видит, как трудно ему справиться с собой.

— Как это нет аппарата? А Советы, в которых масса рабочих обучалась в борьбе, а районные управы, профсоюзы, демократические организации рабочих?

— Володя, я-то все это понимаю и товарищи из Цека тоже понимают, я уж не говорю о районных комитетах партии, особенно таких, как Выборгский, Нарвский, эти полностью разделяют твою позицию. Но у Каменева и иже с ним на все есть отговорка. Он считает, что только он один ясно видит, что надо делать. Он всюду, где бы ни выступал, уверяет, что Ленин выбрал самое неподходящее время для взятия власти. Питер накануне падения, а он-де призывает к вооруженному восстанию.

— Ну, а если Керенский сдаст Питер немцам, тогда наши шансы будут во сто крат худшими. А сдаче Питера, пока во главе правительства Керенский, мы не в силах помешать. Этого он не понимает? Что же он предлагает?

— Ну, я доскажу тебе все до конца,— решилась Надежда Константиновна.

— Да, да, все и без утайки. Ты же знаешь, что,

щадя меня, ты наносишь вред делу,— почти резко сказал Владимир Ильич.

И Надежда Константиновна рассказала о предложенной Каменевым резолюции, что ЦК, мол, находит в данный момент совершенно недопустимым какие-либо выступления на улицу. ЦК отверг его резолюцию. Затем Каменев внес предложение, чтобы Ленин написал работу о текущем моменте и политике партии, а письма Ленина о взятии власти организациями не рассылать, а сжечь. ЦК отверг и это предложение, но Каменев, поддержанный Троцким и другими, настолько запутал все дело, что решение это отложили до следующего заседания, когда будут в сборе все члены ЦК.

— Если бы ты сам присутствовал на заседании Цека, ты сумел бы доказать правильность своей позиции,— заключила Надежда Константиновна.

Владимир Ильич молчал, стиснув руки. Судьба революции — дело всей его жизни — ставилась под удар.

Он снова и снова излагал доводы за вооруженное восстание, словно выверяя себя, свои расчеты. И Надежда Константиновна видит, что это не только убежденность горячего сердца, желающего победы рабочей революции, а это точный, много раз проверенный вывод ученого, рассчитавшего во всех деталях строительство моста в будущее. Выдержит ли этот мост? Да, выдержит. Все взвешено, все учтено. Надежда Константиновна с облегчением вздохнула.

За двадцать лет совместной жизни с Ильичем она не переставала внутренне удивляться прозорливости Владимира Ильича.

У него было какое-то особое объемное зрение, охватывающее вширь, вдаль, вглубь.

Он мог ошибаться в людях. Сталкиваясь с человеком, он искал в нем прежде всего хорошие черты, и так получалось, что он наделял человека лучшими качествами, чем у того были на самом деле. Он, например, верил Малиновскому, считал его честным человеком. А Надежде Константиновне

он с самого начала чем-то не нравился. И когда Владимиру Ильичу сообщили, что Малиновский провокатор, он потребовал неопровержимые доказательства и тяжело пережил это предательство. Ему нравилась помощница Надежды Константиновны Катя, которая в Польше выполняла роль партийного связного. А Надежду Константиновну раздражала ее угодливость, ее какая-то чрезмерная восторженность, многословие о преданности революции. Катя оказалась тоже провокатором. За свое «бескорыстие» у Ульяновых она получала деньги в охранке, услужливость партии была на самом деле услужливостью полиции. И Владимир Ильич опять испытал разочарование. Он не умел лгать и поэтому всю жизнь с трудом постигал, что люди могут быть лживы, и всякий раз тяжело переживал измену, потому что предателем может стать только свой человек, только стоящий рядом.

Но когда дело шло о замыслах классового врага, о движении больших масс, о масштабах революции, Владимир Ильич тонким слухом, как природный музыкант, улавливал каждую фальшивую ноту в огромном оркестре. Настроение масс, готовность их к борьбе, способность решить задачу он определял безошибочно. Математический холодный расчет он выверял наблюдениями, страстью сердца. Надежда Константиновна помнит, когда он 4 июля вышел на балкон дворца Кшесинской и мимо проходили колонны демонстрантов с лозунгами «Вся власть Советам!». Перед балконом остановились колонны матросов, рабочих, вверх летели бескозырки, кепки, гремело могучее «ура». Владимира Ильича не могли обмануть эти восторженные возгласы людей, готовых на штурм, на подвиг ради свободы. Он видел среди демонстрантов не только красные, но и черные анархистские знамена, он видел меньшевистские и эсеровские лозунги и понимал, что победить сейчас на этом энтузиазме масс можно, но удержать власть нельзя. Массы еще не разуверились в меньшевиках, доверие к Временному правительству еще

не было настолько подорвано, чтобы призывать к его свержению.

А вот теперь Ильич уверен, что наступил момент действовать.

И именно сейчас, когда надо решать вопрос о вооруженном восстании, когда рабочий класс полон решимости действовать, когда в рядах партии нет колебаний, эти колебания проявляют люди, находящиеся в самом штабе.

— Надюша,— прервал ее мысли Владимир Ильич,— ты понимаешь, что мне надо выбираться из Гельсингфорса? Я должен быть в Петрограде. Ты организуешь мне там конспиративную квартиру, а я пока подамся в Выборг, чтобы быть ближе к Питеру.

Надежда Константиновна медлит с ответом, она знает, что переезд в Питер связан с риском для жизни, но и оставаться Ильичу здесь дольше нельзя.

— Я подберу тебе квартиру в нашем Выборгском районе.

— Да, да, именно в Выборгском. Этот район самый надежный, и я ведь член вашей партийной организации, от нее я получил свой партийный билет. Поэтому вы, выборжцы, и позаботьтесь о моем укрытии.

Надежда Константиновна переворошила в уме известные ей адреса.

— А если поговорить с Фофановой?

— С Маргаритой Васильевной, у которой мы проводили заседание Цека в июле? Это было бы отлично. Возьми организацию этого дела на себя... Да, кстати, уплати, пожалуйста, мои партийные взносы за сентябрь. Выясни, что мне причитается за статьи в «Рабочем пути». У меня деньги есть, весь гонорар сдай в партийную кассу. Хорошо бы было, если бы ты заготовила вторые ключи от квартиры, которую подберешь, и с Рахьей прислала мне в Выборг, а я на днях отправлюсь туда.

— Но дай мне слово, что, когда ты переедешь в Питер, никто, кроме меня, не будет знать адреса твоей квартиры.

— Тебя и Рахьи,— подтвердил Владимир Ильич.

Бегут часы, бледнеет черная сентябрьская ночь, а в маленькой комнате на Хагенской площади, с окном, плотно завешенным портьерами, идет страстный, заинтересованный разговор о судьбах России.

— Я сяду за статью, а ты отдохни,— сказал наконец Владимир Ильич.

— Я посижу рядом.

Надежда Константиновна устроилась в уголке дивана и моментально заснула.

Владимир Ильич писал залпом. Мысли выстроились, отточились и легко ложились на бумагу.

Закончив писать, взглянул на часы, погасил свет, отдернул портьеру. Над Гельсингфорсом занималось туманное утро.

Он остановился перед Надеждой Константиновной. Только сейчас увидел, как она бледна, губы плотно сжаты, руки покоятся на коленях.

«Милый, верный друг». Владимир Ильич наклонился и осторожно поцеловал ей руку.

Сел рядом и невольно подумал, что ему в жизни очень повезло: всегда была рядом с ним мудрая, добрая женщина. Всю жизнь прошла вместе с ними, детьми, мать Мария Александровна. Умерла год назад. В детстве рядом всегда была любимая подружка — сестренка Оля, веселая и талантливая, а потом сестры Анюта и Маняша стали его единомышленниками и верными помощницами, и, конечно, самый близкий друг, без которого просто немыслима жизнь,— это она, Надюша.

Трех дней очень мало, чтобы наговориться обо всем, чтобы поведать друг другу самые сокровенные мысли, и посоветоваться, и вслух подумать.

Вечером накануне отъезда вышли погулять по парку. Вышли, когда город уже спал. Взявшись за руки, ходили по темным аллеям, под ногами звенели опавшие листья, пахло

морем, спелыми яблоками. Ему шел сорок восьмой год, ей — сорок девятый, но оба не чувствовали бремени лет, не ворошили воспоминаний, оба думали о будущем, мечтали так, как мечтали четверть века назад, гуляя по набережной Невы.

И когда наступил час расставания, не удержался Владимир Ильич и пошел провожать Надежду Константиновну до вокзала, чтобы лишних десять минут побыть вместе. На углу Кайвукату и вокзальной площади распрощались. Владимир Ильич долго стоял, вслушиваясь в тишину. Наконец прогудел паровоз.

Поезд отправился в Питер.

Владимир Ильич расстегнул ворот рубашки, глубоко вздохнул и зашагал к себе. Знакомое нетерпение — сесть за стол, изложить свои мысли — охватило его.

Энергично помахивая правой рукой, Владимир Ильич шел по парку. Пахло морем, утренней свежестью, спелыми яблоками.

20. «МИР» — ЭТО ПОНЯТНО

На Выборгском вокзале, несмотря на ранний час, было людно и очень шумно. Перрон был забит беженцами — женщинами с детьми, стариками. Притулившись на тюках, узлах, корзинах, люди спали; иные переругивались с пассажирами, когда те шагали прямо через головы сидящих; голосили ребята, гремели железные чайники, грохотали тяжелые солдатские сапоги.

Офицеры обходили группы солдат и с опаской пробирались между озлобленными голодными беженцами. Война отняла у этих людей дом, солдатские сапоги вытоптали их посевы, немецкие снаряды перепахали землю, уничтожили урожай; голод и близость зимы гнали их в Россию, в хлебные места, под теплый кров. Но где эти хлебные места, где они найдут теплый кров — никто не знал.

Женщины останавливали солдат, спрашивали — из какой части, надеясь узнать о судьбе своих близких, где-то воевавших.

— Слушай, служивый, ты из какой части, не встречался тебе Василий Безухов? — спросила женщина с ребенком, потянув за рукав солдата в выцветшей гимнастерке.

— Безуховых не встречал, а вот безногих и безруких сколько хошь, может, и твой среди них,— отмахнулся солдат и пошел дальше.

Прибыл гельсингфорсский поезд. Вместе с другими пассажирами из вагона вышел пастор. Из-под шляпы с черной лентой на щеки свисали седые пряди волос, борода веером обрамляла подбородок, сверкал белизной пасторский галстук, черный длинный сюртук обтягивал крепкую фигуру. Пастор медленно пробирался сквозь толпу, через дымчатые очки внимательно присматриваясь к людям, к их бедам.

В станционном буфете за жидкой бурдой, называемой кофе, и бутербродами с крепко соленым, окаменевшим сыром выстроился большой хвост. Пастор примкнул к очереди. Помещение буфета заполнили солдаты, женщины с детьми. Офицеры безропотно уступали солдатам очередь, а солдаты теснились и пропускали вперед женщин с ребятишками. Все шарили по карманам, вытаскивали серые талончики на хлеб, медяки.

В Финляндии исстари существовал обычай: торговали в железнодорожных буфетах без кассиров. На стойках раньше были расставлены блюда с тончайшими ломтиками кеты, мяса, ветчины. Горками, на манер русских лепешек, возвышалась поджаренная хрустящая салака, в ярко начищенных медных термосах томились сосиски, в других бурлил пахучий огненный кофе. Молодые девушки в голубых платьях и белых передниках убирали грязную посуду, выставляли чистую, приносили новые блюда. Возле каждого блюда лежала карточка с указанием стоимости, люди сами подсчи-

тывали, сами опускали монету в узкую щель, отделанную красной медью. Хозяин буфета редко бывал в убытке, а если когда чего и недосчитывал, то это обходилось все равно дешевле, чем содержать специального кассира. В финских домах не было замков, каждую утерянную вещь можно было почти наверняка получить обратно в бюро находок. Воровство, присвоение чужого добра считалось самым черным злом, позором, и финны заботливо оберегали свою честь.

Но началась война. Появились солдаты, бездомные беженцы, у которых и карманы и желудки были пусты. Владельцы буфетов стали терпеть убытки, и в станционных буфетах появились кассы.

И сейчас девушка яростно крутила ручку новенького кассового аппарата. Солдаты получали хлеб, подставляли котелки и тут же, морщась, выпивали кофе, мечтая о чае.

Молодой штабс-капитан, в ловко прилаженном мундире, пробирался сквозь толпу к буфету.

— Эй ты, вшбродь, куда прешь! В очередь становись! — раздались окрики солдат.

Офицер, расталкивая толпу, продвигался вперед.

— Оглох, что ли,— ткнул его в бок острым локтем пожилой бородатый солдат,— аль не тебе говорят?

Офицер криво усмехнулся, продолжая продвигаться вперед.

— Вон финский поп в очереди стоит и вперед не лезет, а ты куда!

Солдаты сдвинулись вокруг офицера. Он побледнел и, растерянно бормоча: «Братцы, пропустите, братцы», стал пробираться к выходу. Заработали локти солдат, словно ненароком шпынявшие офицера, а затем уже, подталкиваемый солдатскими пинками, он вылетел в раскрытую дверь на перрон.

Этот пустяковый инцидент взъерошил солдат. Их словно

прорвало. Послышались ругательства. Солдат был страшен в своей злобе к Ставке, к «главноуговаривающему» Керенскому, который продолжал выполнять тайные царские договоры с союзниками; солдат страшен был своей ненавистью к войне, своей тоской по дому, по земле.

Владимир Ильич угадывал среди солдат рабочих, недавно пришедших в армию, имевших до этого отсрочки от военной службы. Они выделялись среди других своим «нестроевым» видом, острым словом, независимостью, умением заставить себя слушать и объяснять. Один из них в черной фуражке, которую он носил на манер рабочей кепки — чуть набок,— вытащил из кармана порядком помятую газету «Рабочий путь».

— Товарищи, хватит языки чесать, вот вы лучше послушайте, что пишет Ленин.

Владимир Ильич хотел и не мог уйти.

Сапер развернул газету. Вокруг него люди сдвинулись плотной массой.

— Требую тишины. Слушайте: «...союз пролетариата и крестьянства может дать измученным несправедливейшей и преступнейшей войной массам *мир,* а крестьянству всю *землю...*»

— Коли б так было.

— Слушай, слушай дальше,— зычным голосом призывал к порядку сапер. Он сдвинул фуражку на затылок и как заправский оратор бросал в солдатскую массу ленинские слова: — «...победивший пролетариат даст России мир. И никакая сила не свергнет правительство *мира...*»

— Что правда, то правда,— отзывались солдаты,— попробуй свергни, когда мир будет в наших руках.

— «...Победивший пролетариат даст крестьянству немедленно землю без выкупа...»

— А ты не брешешь, что это сам Ленин пишет? — усомнился бородатый солдат, нападавший перед этим на штабс-капитана.

— Вот смотри,—сапер протянул газету,—подпись стоит: «Н. Ленин».

Бабы, оставив очередь, тоже тесным кольцом окружили сапера. «Мир» — это так им было понятно. «Мир» — это было заветное слово, ключ к сердцам матерей.

Пастор пошел к выходу, на него никто не обратил внимания.

Владимир Ильич шагал по аллее, обсаженной кряжистыми ивами. Смолоду эти деревья гнул, корежил морской ветер, скрутил их стволы в спираль, но не согнул, так и выросли они, словно ввинченные в землю, с могучими стволами и кронами, позолоченными сейчас надвигающейся осенью.

21. КАК ТРУДНО РАЗОБРАТЬСЯ

Уже десять дней живет Владимир Ильич в предместье Выборга в семье журналиста финляндской рабочей газеты Юхо Ла́тукка. Теперь петербургские газеты приходят в тот же день к вечеру, почта из ЦК к Ленину и от него в ЦК оборачивается за сутки, а между тем контакт с Питером становится все сложнее.

Вот и сейчас перед Ильичем лежит развернутая газета «Рабочий путь» за 24 сентября. В ней напечатана статья Ленина. Очень важная статья — об ошибках большевиков. Только что закончилось так называемое Демократическое совещание, организованное соглашателями. Временному правительству нужно было отвлечь рабочие массы от революции, заставить говорить, а не действовать и тем временем собрать силы для того, чтобы двинуть их против революции.

Не следовало большевикам участвовать в этой говорильне. Они должны быть сейчас с массами, готовить их к вооруженной схватке с врагом. Каменев и Зиновьев выступили на этом совещании не с большевистских позиций.

Партия не боится сказать рабочему классу правду о своих ошибках. Но кто-то в редакции вычеркнул ленинские мысли, обкорнал статью, сделал ее неясной, словно и не было ошибки в том, что большевики пошли на это совещание. Сейчас встал вопрос о вооруженном восстании. Дальше оставаться в Выборге нельзя, надо немедленно перебираться в Петербург, чтобы встречаться с товарищами из ЦК, чтобы иметь возможность отстаивать свою точку зрения.

Который уже раз Владимир Ильич просит разрешения выехать в Питер и каждый раз получает отказ. Что привезет Шотман сегодня?

Владимир Ильич сложил бумаги на столе и вышел в сад, забрался на большой валун, сел под вязом, сцепив пальцы на колене. Надвигаются сумерки, зажигаются огни в соседних домах, повизгивают цепи на колодезных барабанах. В доме напротив освещено окно. За столом двое мужчин — молодой и старый — о чем-то спорят над газетой. Наверно, обсуждают сегодняшнее сообщение о высадке немецкого десанта на Моонзундских островах в Балтийском мере.

Несомненно, эта операция немцев предпринята не без ведома правительства Керенского. Острова Эзель и Даго называют револьвером, дуло которого направлено на Петроград. Немцы подвели к островам огромные силы —320 судов, среди них 10 новейших линкоров и более 100 самолетов, а у русских в этом районе 116 кораблей, и среди них два старых линкора, всего 30 самолетов. Цель десанта ясна: уничтожить русские морские силы Рижского залива, запереть Финский залив, ударить с моря и суши против революционного Петрограда. В любой час немцы могут перебросить свои силы в Гельсингфорс, в Выборг. И тогда? Ведь можно оказаться в плену у немцев? От этой мысли стало даже холодно.

На дороге показалась знакомая фигура. Это Александр Васильевич Шотман.

Владимир Ильич спешит к дому, у порога сталкивается с Александром Васильевичем и, едва поздоровавшись с ним,

увлекает в комнату. Не дав даже снять пальто, Владимир Ильич спрашивает требовательно, не в силах скрыть волнения:

— Вы привезли мне разрешение выехать в Петроград?

— Нет, Владимир Ильич,— отвечает виноватым голосом Шотман,— Цека не разрешил.

— Почему?

— Я сам доложил о сложной обстановке на границе, нельзя вам в Петроград.

Владимир Ильич не то чтобы побледнел, а стал пепельно-серым.

— Вы шутите! — сказал он.

И Шотман увидел, какими жесткими и гневными могут быть глаза Ильича.

— Владимир Ильич, поймите, берегут вас и правильно делают.

— Но вы-то, дорогой Александр Васильевич, понимаете, какова сейчас обстановка, и разводить слюнтяйство, говорить о драгоценности моей жизни — это просто немыслимо. Не обо мне, а о революции идет сейчас речь. Мне архинеобходимо быть в Питере.

Он шагает по тесной комнате, наклонив голову, еле сдерживая гнев.

Шотман следит за ним. «Лев, запертый в клетку»,— думает он с горечью.

Владимир Ильич круто поворачивается и говорит вдруг повеселевшим голосом:

— Знаете, Александр Васильевич, я на слово не верю. Напишите мне письменное заверение, что Цека решило именно так.

Шотман пожал плечами, сел к столу и набросал на бумаге: «Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что Центральный Комитет РСДРП(б) в заседании своем постановил: Владимиру Ильичу Ленину, впредь до особого рас-

поряжения ЦК, въезд в город Петроград воспретить. Шотман».

Владимир Ильич быстро пробежал листок глазами. Свернул и спрятал в боковой карман.

— Вот и отлично. Завтра рано утром разыщите Рахью и попросите его приехать ко мне. Немедленно.

— Хорошо, Владимир Ильич. Будет сделано.

— Как в Питере? Какие настроения на заводах? Как вооружаются рабочие? Что предпринимается для защиты Питера?

Шотман разводит руками:

— Мне запрещено ходить на заводы, поскольку я связан с вами, чтобы не привлечь к себе внимания, не притащить к вам «хвост». Но ребята говорят, что рабочие рвутся в бой.

— Это вообще, а конкретно — на каком заводе, что говорят, кто говорит?

Шотман ответить не мог.

— Вы понимаете, Александр Васильевич, что сейчас никакого другого решения, кроме вооруженного восстания, быть не может. Выступать мы должны немедленно, иначе совершим преступление перед историей, перед рабочим классом.

Шотман наконец снял пальто, бросил его на стул и сел перед Владимиром Ильичем.

— Владимир Ильич, скажу вам по совести: многие считают, что брать власть рано. Не удержим мы ее. Ссылаются на ваши же слова, что взять власть можно, удержать нельзя.

Владимир Ильич внимательно посмотрел на Шотмана.

— Я говорил это в июле, когда была совершенно иная ситуация. Зачем же ссылаться на мои слова в сентябре, когда революционный кризис назрел? Вы старый питерский рабочий, как вы считаете — удержим мы власть?

Шотман поднял тяжелый взгляд на Владимира Ильича. Кривить душой он не умел.

— Владимир Ильич, вы меня извините, но я буду откровенен с вами. Я думаю, они правы.

— Кто это «они»?

— Каменев, Зиновьев, да вы сами знаете... В самом деле, ну поднимем мы народ, ярости в рабочем классе хватит. Скинем Керенского, а потом что? Потом власть эту у нас вырвут, революцию раздавят. Сейчас еще хоть кое-какие свободы есть, а потом будет как после революции пятого года. Ну, чего стоит подождать, пока все вызреет, само прорвется.

Владимир Ильич встал и, распахнув пиджак, зашагал по комнате.

— Значит, вы надеетесь опять на «авось». Авось Керенский не сдаст Питер, авось буржуазия будет сидеть и хлопать ушами, авось история — добрая тетя и работает на нас. Запуганы вы и запутаны, Александр Васильевич, Каменевым и иже с ним.

— Но ведь уж очень все сложно сейчас.

— А разве революции бывают несложными? Ни одна великая революция не обходилась без гражданской войны. Сопротивление будет отчаянным, но ту власть, которая предложит мир, даст землю крестьянам, свободу народу,— никакая сила скинуть не сможет. И вы, конечно, верите этим перепуганным насмерть людям, что у нас нет аппарата, что рабочие не смогут управлять своим государством и тэдэ и тэпэ.

— Нет, Владимир Ильич, скажу по-честному — не сумеют. Вот я, к примеру, разве я могу управлять государством? — Шотман даже рассмеялся такому нелепому предположению.

— Вы — нет, по крайней мере сейчас,— решительно сказал Владимир Ильич.— Для этого у вас недостаточно веры, а другие могут. У нас в партии огромные силы. За нашу партию в Советы проголосовало миллион человек.

— Каменев и Зиновьев ждут съезда Советов. И почему,

Владимир Ильич, действительно не подождать съезда и на нем принять решение?

— Принять резолюцию и сию бумажку поднести Керенскому? Он на ней распишется: читал. И вежливенько попросит министров сдать дела по акту, а буржуазия, корниловцы поднимут вверх руки и скажут: раз есть такая резолюция, мы сдаемся. Это же ребячество, наивность — верить в бумажки, верить в резолюции. Керенский не допустит открытия съезда, он прихлопнет его.

Владимир Ильич потер ладонью лоб и круто изменил разговор.

— Вот что, Александр Васильевич, пойдите на кухню, попейте чайку, а я напишу сейчас письмо в Цека. У нас мало времени. Вы сегодня же должны вернуться в Питер.

Владимир Ильич сел за стол. Шотман пошел на кухню, где хозяйка приготовила чай, пододвинула гостю хлеб, сыр и ушла к себе в комнату.

Шотману необходимо было посидеть одному, разобраться.

Слушая Ленина, он не мог не соглашаться с ним, но когда он слушает или читает Каменева, он начинает колебаться — а прав ли Ленин?

Шотман сидел и думал о своем последнем разговоре с Каменевым. Небольшого роста, с аккуратно зачесанными назад волосами, похожий на профессора, Каменев, поблескивая глазами из-под золотых очков, неторопливо, убедительно разбивал доводы Ленина. «Я очень люблю Ильича,— говорил он.— Мне нравится его юношеская пылкость, его влюбленность в революцию. Но горяч он и упрям без меры. А в таком деле, как вооруженное восстание, нужно хладнокровие, нужен здравый смысл, а не пылкий энтузиазм. Объявлять сейчас вооруженное восстание — значит не думать о судьбах русской революции. Революция — это война. Солдаты от нее отхлынут: они устали воевать. Нам нужно вести

умную оборону, а не лезть на рожон с наступательными действиями. Ленин толкает партию на губительный путь. Силы противника недооценивать нельзя. Ждать, терпеливо ждать».

Шотман ушел от Каменева с твердой убежденностью, что надо ждать, что выступать сейчас нельзя.

Но вот слушаешь Ленина, видишь, как он непоколебимо убежден, понимаешь, что прав он, а не Каменев. «Ах ты, сатана-перкеле,— ругал себя Шотман,— как же ты мало учился, парень, все надеялся на свою пролетарскую печенку. Разве ты, Шотман, враг рабочему классу? Сам старый рабочий, а вот запутать тебя легко. Эх ты, старый, бородатый черт, почему ты слушаешь Каменева и почтительно молчишь, а вот на Ленина напустился, поучать его вздумал и только потому, что Ленин доступен, что с ним можно говорить вот так запросто. Все сейчас нападают на Ленина. Град камней, грязи, клеветы летит в него. Уж что там говорить про Керенского, корниловцев! Попади им Ленин в руки — без суда и следствия тотчас повесят. Плеханов каждый день пишет статьи против Ленина. Попы в церквах предают его анафеме. И в своей партии Каменев, Зиновьев, Троцкий объявляют планы Ленина бредовыми идеями, и ты, Шотман, потомственный пролетарий, усомнился в Ленине? Выходит, что Ленин свято верит рабочему классу, а Шотман — плоть от плоти и кровь от крови этого класса — может поверить тем, кто не верит рабочим?»

Шотман заглянул в комнату Владимира Ильича. Он сидел и писал. Заслышав скрип двери, оглянулся.

— Александр Васильевич, ну как, подкрепились? У меня все готово. Отправляйтесь в путь. Вот вам письмо.

— Когда мне к вам приехать, Владимир Ильич?

— Дня через два-три. Предварительно снеситесь с Рахьей, он вам назначит точный день.

Шотман крепко сжал руку Владимира Ильича.

22. ТРЕВОГА

Через два дня Владимир Ильич снова в пасторской одежде, в очках и парике был на Выборгском вокзале. Вместе с Рахьей проехал поездом до станции Райвола, а там их поджидал знакомый паровоз № 293 и знакомый машинист Гуго Ялава. Здесь пастор превратился в кочегара. В топку полетели парик, очки, пасторский сюртук и галстук. На голове снова русый парик, расчесанный на две стороны с «бабочкой» на лбу и кепка. И снова подбрасывает поленья в топку кочегар, а Рахья сидит в первом вагоне в величайшем напряжении, внимательно прислушивается к разговорам.

А у парка, что примыкает к Сердобольской улице, ходит Надежда Константиновна. Голова туманится от волнения. Ильич решил переехать в Петербург. Удалось ли благополучно проскочить границу, сойти в Удельной с поезда? Доберется ли сюда без происшествий? Как бы научиться оставаться спокойной, научиться ждать, не томясь, не придумывая страхов, верить только в благополучный исход. Боится взглянуть на часы. Пусть остановится время и секундные стрелки задрожат и помчат вокруг циферблата, когда он будет здесь, рядом.

Кто-то идет сзади, идет не торопясь, но быстрее, чем она. Не оглядываться, идти спокойно, словно гуляя. Шаги за спиной все ближе.

— Надюша, все в порядке! — слышит шепот.

Владимир Ильич с Рахьей обгоняют ее, не оборачиваясь.

Надежда Константиновна старается сохранить темп походки. Теперь глаза, как у пчелы, видят вокруг. Нет ли «хвоста» за ними? Кажется, все спокойно. А они маячат впереди, двое рабочих, один щуплый, сутулый, другой крепыш, но идет чуть вразвалку, тяжеловатой походкой. И все же это он, Ильич. Энергично, в такт шага коротко взмахивает рукой, вот повернул к Рахье голову. Только он так поворачивает голову, быстро, полный внимания и интереса.

Счастливый рост у Ильича: не высокий и не низкий. Может быть, это помогает ему смотреть собеседнику прямо в глаза, не задирая вверх голову и не глядя сверху вниз. И идет, ступая на пятки,— ишь как наловчился!

Всю жизнь Ильич учился быть незаметным в толпе. Надежда Константиновна думает: «Ну как же его можно не заметить? Как не отличить от тысячи других?» Вот они завернули к большому серому дому, идут словно к себе домой. В этом тоже Надежда Константиновна узнает Ильича: изучить досконально план, чтобы никого не спрашивать, прямо с ходу повернуть, чтобы самый внимательный глаз не распознал в нем постороннего.

«Не потерял ли он от квартиры ключи — ведь Маргарита Васильевна на работе, открыть дверь некому»,— мелькнула мысль. И сразу же отвергла это предположение: Ильич никогда ничего не терял.

По лестнице поднималась медленно, прислушиваясь к шагам, к стуку дверей. Прошла этажом выше. Постояла. Тихо. Спокойно. Спустилась и позвонила в дверь. Условно, так, как звонила всегда...

И вот снова вместе.

Рахья готовится уйти. Владимир Ильич дает последние наставления.

— Сегодня же вечером поймайте Шотмана, скажите, что ко мне ехать в Выборг не надо, что меня там уже нет. О том, что я в Питере, пожалуйста, никому, никому. Придет время — объявлюсь сам. Завтра утром жду вас, подготовлю письмо для Цека, статью для газеты.

Рахья ушел.

— Ты чем-то очень расстроен? — спрашивает Надежда Константиновна, видя, как ходят желваки на скулах Ильича.

— Нет, Надюша, я не расстроен, я взбешен до крайности. Происходят такие события в мире, так накалилась атмосфера в России, только нечестный или дурак не может

этого не видеть. Вся партия едина в своем стремлении выступить и выиграть бой, весь рабочий класс един. Восемьдесят партийных конференций в губерниях показали полное единодушие. А в верхах колебания. Теперь у меня нет никаких сомнений в этом. Эти колебания способны погубить все дело. Пока не поздно, надо всеми силами взяться за борьбу, отстоять правильную линию партии. Ты не можешь представить, что творят эти люди — Каменев, Зиновьев... Я долблю, долблю, доказываю, пишу, а они выдирают сердце из моих статей, выхолащивают их, печатают вместо одних статей другие, выгодные им, ждут съезда Советов. Троцкий ведет себя как искусный интриган, если не сказать иначе. Он, мол, не против восстания, но только не сейчас, не немедленно... Откладывать сейчас восстание — это значит провалить его. Ты знаешь, что я решил?

— Что ты еще решил? — тревожится Надежда Константиновна.

— Я решил написать письмо в Цека и пойти на самую крайнюю меру, если со мной не согласятся.— Уловив обеспокоенный и встревоженный взгляд Надежды Константиновны, Владимир Ильич взял ее за руку, словно опасаясь, что и она может не понять его, не согласиться с ним, и убежденно продолжал: — Попытаюсь еще раз доказать, что медлить нельзя. Мы ответственны не только перед русским народом, но и перед мировым пролетариатом. В России наступил переломный момент, кризис назрел, а некоторые товарищи в Цека все еще считают, что нужно ждать съезда Советов. Это же идиотизм!

Владимир Ильич вытащил из карманов тетради, вырезки из газет, записи.

— Вот, видишь, в стране снова вспыхнули крестьянские восстания. Ведь это неслыханное дело: крестьяне не верят теперь эсерам, меньшевикам, выступают против их правительства. И подавляются эти восстания, как в старое, царское время. Если уж в крестьянской России после семи

месяцев демократической республики дело дошло до крестьянских восстаний и они подавляются военными мерами, значит, контрреволюционные силы подошли к последней черте.

— Да,— соглашается Надежда Константиновна,— и армия отшатнулась от правительства.

— Армия откололась от правительства,— уточняет Владимир Ильич.— Солдаты воевать больше не будут. Разве это не ясно? Балтийский флот, войска в Финляндии с нами. В Москве из семнадцати тысяч солдат четырнадцать тысяч проголосовали в Советы за большевиков; железнодорожники и почтовые служащие выступают против правительства Керенского. Поэтому-то Керенский спешит сдать Питер немцам. Высадка грандиозного немецкого десанта на островах Эзель и Даго — это же прямой путь на Питер. Для вооруженного выступления все назрело.

— На какой же шаг ты решился? — спросила Надежда Константиновна, видя, как Владимир Ильич перебирает бумаги на столе, выбирает ручку с подходящим пером, нацеливается сесть за стол и писать.

— Если Центральный Комитет не примет решения о вооруженном восстании, мне придется выйти из Цека и оставить за собой свободу агитации в низах партии и на съезде партии.— И в эти слова вложено столько страсти сердца, столько убежденности и озабоченности судьбами революции, что Надежда Константиновна понимает, что возражать бессмысленно, это решение не опрометчивое, а продиктованное совестью, ответственностью перед делом, которому служит Ильич.

— Но я думаю,— говорит она,— что до этого не дойдет. Ты сам пойдешь в Цека и сумеешь доказать свою правоту.

Владимир Ильич просиял: поняла.

23. ПОРА

Российский пролетарий! Как многим обязан тебе трудовой народ, простые люди всего мира!

Умный и гордый, неподкупный и добросердечный, справедливый, отважный и всегда ненавидевший рабство, ты не только воплотил в себе лучшие черты народного характера, но и обогатил его великим чувством товарищества и коллективизма, сознанием своего долга и ответственностью перед людьми всех рас и национальностей, ты принес с собой в народ высокую культуру, организацию, чистоту помыслов и дел.

Тебе всегда были чужды низменные чувства мести, фальши, чванства, корысти и человеконенавистничества. Ты никогда не замыкался в касту, не отделял себя от народа. Ты воспринял великое Марксово учение, и оно стало твоей сутью, неотделимой частью твоего бытия.

Ты собрал под свои знамена всех обездоленных и угнетенных и во всем величии показал свой характер, свое мужество и любовь к народу.

Гений Ленина обогащался твоим опытом, твоей мудростью, и, продолжая дело Маркса, Ленин увидел в тебе прообраз человека будущего. Требовательный к себе, строгий и скромный, ты не мог осознать своего величия, своей силы.

Это разглядел Ленин, но свято верил в твое историческое призвание и помог тебе найти верный путь к победе.

Ты отобрал в головную колонну — в свою партию, партию коммунистов — самых достойных, самых лучших своих сынов и Ленину доверил вести ее.

Тебе никогда не нужно было скрывать своих целей и помыслов — они чисты и благородны!

А твой классовый враг не отличается ни благородством, ни бескорыстием. Чтобы сломить, растоптать, унизить тебя, он мобилизовал все силы. Твой враг часто прикидывается

другом, он хитер и коварен, он засылает своих соглядатаев в твои ряды, чтобы смутить их, расстроить.

Не умея лгать и вилять, ты, бывало, и ошибался, принимая врага за друга.

Владимир Ильич Ленин, большевики предупреждали тебя об опасности. Потребовался собственный опыт, чтобы научиться распознавать подлинных друзей и покончить с иллюзиями.

Сейчас ты полон решимости взять власть в руки, вызволить из неволи крестьян, наделить их землей, покончить с проклятой войной, предложить справедливый мир всем народам. Твой гнев достиг предела, ты ждешь сигнала Ленина, которому безгранично веришь. В твоих рядах нет колебаний, нет неуверенности, нет страха за свое будущее!

А будущее — это социализм!

Заседание Центрального Комитета 10 октября было необычным.

Члены ЦК приходили спозаранку, поодиночке, тщательно соблюдая правила конспирации. Настроение было приподнятое, все взволнованы. Ждали Владимира Ильича.

Впервые после 7 июля он будет присутствовать на заседании ЦК.

Свердлов поминутно протирал платком пенсне, ходил из угла в угол и все чему-то улыбался.

Александра Михайловна Коллонтай рассказывала Феликсу Эдмундовичу, как однажды в Швейцарии она собралась угостить Владимира Ильича борщом. Готовить она не умела.

— Но, изучив теорию приготовления борща по книге Молоховец, я купила мясо и стала его варить, бульон закипел, и — о ужас! — на поверхности его всплыла грязная пена.— Александра Михайловна смеялась звонко, весело, заразительно.— «Плохое мясо»,— решила я, пошла в самую доро-

гую мясную и на последние деньги купила два фунта отличного мяса. Снова стала варить, и опять такая же история — едва только вода закипела, на ней образовалась пена. Пришлось все выбросить. Владимира Ильича угостила чаем и с тех пор никогда не берусь варить борщ.

А Феликс Эдмундович рассказал, как он ездил на последнее свидание к Ильичу в шалаш и какую замечательную «тройную» уху приготовил на ужин Владимир Ильич.

— Неужели Владимир Ильич умеет варить уху? — удивилась Александра Михайловна.—Впрочем, он волгарь, а на Волге все умеют варить уху.

Каменев, сидя за столом и нервически перебирая мелко исписанные листки, заметил:

— Сегодня мы еще раз убедимся, какую уху заварил Ильич.

— Кто ее только расхлебывать будет! — многозначительно отозвался из своего угла Троцкий.

— Вы служите революции, а когда дело доходит до действий, то прячетесь в кусты. Ильич прав, восстание откладывать нельзя.— Яков Михайлович сделал решительный жест рукой, словно подчеркнул свою мысль.

— Меня переубедить трудно,— буркнул Каменев, сбивая обеими руками записки в стопку,— у меня здесь все обосновано, и карта Ленина будет бита.

Дзержинский рассмеялся:

— Насколько мне известно, Ленин не любитель играть в карты, он предпочитает шахматы, и я уверен, что он сделает вам сегодня шах и мат...

Его прервал высокий дискант Зиновьева, так странно не гармонировавший с его коренастой фигурой и мощной шевелюрой черных, мелко вьющихся волос.

— Да, да, Ильич прекрасный шахматист. Я с удовольствием допускаю мысль, что он мог бы выиграть партию у Ласкера и стать чемпионом мира, но ставить на доску судь-

бы революции непозволительно даже Ильичу. Как известно, Москва высказалась против этого нереального плана Ленина.

— Не Москва, а некоторые московские оппортунисты, вроде Рыкова, Бухарина и других,— возразил ему Яков Михайлович.— Московская организация большевиков единодушно поддерживает линию Ленина на вооруженное восстание. И кстати, на днях в Питер приезжали представители армии Северного фронта. Они сообщают, что на фронте затевается какая-то темная история — готовится новая корниловщина. Нам медлить нельзя. А на флоте настроение за большевиков, матросы и солдаты пойдут за нами против Керенского. Что же, мы должны ждать, пока контрреволюция подготовится к наступлению?

— Ильич, к сожалению, увлекающаяся натура. Он желаемое выдает за действительность, он не видит, что Россия не созрела, не созрела для революции.

Ломов подошел к Каменеву и сел рядом.

— Вы помните, Лев Борисович, басню Крылова. Лисица увидела виноград, который висел очень высоко, ей было не под силу достать его, и она глубокомысленно сказала: «...ягодки нет зрелой».

— Да, да, не созрела. Силы противника больше, чем они кажутся.

— О, у страха всегда глаза велики,— заметил Дзержинский.

Яков Михайлович обратился к Каменеву:

— Знаете, Лев Борисович, мы носим с вами очки и считаем, что мы в них хорошо видим. Но я как-то сломал свое пенсне — помните? — и вы предложили мне свои запасные. Я в них ничегошеньки не увидел — сплошной туман.

— Я вашими очками тоже не мог бы воспользоваться, дорогой Яков Михайлович, в них все в розовом свете,— съязвил Каменев.

— А Ильичу,— продолжал спокойно Свердлов,— очки не нужны, у него свое зрение, и самое точное.

— Вы слепо ему верите,— бросил Троцкий.

— Я уподобляю Ленина Копернику. Коперник, как и все смертные, не ощущал на себе вращения земли, однако своим научным гением он как бы увидел нашу планету со стороны и создал свою гениальную гелиоцентрическую систему, доказав, что центр мира — это солнце.

— Кстати, Владимиру Ильичу из его подполья не видно было солнца. Зато мы с вами все время находились и находимся в эпицентре революционного урагана. А Владимир Ильич в своем одиночестве, вдали от Питера, ничего не видит, может только предполагать...— Каменев явно нервничал.

— Если говорить об одиночестве, то только о вашем, Лев Борисович,— обрезал его Феликс Эдмундович.— Ильич сегодня, я в этом уверен, выложит такие факты, такие убедительные доказательства, которые откроют вам глаза.

И, желая как-то остудить накаляющуюся атмосферу, Дзержинский подсел к Коллонтай и сказал ей:

— Как видите, Александра Михайловна, говядина всегда дает пену, и эту пену надо снимать.

— Да, да, товарищи, пену надо снимать, иначе она замутит бульон,— звонко рассмеялась Александра Михайловна.

— Что это за кулинарный разговор? — неожиданно раздался голос в дверях.

Все повернули головы.

На пороге стоял Владимир Ильич, осторожно отдирая кепку от парика.

— Здравствуйте, товарищи,— обвел он взглядом собравшихся.— Осторожно, осторожно, вы испортите мне прическу,— просил он, переходя из объятий в объятия.

Началось заседание, определившее ход и судьбу революции.

Заседание продолжалось более десяти часов...

Было уже далеко за полночь, когда Рахья с Владимиром

Ильичем вышли из конспиративной квартиры. Лил дождь. Владимир Ильич плотнее запахнул плащ, который заставил его надеть Дзержинский.

Одного взгляда на Ильича было достаточно, чтобы понять: сопротивление сломлено, линия на вооруженное восстание одержала верх.

Эйно Абрамович шел и сбоку поглядывал на Ильича — светится весь.

Рахья просидел все десять часов в соседней комнате. До него долетали отдельные слова. Профессорский баритон Каменева гудел как шмель, звенел голос Зиновьева. Разобрать, что они говорили, было нельзя, их прерывали репликами, шумом, возгласами возмущения. И воцарялась мертвая тишина, когда вступал голос Ленина. Кажется, он один был спокоен, чересчур спокоен, слишком рассудителен, часто повторял одну и ту же мысль и, казалось, долбил, долбил, долбил... Но почему, слушая его, у Рахьи мурашки бежали по коже, сердце колотилось так, что мешало слушать, и Рахья понимал, что этот немного картавый, иногда срывающийся голос может зарядить энергией миллионы, спаять, сплотить в единое дыхание, единую волю и единый порыв.

Какой же ты чертовски счастливый, Рахья,— партия тебе одному из двухсотсорокатысячного своего коллектива поручила охранять жизнь Ленина, и ты ответствен перед партией, перед рабочим классом, перед историей за эту жизнь.

Уникальные драгоценности охраняют сотни солдат, они заключены в сейфы, которые не берет ни огонь, ни бронебойные снаряды, а жизнь Ильича так хрупка, и ее охраняешь ты один, солдат партии Эйно Рахья! Бриллиантом «Шах» в девяносто каратов оплатило персидское правительство жизнь русского посла и писателя Грибоедова. Чем оценить жизнь Ленина? Пусть исчезнут все сокровища земного шара — жизнь человека не оскудеет от этого, бедняки от этого не станут еще беднее. А в жизни Ленина, в его воле, в его гении

ключи к счастью человеческому. Какой же бесценный дар охраняешь ты, Эйно Рахья!

И какой же ты несчастный, Рахья, что у тебя всего только одна жизнь, простая человеческая жизнь, которую ты только и можешь отдать за него. У тебя обыкновенные жилистые руки рабочего и в кармане всего два заряженных револьвера...

Нет, Эйно, ты не один охраняешь его жизнь, если бы ты был один, враги давно бы расправились с ним, Лениным. Весь рабочий класс стоит стеной за ним, и Ленин, сейчас шагающий рядом с тобой, недаром одет в одежду рабочего. Пролетарий велик, силен своей организованностью, и не два револьвера, а десятки тысяч винтовок, которыми вооружился рабочий класс, охраняют жизнь Ленина.

Сегодня штаб партии, Центральный Комитет, отверг капитулянтскую позицию оппортунистов, принял ленинский план действий.

«Признавая, таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы...»

Такое решение принял сегодня Центральный Комитет.

Это решение сформулировано Лениным и продиктовано всем ходом развития, всем положением в стране, в нем воля пролетариата и его партии.

А Владимир Ильич шагает по ночному Питеру под проливным дождем, и не тщеславие человека, победившего в споре, а простая человеческая радость переполняет его сердце, и плечи развернуты в свободной походке, они не согнулись под тяжестью ответственности за судьбы человечества.

— Вы все слышали? — вдруг спросил Владимир Ильич Рахью.

— Да, почти,— виновато ответил Эйно Абрамович.— Вы все довольно громко говорили, а я не мог оставить свой пост.

— За решение Цека проголосовало десять человек, против — двое: Каменев и Зиновьев. Но они должны подчиниться большинству.

— Пять шестых — это хорошее большинство,— заметил Рахья и подумал, что, наверно, не это надо было сказать, о победе надо было сказать.

Но Владимир Ильич, взяв его под руку и приблизив свое лицо к нему, заглянув в глаза, как бы доверительно сказал:

— Это не пять шестых, а это девяносто девять и девять десятых процента, если спросить всю партию. В проекции на партию решение Цека именно так будет выглядеть.

— Да, пожалуй, простая арифметика здесь не годится,— согласился Рахья.

— Нет, не годится.

Владимир Ильич остановился.

— Посмотрите,— сказал он,— на ту сторону Невы, на Зимний дворец.

Рахья, прищурив глаза, старался что-то рассмотреть сквозь хлеставший дождь, но видел только словно размытые водой огни.

— Это светится Зимний дворец, там заседает правительство Керенского, они готовятся против нас, мы приняли решение против них. Скоро, очень скоро, Эйно Абрамович, огни в этом дворце будут погашены. Очень скоро.

Продрогший Рахья еле удерживал мучивший его кашель.

— А мы с вами в такую погоду не скоро доберемся до Сердобольской,— сказал Владимир Ильич.— Вы ведь живете где-то здесь, поблизости?

— Да, всего минут десять — пятнадцать отсюда,— ответил Эйно Абрамович.

— Может быть, я могу переночевать у вас?

— Если вы считаете удобным,— обрадовался Рахья и, уже подходя к дому, догадался, что из-за него, Рахьи, идет Ильич к нему ночевать. Для того чтобы проводить Владимира Ильича на Сердобольскую и вернуться к себе домой, Ра-

хье нужно было бы сделать не меньше восемнадцати верст. Об этом и подумал Владимир Ильич.

Люли несказанно обрадовалась ночному гостю и принялась хлопотать с чаем.

— Вы что-то оба такие радостные, как с именин идете,— смеялась она.

— Да, мы сегодня загуляли,— в тон ей отвечал Владимир Ильич.

— Переоденьтесь скорее, оба мокрые, словно Неву вброд переходили,— вытаскивала Люли сухое белье из шкафа.

— Это, пожалуй, верно. Мы сегодня перешли Рубикон.

24. МАССЫ ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ

Решение ЦК о вооруженном восстании не было опубликовано, оно оставалось строжайшей партийной тайной, но с этого момента нарастающий революционный ураган стал целенаправленным, стал управляем. Борьба за социалистическую революцию вступила в решающую фазу.

12 октября по воле большевиков при Петроградском Совете был создан Военно-революционный комитет — революционный штаб вооруженных сил рабочего класса.

Свое решение о восстании ЦК вынес на проверку партийного актива Петрограда. И здесь Каменев и Зиновьев пытались свернуть партию с избранного пути. Всю ночь с 16 на 17 октября шли жаркие споры. Владимир Ильич со всей страстью сердца защищал резолюцию ЦК и к утру, когда все вопросы были выяснены, все доклады представителей районов заслушаны и обсуждены, было принято решение:

«Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК, призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания...»

Против этого решения поднялись опять две руки — руки Каменева и Зиновьева.

Мудрость Ленина, воля Ленина стала волей всей партии, всего рабочего класса.

Штаб восстания расположился в здании бывшего института благородных девиц. Величавое и строгое творение архитектора Кваренги более ста лет служило русскому дворянству — здесь воспитывались дочери дворян. Еще весной 1917 года тишину длинных коридоров Смольного нарушал шорох мягких девичьих башмаков, негромкая французская речь. Теперь коридоры заполнены солдатами, матросами, рабочими. Брyцают ружья, стучат кованые солдатские сапоги. В комнате, с двери которой еще не сорвана черная табличка с надписью «Классная дама», заседает «Военка» — военная организация ЦК совместно с представителями всех районных большевистских организаций Питера. Обсуждается вопрос о вооруженном восстании.

В перерыве заседания Яков Михайлович Свердлов знаком руки подозвал к себе члена «Военки» Подвойского и зашептал ему:

— Ильич вас ждет с отчетом о ходе подготовки восстания. С вами пойдут Антонов-Овсеенко и Невский. Разыщите их. Запомните адрес,— уже совсем на ухо шепчет Яков Михайлович.— Если заметите за собой слежку, в дом не входите.

— Есть, Яков Михайлович,— отвечает Николай Ильич и выходит из комнаты. В облаках махорочного дыма, в водовороте людей не легко найти нужного человека.

Невский стоит у окна. Его за пуговицу держит Зиновьев, что-то горячо доказывая.

Завидев Подвойского, Зиновьев насмешливо улыбается:

— Все спешите, мой друг, спешите. А куда торопитесь? Если вы сможете мне доказать, что, взяв власть, мы продержимся хотя бы две недели, даже десять дней, я буду тоже голосовать за восстание.

— Тсс...— предупреждает Подвойский.

Совсем не место говорить здесь о восстании, где кругом шмыгают меньшевики, эсеры, агентура Керенского.

— Спорить бесцельно. Мы уже в бою,— бросает Зиновьеву Невский, которого Подвойский тянет за собой.

Антонова-Овсеенко вытащили за рукав из группы моряков.

Все трое взволнованы. В каком порядке и как докладывать Ильичу? Времени собраться с мыслями нет. Садятся в автомобиль и выезжают из Смольного. В одном из темных переулков покидают машину — лучше идти пешком и в одиночку. Расходятся в разные стороны.

Над Питером уже взошла полная луна, когда они добрались до квартиры рабочего Павлова, где их ждал Ильич.

Подвойский пришел первым. Рахья открыл ему дверь и проводил в комнату. Из-за стола навстречу поднялся седой старичок в дымчатых очках. Подвойский остановился в недоумении.

— Что, не признаете, Николай Ильич? — лукаво спросил Владимир Ильич, снимая очки. Из-под седых насупленных бровей блеснули карие молодые глаза.

— Уж если я вас не узнал, Владимир Ильич,— развел руками Подвойский,— то ни одному филеру не придет в голову заподозрить в этом старичке Ленина.

— Один молодой человек предложил мне даже помочь перейти улицу,— трясет руку Подвойского Владимир Ильич и весело смеется.

Через несколько минут подошли Антонов-Овсеенко и Невский.

Владимир Ильич остался очень доволен, что никто из них не узнал его сразу, и, положив очки на стол, сказал:

— Ну, что вы думаете о восстании? Какими силами мы располагаем? Расскажите ваши впечатления,— обратился он к Антонову-Овсеенко.

Владимир Александрович — военный по образованию, революционер по профессии, снискал себе любовь моряков Балтийского флота своей искренностью, неистовой работоспособностью. Близкие товарищи знали, что по ночам он писал стихи. Стихи Антонов-Овсеенко писал всю жизнь, писал для себя, для души — это были чистые, певучие и нежные строки. Но когда он выступал на митингах, его могучий бас захватывал в плен слушателей, его выступления в казармах вызывали всегда восторженное солдатское «ура», и партия направила его в решающий момент на работу в «Военку».

— Я могу говорить только о флоте и Финляндии,— начал Антонов-Овсеенко.— Моряки Гельсингфорса и Кронштадта готовы к выступлению, исключение составляют несколько миноносцев и подводных лодок. Настроение пехоты в Финляндии, особенно в Выборге,— прекрасное. На фронт солдаты идти отказываются, но рвутся в бой, чтобы покончить с буржуазией.

— Отлично, отлично,— с жадностью слушает Владимир Ильич.— Выборгский гарнизон показал уже себя в дни корниловщины. А что, если весь флот направить в Петроград?

— Это невозможно,— отвечает Антонов-Овсеенко,— фарватер не позволит. Можно подтянуть в Неву крейсера «Аврору» и «Зарю свободы».

— Но нам моряки нужны в Петрограде. Без них не обойтись. Как решить эту задачу?

— Перебросим по железной дороге сборный отряд моряков и выборжцев,— предлагает Невский.

Владимир Ильич соглашается.

— Какова обстановка на Северном фронте?

— Настроение боевое,— уверенно отвечает Антонов-Овсеенко.

— Все ли полки с нами заодно? — уточняет Ильич и, уловив заминку с ответом, говорит: — Поезжайте туда, выясните лично. Выезжайте сегодня же. Предварительно обсу-

дите с Яковом Михайловичем вопрос о переброске моряков в Питер.

— Мне кажется, что мы несколько преувеличиваем нашу готовность к восстанию,— вступает в разговор Невский.

— То есть? — интересуется Ильич.

— Нам надо еще создать надежные заслоны от контрреволюционных войск — преградить им путь на Питер. Необходимо послать ответственных товарищей в Минск и Брянск. На Северном фронте надо проверить состояние Двенадцатой и Пятой армий.

Владимир Ильич слушает с интересом, чертит что-то на бумаге.

— Пошлите товарищей сегодня же. Ну, а каково положение в самом Питере? — спрашивает Ильич Подвойского.

Подвойский, всем своим обликом похожий больше на художника, музыканта, чем на руководителя военной организации, докладывает о состоянии боевых частей партии. И сейчас он весь — сгусток энергии.

— Красная гвардия Выборгского района — большая сила, охватывает все фабрики и заводы района. Бывший лейб-гвардии Московский полк, расквартированный в этом районе, всецело на стороне большевиков, готовится к выступлению в тесном контакте с Красной гвардией.

В Московско-Нарвском районе центром является Путиловский завод с его сорокатысячной армией рабочих.

Петроградский район также располагает крепко спаянной, дисциплинированной Красной гвардией.

Солдаты Петроградского гарнизона выполняют приказы Военно-революционного комитета, в их составе бронедивизион с семнадцатью броневиками. Это тот самый дивизион, который в апреле, не побоявшись военного суда, вывел броневики к Финляндскому вокзалу, чтобы встретить Ленина.

— Так это они тогда затащили меня на броневик? — заметил Владимир Ильич.— А как обстоит дело с Петропав-

ловской крепостью? — Карандаш в руке Владимира Ильича быстро бегает по бумаге.

— Стовосьмидесятый полк и осадная артиллерия крепости на нашей стороне,— твердо отвечает Николай Ильич.

Владимир Ильич откинулся на стуле.

— Подумайте, товарищи, какая силища у революции! Пятьсот тысяч рабочих, сто пятьдесят тысяч гарнизона да еще кронштадтцы, выборжцы...— подвел он итог.— Грандиозная сила. Ну, а как вооружены отряды?

Подвойский с гордостью сообщает, что военная организация может в любом полку вычерпать почти все оружие из цейхгаузов.

— Оружие мы можем достать в любом количестве...

— Постойте, постойте,— перебил его Ленин.— Вы отберете оружие у солдат, чтобы вооружить рабочих? Перекладываете из одного кармана в другой? Не годится, не годится это. Оружие надо брать из арсеналов и складов боеприпасов. Пока на нас работает один Сестрорецкий завод, но этого мало. Через большевиков, работающих в Петропавловском арсенале, Новом арсенале — знаете, что на Литейном — и в Старом арсенале на Выборгской стороне, надо получить доступ к оружию, чтобы в нужный момент нам открыли эти склады. Солдаты должны иметь оружие в избытке. Чем больше оружия будет у солдат и рабочих, тем скорее мы победим, тем меньше будет жертв.

— Да, Владимир Ильич,— смущенно сказал Подвойский,— я об этом не подумал. Но это исправить легко.

— Расскажите, что из себя представляют командиры Красной гвардии, знают ли они основы военного дела, обучены ли тактике уличных боев, могут ли сами стрелять без промаха?

Подвойский почувствовал себя как неопытный боксер на ринге — с этой стороны он своих командиров знал очень мало.

— Ай-яй-яй, — корил его Владимир Ильич.— Вот так

председатель военной организации! Ну как же вы будете руководить восстанием, когда вы не знаете, на что способны ваши командиры?

И очень одобрительно отнесся к сообщению, что рабочие теперь обучаются военному делу не тайно в лесах, а во дворах самих предприятий или на манежах соседних воинских частей.

— Очень хорошо, это отлично! — похвалил Ленин.— Теперь давайте наметим, какие пункты надо занимать в первую очередь.

Владимир Ильич вынул из кармана план Петрограда и расстелил его на столе. У Подвойского уже был составлен этот перечень: телеграф, телефонная станция, вокзалы, мосты...

— Мосты — это главное, мосты в первую очередь,— сказал Владимир Ильич.— Рабочие районы связаны между собою и с центром Петрограда восемью мостами. Они должны быть захвачены в первую очередь, чтобы контрреволюция не могла разобщить наши силы. Выделите для этого самые крепкие дружины, главным образом из молодежи, способные пойти на смерть, но не отступить...

Владимир Ильич сдвинул парик, как кепку, на затылок, карандашом чертил на карте стрелы, кружочки. Весь Питер сейчас был перед его глазами, и он указывал, куда направлять главный удар, какие районы оцепить, где выставить заслоны...

— Немедленно займитесь всем этим, товарищи. Вы, Николай Ильич, завтра же лично поговорите с командирами, неподготовленных для этого дела смените, других тщательно проинструктируйте. Времени у вас в обрез, момент восстания назрел и упустить его нельзя.

— Мне кажется, Владимир Ильич, спешить с восстанием не стоит,— мягко возразил Подвойский.— Чем лучше мы подготовимся, тем успешнее его проведем. В некоторых полках надо провести дополнительно разъяснительную работу.

Сомнение вызывают такие полки, как Преображенский и Семеновский. Там еще работы по горло. Есть полки, на которые мы не можем рассчитывать, и они могут послужить опорой Керенскому.

Владимир Ильич нетерпеливо надвинул парик на лоб, и лицо его, до этого возбужденное, радостное, помрачнело.

— Что же вы предлагаете?

— Отложить восстание до полной готовности.

Владимир Ильич встал. Весь его облик выражал крайнее нетерпение.

— Именно потому, что Керенский может опереться на реакционные полки, вызвать верные ему части с фронта, мы не можем откладывать восстания. Мы не должны дать правительству подготовиться. А оно уже, по всей видимости, кое-что пронюхало. Весь государственный аппарат в руках буржуазных партий, они имеют громадные возможности, и, если мы будем ждать, они разгромят нас. Мы вынуждены будем вместо наступления перейти в оборону, а это смерти подобно! — горячо, страстно убеждал Ильич.— Готовиться, готовиться день и ночь. Самые главные недоделки можно завершить за день, два. Но недоделки всегда останутся. Мы готовимся с вами не к парадному шествию, а к восстанию. Никогда еще у нас не было таких шансов, такой поддержки масс и такой растерянности в рядах противника. Массы налицо. Они полны решимости. Наладить военное руководство ими. Дать возможно больше оружия. И мы победим. Обязательно победим.

Подвойский просиял. Сомнения рассеивались. Им владело только одно желание — скорее встретиться с командирами отрядов Красной гвардии, передать им тот заряд, который он получил сегодня. Тысячи преград и препятствий, казавшихся еще вечером непреодолимыми, теперь отошли. Владимир Ильич сумел выявить главное.

— Владимир Ильич, будьте уверены, задача теперь ясна,— сказал Подвойский.

— Ночь уже на исходе, пора расходиться, и передохнуть всем малость не мешает,— сказал наконец Владимир Ильич.

— Отдохнем после победы,— махнул рукой Антонов-Овсеенко, который всегда считал, что сон — это скучная необходимость.

Подвойский повертел в руках план города, исчерченный Владимиром Ильичем.

— Можно мне прихватить с собой? — спросил Николай Ильич.

— Э, нет,— возразил Владимир Ильич.— Вы и так все знаете, а вещественных доказательств при себе нам иметь не нужно.

Он поднес край листа к лампе, подержал его над стеклом и, когда бумага вспыхнула, бросил ее в печку и следил, пока она не догорит до конца.

— И кстати, чрезвычайно важно, архиважно, чтобы решение о восстании, его план и главное — срок восстания сохранялись в строжайшей тайне,— предупредил Владимир Ильич на прощание.

Подвойский, Антонов-Овсеенко и Невский шли разными путями, но все они шли не домой, а в Смольный. Через несколько часов наступит утро.

Подвойский шагал по улице и повторял про себя: «Массы налицо. Они полны решимости. Наладить военное руководство ими. Дать возможно больше оружия. И мы победим. Обязательно победим». «Обязательно победим!» — в такт шагов повторял он.

У Антонова-Овсеенко складывались стихотворные строчки, на этот раз боевые, пафосные.

Невский теперь по-настоящему понимал, что рабочий класс уже в бою и он сам в бою, и казалось, за эти часы он прожил длинную жизнь...

25. ЧУДОВИЩНО!

В этот день, как и всегда, Маргарита Васильевна принесла все газеты, выходившие в Петербурге. Владимир Ильич, напевая какую-то боевую мелодию, наводил порядок на своем рабочем столе. Заслышав шаги хозяйки, он живо обернулся и протянул обе руки за газетами.

— Через пятнадцать минут будем завтракать,— сказала Маргарита Васильевна.— Яиц раздобыла, картошки.

— Великолепно, я голоден, но боюсь, что вы меня так раскормите, что, когда мы победим, на меня будут пальцем указывать, как на буржуя.

Маргарита Васильевна покачала головой:

— Куда уж там! Надежда Константиновна все пуговицы на пиджаке переставила, только в обратную сторону.

Маргарита Васильевна в праздничном настроении пошла на кухню. Сегодня она может хорошо накормить Ильича, и у него настроение чудесное. Целое утро напевал.

На сковороде шипела и пузырилась яичница, на другой сковороде жарился в постном масле хлеб. Вдруг из комнаты Владимира Ильича послышался странный звук, похожий на стон.

Она поспешила к нему. Владимир Ильич сидел за столом спиной к двери. Маргарита Васильевна увидела только неестественно покрасневший затылок и руки, сгребавшие, мнущие газету.

— Какая подлость! Какое черное предательство!—услышала она, но не решилась спросить, что так растревожило Владимира Ильича.

Повернулась и на цыпочках пошла на кухню. Ждала, что отойдет, что раздастся его обычный веселый голос: «Маргарита Васильевна, можно вас попросить — стаканчик чаю?»

Владимир Ильич не выходил. Маргарита Васильевна, сидя на табурете, машинально протирала стакан и прислуши-

валась. Вот он отодвинул стул. Сейчас выйдет... Нет, ходит по комнате туда-сюда, туда-сюда, словно мечется. Сел... Опять встал. Ходит... Хоть бы поскорее Надежда Константиновна пришла — она должна быть сегодня к полудню. Но не может же человек с утра голодный сидеть! Может быть, поест и настроение лучше станет? Что его могло так огорчить? Какую газету он мял? Кого ругал за предательство?

Маргарита Васильевна снова подошла к открытой двери:

— Владимир Ильич, яичница-то стынет.

Он медленно повернул голову и невидящими глазами посмотрел на нее.

«Случилось что-то страшное», — поняла Маргарита Васильевна.

Она увидела Ильича вдруг странно постаревшим, а запавшие глаза выражали такую боль и муку, что у нее подкосились ноги. Надо было сказать какие-то слова успокоения, но она понимала свою беспомощность.

— Владимир Ильич, дорогой, да что случилось?

— Вот,—протянул он ей помятую газету «Новая жизнь», предварительно расправив страницу ладонями.

Маргарита Васильевна пошла на кухню, расстелила на столе газету. «Новая жизнь» — это променьшевистская газета, стоит ли на нее обращать внимание? В глаза бросился крупный заголовок «Нельзя молчать!». Автор пишет о распространяемых слухах, что 20 октября, в день открытия съезда Советов, предстоит «выступление большевиков» и он против этого выступления.

Неужели эта статья так расстроила Владимира Ильича? И какое же здесь предательство? Маргарита Васильевна прислушалась: Владимир Ильич ходил по комнате, видно, еще не успокоился... А сегодня под утро пришел домой и хоть был в своем седом парике — весь светился. Поспал часа три и принялся читать наказы крестьянских съездов и говорил, потирая руки: «Когда мы победим, Маргарита Ва-

сильевна, первое слово новой власти будет к крестьянам. Рабочее правительство передаст им землю, на которой они работают, которую они заслужили тяжким, многовековым трудом. А всем народам новая власть предложит мир. И это будет очень скоро, очень скоро, дорогая Маргарита Васильевна...»

Наконец раздался знакомый звонок. Пришла Надежда Константиновна. Она тоже была бледна и встревожена.

— Читали «Новую жизнь»? — спросила она.

Маргарита Васильевна кивнула головой.

— А как он? — Надежда Константиновна сняла пальто и никак не могла нацепить вешалку на крюк.

— Уж очень переживает, даже завтракать не стал. А из-за чего переживает-то?

Надежда Константиновна с изумлением посмотрела на Маргариту Васильевну.

Владимир Ильич вышел из комнаты.

— Читала? — спросил он глухим голосом Надежду Константиновну.

— Да.

— Согреть вам чайку? — неуверенно предложила Маргарита Васильевна, но Надежда Константиновна только рукой махнула, обняла за плечи Владимира Ильича, и они ушли к себе в комнату.

«Может быть, еще что в газете есть, что я упустила?» — подумала Маргарита Васильевна и стала просматривать ее с самого начала. Почти все статьи о восстании и все они против восстания. Вот сообщение, что съезд Советов отложен на 25 октября. Это расстроило Владимира Ильича? Но при чем тут предательство?.. Третья страница. В середине ее небольшая статья под заголовком «Ю. Каменев о «выступлении». Маргарита Васильевна знает, что Каменев видный деятель большевистской партии, член Центрального Комитета. Но чего это он вдруг выступает в меньшевистской газете?

Она внимательно читает и глазам не верит. Каменев заявляет, что он и Зиновьев обратились к организациям партии Петрограда, Москвы и Финляндии с письмом, в котором решительно высказались против того, чтобы партия брала на себя инициативу каких-либо вооруженных выступлений в ближайшие сроки... «Не только я и тов. Зиновьев,— указывает Каменев,— но и ряд товарищей-практиков находят, что взять на себя инициативу вооруженного восстания в настоящий момент, при данном соотношении общественных сил, независимо и за несколько дней до съезда Советов было бы недопустимым, гибельным для пролетариата и революции шагом»...

Теперь все понятно. Вот это уж действительно черное предательство — заявлять, что партия готовит вооруженное восстание, и призывать отказаться от него! Маргарита Васильевна поежилась. А она еще с какой-то там яичницей навязывалась и Надежде Константиновне сказала—из-за чего, мол, Владимир Ильич так расстраивается.

Чудовищно!

Маргарита Васильевна опустила газету на колени и провела по ней гневно рукой. Хотела стряхнуть с листа буквы, рассыпать эти слова.

Слово! Какой огромной таинственной и властной силой обладает оно. Оно способно излечить и погубить, может удесятерить силу человека и может раздавить его. С каким стихийным бедствием или орудийной канонадой сравнишь слово предателя, выпущенное в момент наивысшего напряжения революционных народных сил!

Чудовищно! Члены ЦК Каменев и Зиновьев предупреждают правительство Керенского, что партия готовит восстание, выдают партийные секреты врагу...

Целый день в квартире царила какая-то жуткая тишина, словно в доме был покойник. Владимир Ильич и Надежда Константиновна не выходили из комнаты. Тревожно и громко тикали часы в столовой.

К вечеру на квартиру Фофановой пришел Рахья. Он еще больше ссутулился.

— Переживает? — спросил он Маргариту Васильевну.

— Еще бы! Я просто не понимаю, как Владимир Ильич выдерживает все, что на него валится? Кому ж теперь верить-то можно? — отозвалась Маргарита Васильевна.

Владимир Ильич вышел из комнаты.

— Очень хорошо, что вы пришли. Не раздевайтесь, Эйно Абрамович. Вот письмо в Центральный Комитет по поводу измены Каменева и Зиновьева,— говорил он сиплым, словно простуженным голосом.— Вам надо спешно доставить его Якову Михайловичу. Я требую исключения из партии этих штрейкбрехеров...

Рахья смотрел не отрываясь на Владимира Ильича, пока он запечатывал конверт. «Сколько же времени вы уже в бою, Владимир Ильич, самом яростном, ожесточенном. Сколько нападок на партию, на рабочий класс вы отразили, а они сыплются, сыплются, эти атаки. Казалось, под их натиском рухнуть можно, сказать, бог или черт с вами, делайте как хотите, а у меня уж больше нет сил. Но вы, Владимир Ильич, этого не скажете и будете биться до конца, а конец— это победа». Рахья произнес все это мысленно, а вслух сказал:

— Через час этот пакет будет в руках Якова Михайловича.

26. «ПРОМЕДЛЕНИЕ... СМЕРТИ ПОДОБНО»

Временное правительство, предупрежденное Каменевым и Зиновьевым, отдало новый приказ о розыске и аресте Ленина.

Весь сыскной аппарат Керенского был поставлен на ноги — филеры, юнкера, специальные конные патрули рыскали по всему Питеру. Приказ был строгий: разыскать и доставить Ленина живым или мертвым.

С 18 на 19 октября Временное правительство заседало всю ночь, обсуждало заявление Каменева и Зиновьева, готовило чрезвычайные меры для разгрома революции, торопилось первым пойти в наступление.

Открытие съезда Советов, по настоянию меньшевиков и эсеров, было перенесено с 20 на 25 октября.

На 22 октября была назначена демонстрация казачьих частей, верных Временному правительству, так называемый «крестный ход».

«Военка» по совету Ленина направила в казачьи казармы лучших своих агитаторов. Нужна была безграничная вера в победу, большевистская страсть и убежденность, чтобы сломить казаков. На митинге они сами заявили: «Да что мы, окаянные какие, чтобы идти против рабочих, против солдат. Не враги они нам. Не пойдем мы на этот ход, будь он трижды неладен».

Рахья в тот день готов был связать себе ноги, чтобы они не бежали, а спокойно вышагивали. Он нес Владимиру Ильичу весть о том, что казаки отказались выйти на демонстрацию, и знал, как порадуется этому Ильич.

От Владимира Ильича он нес записку Свердлову, в которой Ленин писал: «Отмена демонстрации казаков есть гигантская *победа*. Ура! *Наступать* изо *всех сил* и мы победим вполне в несколько дней!..»

Но не слушались ноги Рахьи, были тяжелые и каменные, когда он нес Владимиру Ильичу очередное известие, что Каменев снова ратует за отсрочку выступления. «Ждать съезда Советов...» — уговаривает он товарищей. «Выступать рано...» — твердит Зиновьев. «Ждать съезда Советов... Арест Временного правительства не стоит на повестке дня. Это оборона»,— взывает с трибуны, пишет в газетах Троцкий.

А между тем «Военка» докладывает Ленину, что Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», революционные полки приведены в полную боевую готовность — они действуют по ленинскому плану, по плану ЦК. Даже Преобра-

женский полк, на который так мало рассчитывала «Военка» и так надеялся Керенский, заявил о своей готовности встать на сторону рабочих.

Каждый день посылает Владимир Ильич Маргариту Васильевну с записками, просит разрешения явиться в Смольный. И каждый раз она приносит ему отказ. Почему же медлят с выступлением, когда все готово? Кто медлит? Владимиру Ильичу необходимо быть в Смольном. Он уже не просит, он требует.

Наступило туманное утро 24 октября.

Владимир Ильич с нетерпением ждал Маргариту Васильевну, которая ушла за газетами.

Она явилась встревоженная. На рассвете юнкера ворвались в типографию большевистских газет «Рабочий путь» и «Солдат» и учинили погром. За типографию разгорелся настоящий бой. Рабочие отстояли ее и выпустили экстренный номер «Рабочего пути». Маргарита Васильевна принесла этот листок.

— Правительство перешло в наступление, теперь-то уже ясно, что ждать более нельзя. Маргарита Васильевна, очень прошу: немедленно пойдите в Выборгский райком и передайте от меня записку для Цека. Я должен немедленно быть в Смольном.

Владимир Ильич пробегает глазами газеты, отшвыривает их одну за другой. Теперь уже яснее ясного, что правительство Керенского не допустит открытия съезда, разгонит его, постарается вырвать инициативу наступления из рук рабочих.

Маргарита Васильевна возвращается.

— Не разрешают, Владимир Ильич,— говорит она,— ищут вас повсюду, не добраться вам до Смольного.

Следом пришел Рахья. Еле дышит.

— Правительство Керенского отдало приказ развести мосты, Владимир Ильич, Николаевский мост уже разведен. Шотман из верного источника узнал, что правительство при-

няло решение арестовать Военно-революционный комитет. И Троцкий с Каменевым новую штуку выкинули. Они только что подписали с представителями левых эсеров соглашение. Вот оно.— Рахья протянул листок бумаги.

Владимир Ильич пробежал его глазами.

«Вопреки всякого рода слухам и толкам Военно-революционный комитет заявляет, что он существует отнюдь не для того, чтобы подготовлять и осуществлять захват власти, но исключительно для защиты интересов Петроградского гарнизона и демократии от контрреволюционных и погромных посягательств».

— Итак, значит, оборона?

Владимир Ильич не сердится, он свирепеет. Садится за стол. Пишет. Строчки летят из-под пера. Пишет членам Центрального Комитета.

«Товарищи!

Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно.

Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс...

...Надо во что бы то ни стало сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и т. д.

Нельзя ждать!! Можно потерять все!!

...Надо, чтобы все районы, все полки, все силы мобилизовались тотчас и послали немедленно делегации в Военно-революционный комитет, в ЦК большевиков, настоятельно требуя: ни в коем случае не оставлять власти в руках Керенского и компании до 25-го, никоим образом; решать дело сегодня непременно вечером или ночью.

История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все.

Взяв власть сегодня, мы берем ее не против Советов, а для них.

Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия.

Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября, народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой; народ вправе и обязан в критические моменты революции направлять своих представителей, даже своих лучших представителей, а не ждать их.

Это доказала история всех революций, и безмерным было бы преступление революционеров, если бы они упустили момент, зная, что от них зависит *спасение революции,* предложение мира, спасение Питера, спасение от голода, передача земли крестьянам.

Правительство колеблется. Надо *добить* его во что бы то ни стало!

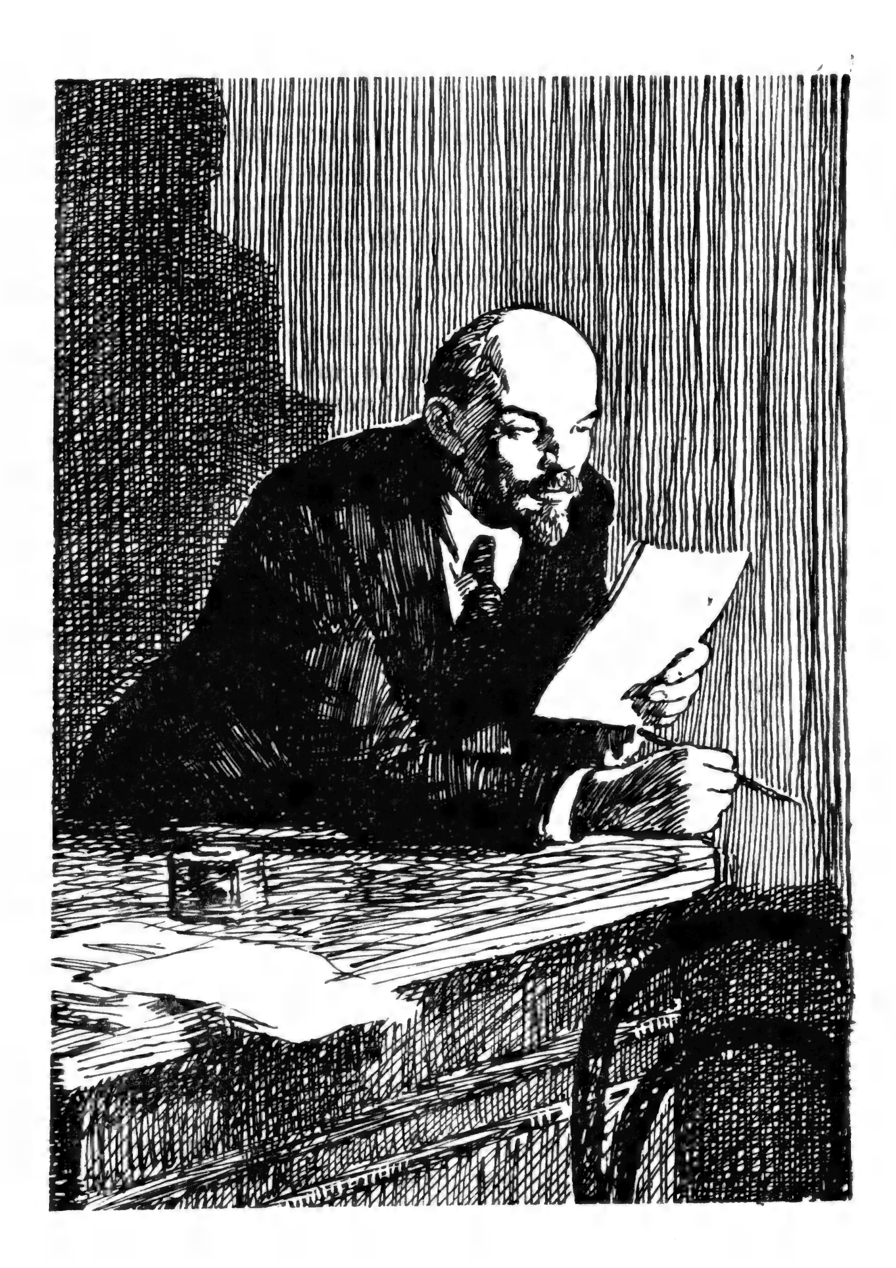
Промедление в выступлении смерти подобно».

— Маргарита Васильевна, отнесите это в Выборгский комитет, пусть немедленно передадут в Цека. Бегите бегом, схватите извозчика, только скорее.— Взглянул на ее уставшее, побледневшее лицо, но ничего не сказал. Маргарита Васильевна сама все понимает.

И едва закрылась за ней дверь, говорит Рахье:

— А мы, Эйно Абрамович, пойдем с вами в Смольный. Немедленно.

— Опасно. Ведь вас ищут днем с огнем,— но, увидев, что Владимир Ильич еле сдерживает свой гнев, Рахья примирительно говорит: — Давайте хоть внешность изменим. Скажем, зубы у вас болят, щеку платком обвяжем — и парик



прочнее держаться будет, и пальтишко надо поплоще выбрать.

Рахья вышвыривает из шкафа одежду, выбирает, что постарее, а Владимир Ильич, притулившись на краешке стола, пишет записку. Рахья подходит со свернутым с угла на угол платком, стоит, ждет. Невольно пробегает глазами записку. «Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил. До свиданья. Ильич».

И Рахья понимает, не Маргарите Васильевне пишет Ильич эту записку. Если бы он ей писал, то начал бы с обращения и не стал бы подписываться. И потом, разве от желания Маргариты Васильевны зависит, идти Ленину в Смольный или нет...

Понимает Рахья, что эта записка для ЦК, чтобы знали куда он пошел; и Маргариту Васильевну Ильич послал с письмом для верности, потому что по дороге он может попасть в руки юнкеров, и если сам не дойдет, письмо дойдет. Считанные часы остались до открытия съезда, начнутся споры, раздоры, меньшевики и эсеры разведут говорильню, а Керенский уже занес свой меч над революцией...

Десять верст от Сердобольской до Смольного. Время не терпит, могут развести мосты.

— Не бегите так,— просит Рахья,— а то люди внимание обращают.

— Сейчас все спешат, а у меня к тому же зуб болит. Вырвать его надо немедленно, иначе погибель. Скорее, скорее.

По улицам мчатся броневики, грузовые машины, стрекочут мотоциклы, все движется по направлению к Смольному. Вот если бы подвезли. Едут рабочие Трубочного завода с острова Голодай. Ильич выступал у них в мае. Владимир Ильич хватается за щеку, закрывает лицо — а вдруг кто узнает?

— Что, браток, болят зубы? — кричит, свесившись из кузова, рабочий.— Потерпи малость, мы скоро коренной, подгнивший зуб вырвем, а у тебя пустяк.

Юнкерский конный патруль преграждает путь. Схватившись за щеку, Владимир Ильич мчится дальше. Рахья затевает с юнкером разговор.

Десять верст от Сердобольской до Смольного.

Но вот трамвай.

— Куда едешь? — спрашивает Рахья вагоновожатого.

— В парк.

Парк по пути в Смольный. Подвезло!

Рахья и Ленин садятся в пустой трамвай. Ленин забивается в угол, держится за щеку.

— Куда это народ с оружием мчится? — спрашивает Рахья кондуктора.

— Известно куда — буржуев бить.

Медленно ползет трамвай, завывая на поворотах, быстро мчатся грузовые машины, переполненные вооруженными рабочими с красными знаменами.

Считанные часы остались до открытия съезда Советов.

Вот и парк. Теперь недалеко.

На огромной площади перед Смольным пылают костры. Строятся матросы, солдаты, рабочие, трещат мотоциклы.

Рахья еле успевает за Лениным. Больные легкие хрипят, как испорченный орга́н.

Второй этаж, третий... Владимир Ильич снимает пальто, кепку, развязывает щеку и, немного подумав, снимает парик, решительно вешает его на крюк рядом с кепкой.

— Успели, спасибо,— жмет он руку Рахье и исчезает за высокой белой дверью.

Рахья повис на перилах лестницы, оглядывает снующих, спешащих вооруженных людей и радостно смеется.

«Ух, какой же ты счастливый, Рахья, чертовски счастливый!»

По лестнице поднимается Антонов-Овсеенко. Рахья берет его под руку и, прижав палец к губам, весь искрящийся, подводит к открытой двери. Антонов-Овсеенко видит только знакомую лысину и широкую спину, ныряющую в объяти-

ях, видит, как Яков Михайлович Свердлов, взяв за дужку пенсне, вытирает глаза.

— Ильич в Смольном! Ильич во главе восставших! — разносится молва по коридорам, гудит по телефонным проводам, развозят самокатчики давно желанную весть по заводам и казармам.

27. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Нужна была ленинская рука, чтобы включить рубильник революции.

Восстание разворачивается полным ходом и строго по плану.

Центр города оцеплен. Мосты в руках восставших. Теперь они решают — вздыбить мосты над Невой, чтобы преградить путь контрреволюции или предоставить их для колонн спешащих рабочих, матросов, солдат.

Вокзалы захвачены рабочими дружинами... Телеграф взят... Телефонная станция в распоряжении Смольного, телефоны в Зимнем отключены... Радиостанция настраивается на дальние волны... Банковские сейфы под охраной рабочих...

Подступ к Зимнему преграждают баррикады из штабелей дров. Баррикады ощетинились стволами пулеметов. Тысяча восемьсот штыков юнкеров, прапорщиков, ударного женского батальона, казаков охраняют Зимний, шесть орудий и два броневика выставлены у входов.

К Зимнему стягиваются революционные части: выстраивается оцепление по реке Мойке до Невского; от Николаевского моста наступление на дворец доверено морякам — это главное направление удара; отряды Красной гвардии совместно с восставшими полками завершают окружение Зимнего. Созданы заслоны за линией оцепления, чтобы не допустить прорыва контрреволюционных сил...

Всеми окнами светились в эту ночь Зимний и Смольный.

В Зимнем заседало Временное правительство. Заседало последний раз.

В Смольном действовал Военно-революционный комитет — первый орган власти восставшего пролетариата.

Революционный ураган достиг наивысшего напряжения, но он управляем, он страшен тем, против кого направлен.

К утру 25 октября все ключевые позиции были в руках революционных частей.

Революция победила!

В десять часов утра Владимир Ильич пишет короткое воззвание «К гражданам России!». Десяток строчек вместил в себя результат борьбы десятилетий.

«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства,— это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

Но победа будет полной, когда Временное правительство будет заключено в Петропавловскую крепость, перестанет существовать, а пока оно заседает в пышном Малахитовом зале Зимнего дворца.

Владимир Ильич торопит со взятием Зимнего дворца. Пока Временное правительство, пусть блокированное, лишенное связи с внешним миром, заседает в Зимнем,— победу нельзя считать завершенной. Временное правительство должно пасть до открытия съезда Советов.

В 9 часов 40 минут вечера 25 октября, за час до открытия съезда, крейсер «Аврора» дал холостым выстрелом сигнал к началу атаки Зимнего.

Владимир Ильич каждые десять — пятнадцать минут посылает самокатчиков к Зимнему. «Почему не начинается штурм?» — «Не прибыли еще кронштадтцы,— отвечают.— Не подошли миноносцы из Финляндии...» Владимир Ильич торопит.

Съезд открылся в 10 часов 40 минут. Зимний еще не взят.

И снова самокатчики катят к Зимнему и привозят ответ: «Кольцо сжимается»... «Кольцо сомкнулось»...

Владимир Ильич в Военно-революционном комитете. Он руководит штурмом Зимнего. Он не пошел на съезд — сейчас не время для обсуждений, для полемики. Судьбы революции сейчас решаются не в дискуссиях, а в вооруженной борьбе на улицах Питера.

649 делегатов собрались на съезд, из них 390 большевиков.

— Владимир Ильич, съезд открылся,— приходит Яков Михайлович.— Вы придете?

— Приду тогда, когда будет одержана полная победа.

— Меньшевики и эсеры просто беснуются. Явились на съезд с декларацией протеста против «военного заговора и захвата власти, устроенного большевиками». Требуют переговоров с Временным правительством.

— «Переговоры» с Временным правительством уже ведут революционные полки и отряды Красной гвардии на Дворцовой площади,— отвечает с усмешкой Ленин.

— Надо им как-то ответить.

— Непременно. Ответим взятием Зимнего.

И снова самокатчик мчится на Дворцовую площадь и привозит ответ: «Штурм Зимнего начался!»

Известие о начавшемся штурме в зале съезда вызывает переполох, истерику правых эсеров и меньшевиков. Они готовы защищать Временное правительство собственной грудью. «Я иду сейчас на Дворцовую площадь,— вопит истошным голосом один из таких защитников, разрывая на себе рубашку,— я пойду безоружным, подставлю грудь под пули.

Пусть стреляют в меня». «Пусть стреляют и в меня...» «И в меня... и в меня... Прекратите штурм».

Владимир Ильич в Военно-революционном комитете. Он руководит последним и решительным боем.

И, наконец, в 2 часа 10 минут ночи на 26 октября прибывает Антонов-Овсеенко.

— Зимний взят! Зимний взят! Временное правительство арестовано и заключено в Петропавловскую крепость под верную охрану. Керенский успел скрыться.

В одной из комнат Зимнего дворца была обнаружена бывшая сестра милосердия бывшего ударного женского батальона. На ней был френч бывшего министра-председателя. Керенский в ее наряде пробрался между юнкерами неузнанным, юркнул в американскую машину, которая ждала его в темном переулке.

— Какие потери с нашей стороны при штурме Зимнего? — спрашивает Владимир Ильич.

— Шесть человек убито,— отвечает Антонов-Овсеенко, сжимая кепку.

Ленин встает. Шесть героев. Честь и слава им!

«В Петербурге совершилась революция. Самая бескровная революция в истории человечества» — летели депеши иностранных журналистов.

— А какая бы резня началась, если бы мы отложили восстание до съезда Советов... Меньшевики и эсеры, затеяв говорильню, дали бы возможность Керенскому подготовиться и обрушить удар на пролетариат,— говорит Антонов-Овсеенко.

— Идите на съезд и сообщите о взятии Зимнего.— Владимир Ильич восторженно трясет Антонова-Овсеенко за плечи.

— Зимний взят! Прения окончены!

Меньшевики и правые эсеры покинули съезд под громкие возгласы: «Скатертью дорога! Изменникам революции нет места на съезде!» Ушло человек пятьдесят. Съезд — пол-

номочный представитель восставшего и победившего народа — продолжал работу...

...Яков Михайлович трогает Ленина за плечо:

— Владимир Ильич, вам пора отдохнуть.

— Да, да,— соглашается он,— теперь можно. Но где бы поближе к Смольному?

— Пожалуйста, ко мне на квартиру, я живу рядом,— приглашает старый товарищ по партии, по эмиграции Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич.— Надежда Константиновна уже ждет вас там.

Светает...

Владимир Ильич выходит из Смольного. По привычке, установившейся за сто десять дней подполья, сжимает виски, чтобы приладить парик, и смеется звонко, раскатисто...

— Это просто восхитительно! Нет на голове этого ненавистного чужеродного тела,— говорит он, сняв кепку и проведя ладонью по лысине.

Окружающие Смольный улицы похожи на растревоженный муравейник, и весь Петроград походит на военный лагерь.

— Как с газетами? — спрашивает Владимир Ильич.

— Все буржуазные газеты закрываются,— отвечает Бонч-Бруевич.— Сегодня уже не выйдут. В редакциях произведен обыск, бумага реквизирована.

— Надеюсь, все сделано корректно и по закону, по закону новой власти? — допытывается Владимир Ильич.

— Да, да, комиссарам дано предписание Военно-революционного комитета.

На оживленное лицо Ленина вдруг набежала тень.

— Владимир Дмитриевич,— просительно обращается он к Бонч-Бруевичу,— сегодня же организуйте охранную грамоту Георгию Валентиновичу.

— Плеханову? — удивился Бонч-Бруевич.

— Да, да. Иначе у него могут быть неприятности. Кто-

нибудь вспомнит о его позиции, и заберут как контрреволюционера.

— М-да,— покачал головой Владимир Дмитриевич.— А вы знаете, что Плеханов выступил с воззванием к питерскому пролетариату?

— Ну? — заинтересовался Владимир Ильич.— К чему же он на сей раз призывает?

— Говорит, что напрасно питерский пролетариат взял власть в свои руки,— накликает разные беды и предсказывает тяжкие последствия.

— Бедный Георгий Валентинович! А как бы порадовался тот, прежний Плеханов нашей победе. Но мы введем, Владимир Дмитриевич, непременно введем философию Плеханова в серию обязательных учебников коммунизма. Это ведь лучшее во всей международной литературе марксизма.— Владимир Ильич остановился и глубоко вздохнул.— Да, да, не изучая Плеханова, нельзя стать сознательным, настоящим коммунистом.

— А как поступить с Алексинским? Этот тип может скрыться.

Владимир Ильич только брезгливо махнул рукой.

— Вы знаете, удивительно бодрое утро, даже спать не хочется.

— Ну, уж нет, спать, спать и спать,— говорит решительно Бонч-Бруевич.

— Спать, спать,— этими словами встречает в коридоре Владимира Ильича и Надежда Константиновна.— Ни о чем и разговаривать не буду.

— Ну, спать так спать,—покорно соглашается Владимир Ильич.

Он проходит в отведенную ему комнату, откидывает одеяло на кровати, снимает тяжелые башмаки и со стуком ставит их на пол. Гасит свет. Сидит на кровати и смотрит на яркую полоску под дверью— когда же, наконец, Владимир Дмитриевич угомонится.

А Бонч-Бруевич проверил замки на дверях, зарядил револьверы и положил их под подушку, поставил рядом с диваном телефон.

Владимир Ильич с нетерпением ждет.

Наконец светлая полоска юркнула в темноту.

Притаив дыхание, поеживаясь не то от утренней свежести, не то от радостного волнения, Владимир Ильич, крадучись, подошел к письменному столу, покрыл абажур настольной лампы газетой и включил свет. Прислушался — все спокойно. Выбрал из папки, лежавшей на столе, самый лучший лист бумаги, осторожно обмакнул перо в чернильницу. Под светом лампы кончик пера вспыхнул синим огоньком. По привычке сдавил виски пальцами. Вздохнул с облегчением.

Сверкающий кончик пера прикоснулся к бумаге и застыл.

«Как назвать? — думал Ильич.— Очень важно — как назвать?» — чуть постукивал пальцами о стол.

Решение пришло сразу. Уже глубже опустил перо в чернильницу, и на белом листе заискрились синим светом слова:

«ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ»

Это будет один из первых законов Советской власти, власти рабочих и крестьян. Народ победил в революции и должен немедленно почувствовать добрые плоды ее.

Ниже, чуть отступив от края, Ильич вывел крупную цифру «1», отчеркнул ее круглой скобкой. Быстро, четкими буквами написал:

«Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа...»

Поставил точку и зажмурился от нахлынувшего счастливого ощущения, а потом, уже не отрываясь, писал быстро, со вкусом.

Владимир Ильич взял листок бумаги за углы, приподнял его и шепотком прочитал.

И вот уже не мечта, не программа, которую надо отстаивать, а выстраданный народом, отвоеванный большевиками незыблемый закон.

Миллионы крестьян необъятной России. Еще вчера вы были батраками, бедняками, помещичьими холопами; ваши клочки земли — худшие клочки — ютились возле огромных латифундий помещиков. Земля, которую вы обрабатывали, поили и кормили, была в плену, недоступна вам и так желанна, и так нужна. Труженики деревни, вы проснетесь утром свободными гражданами свободной страны. Вся земля ваша, и все, кто трудится на ней, тот и пользуется ее благами.

На рассвете 26 октября 1917 года вековая мечта мужика, жадно искавшая выхода из неволи, взрывавшаяся войнами под водительством Степана Разина, Емельяна Пугачева, бунтами и расправами крестьян над помещиками, была осуществлена победившей революцией пролетариата.

Владимир Ильич чувствовал себя по-человечески счастливым и не мог сидеть в одиночестве со своим счастьем.

Осторожно приоткрыл дверь, на цыпочках прошел через столовую в комнату, где спала Надежда Константиновна.

А она и не спит. Стоит у окна, закутавшись в платок. Повернула к нему лицо, глаза сияют. И не удивилась, и не попрекнула, что он не спит. Разве уснешь в такую ночь?

— О чем думаешь? — спросил Владимир Ильич.

— О многом... о будущем.

— Я тоже. Хочешь знать, как звучит первый закон новой власти?

— Закон? — Брови у Надежды Константиновны высоко поднялись.— А нельзя ли, Володя, по-иному. Не закон, что-нибудь другое.

— Ты права. Я тоже задумался над этим словом. Слово «закон» связано со всем беззаконием царской России, керенщины. Уж очень опостылело оно народу. Я назвал этот закон декретом.

— Декрет... декретум...— повторила Надежда Константиновна,— как во времена французской революции, Парижской коммуны. Что ж, очень хорошо, хоть и иностранное слово. Ну, о чем же он?

— Первые декреты Советской власти будут о мире и о земле.

Надежда Константиновна взяла из рук Владимира Ильича листок. Стала читать шепотом, а потом, все более увлекаясь, уже громким голосом. Она смахивала с лица слезы, мешавшие читать. «Вся земля... обращается в всенародное достояние... руда, нефть, уголь... переходят в исключительное пользование государства». Это величественно!

— Это грандиозно, великолепно! — слышится голос позади.

Надежда Константиновна и Владимир Ильич оглянулись. На пороге комнаты стоял Владимир Дмитриевич. Разве можно спать в такую ночь!

— С добрым утром! Поздравляю вас с первым днем Советской власти! — Владимир Ильич идет ему навстречу, широко раскинув руки.

— Володя,— говорит Надежда Константиновна,— мне кажется, что тебе надо подумать о законе, который уже существует — о восьмичасовом рабочем дне, а твой рабочий день приближается уже к пятидесяти часам.

— Есть закон, но нет пока декрета,— смеется Владимир Ильич.

Бонч-Бруевич подошел к стене, на которой висел календарь, оторвал сразу два листка — за 24 и 25 октября.

— Кстати,— схватил его за руку Владимир Ильич,—вот вы, заядлый курильщик, скажите-ка, можно из такого листка скрутить козью ножку?

Владимир Дмитриевич повертел листок в руках.

— По-моему, можно,— и вопросительно взглянул на лукавое лицо Владимира Ильича.

— А ну-ка, скрутите, испытайте сами. Я, к сожалению, не мастак крутить козьи ножки.

«Что это задумал Ильич?» — недоумевал Владимир Дмитриевич, довольно неумело сворачивая узенький «фунтик». Разорвал папиросу, ссыпал в него табак, лихо загнул кончик и нерешительно посмотрел на Владимира Ильича.

— Курите, курите! На этот раз разрешаю.

Владимир Дмитриевич зажег самокрутку.

Надежда Константиновна тоже не могла понять, почему это Ильич в такой момент вдруг заинтересовался способом изготовления козьей ножки.

— Ну как, как? — нетерпеливо спрашивал Владимир Ильич.— Курится?

— Вполне.

— Превосходно, — потирал с довольным видом руки Ильич.— Скажите, у вас в издательстве на складе есть календари?

— К сожалению, очень много,— ответил Бонч-Бруевич,— и кипы великолепных многокрасочных спинок к ним.

— Ну, спинки ни к чему, а вот календари необходимы. Сегодня мы примем Декрет о земле, напечатаем его в газетах, отдельными листовками. Сотни тысяч. Раздадим солдатам, пусть повезут в деревню, прочитают крестьянам. Но по дороге они могут эти газеты и листовки раскурить, будут рассказывать о декрете своими словами, не точно, напутают. Вместе с декретом мы будем выдавать пачку календарных листков. Пусть крутят из них козьи ножки, а газеты с декретами доставят крестьянам в целости. Очень удобная штука эти календари,— говорил Владимир Ильич, разгоняя табачный дым от лица.— И не пора ли нам в Смольный?

...Вечернее заседание съезда Советов 26 октября было необычно многолюдным. На съезд явились участники восста-

ния, штурма Зимнего. Революционный шторм очистил состав делегатов съезда от меньшевиков, правых эсеров, от всех пособников буржуазии, как свежий ветер выдувает полову из зерна. Белоколонный актовый зал Смольного был набит до отказа.

Николай Александрович Емельянов протиснулся в зал и нашел себе место на подоконнике, потеснив матроса. В зале стоял нестройный гул голосов, как в оркестре перед началом увертюры.

Емельянов поглядывал вокруг. Вот две женщины в красных платочках, обнявшись, что-то говорят друг другу. Говорят обе разом, наверно, делятся впечатлениями вчерашнего дня. На выступе колонны сидит Рахья, рядом с ним притулилась Люли. Они увидели Емельянова, машут ему руками.

Матрос толкает Емельянова:

— Смотри, смотри, вон там под второй люстрой сидит женщина в полосатой кофточке, в темном сарафане...

— Вижу. Это Надежда Константиновна, жена Ильича. Я ее знаю.

— Я ее, что ль, не знаю? — обиженно говорит матрос.— Мы с пятого года знакомые. В шестом году я вот так же сидел на окне в Народном доме графини Паниной. Ильич выступал там под видом рабочего Карпова. Он тогда первый раз провозгласил: «Да здравствует победоносная революция!» Вот и дождались. Вот она и здравствует. И не какая-нибудь, со-ци-а-листическая!

Ленин появился неожиданно. Он вышел на трибуну с группой товарищей.

— Ильич! Ура! — понеслось с первых рядов, и уже могучее «ура-а-а» как прибойная волна вернулось к трибуне. Поднялся весь зал, в воздух полетели солдатские папахи; вздрагивая ленточками, кружились и плавно опускались бескозырки, крутились под самым потолком приплюснутые, замасленные кепки.

Многоголосое, победное «ура». «Да здравствует Ильич!» «Да здравствует Советская власть!» Ильич стоял праздничный, счастливый.

— Эх, не учел я, что Владимиру Ильичу придется вот так выступать,— прокричал на ухо Люли Рахья.— Я выбирал для него пиджачок что поплоше, что постарее!

Владимира Ильича одолевало то же чувство радости, царившее в зале. Наконец он поднял руку, призывая к тишине. Попросил сесть.

Но все продолжали стоять. Тишина наступила разом, только чуть позванивали хрустальные подвески на люстрах.

Первое слово новой власти о мире.

— Вопрос о мире есть жгучий вопрос, больной вопрос современности,— начал Владимир Ильич.

— Что наболело так наболело...—шепнул Роман Емельянову.

Николай Александрович кивнул головой и стиснул руку матроса.

— Тссс...

— «Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией,— торжественно читал слова Декрета о мире Владимир Ильич,— предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире».

Надежда Константиновна поймала себя на том, что она повторяет про себя каждое слово Ильича, а оглянувшись, увидела, что и рядом стоящие, не отрывая глаз от Ленина, шевелят губами, повторяя словно клятву слова декрета вслед за своим вождем...

Каждое слово, каждая мысль вождя о мире, о земле, о создании своего подлинно народного рабоче-крестьянского правительства доходили и до сердца и до сознания, вызывая слезы радости.

...Съезд закончил свою работу созданием нового, социалистического правительства — Совета Народных Комисса-

ров во главе с Лениным. Народ доверил руководство республикой Советов партии большевиков.

Владимир Ильич с товарищами протискивались сквозь заполненные народом коридоры, вышли на улицу.

Грузовые машины набивались людьми. Делегаты съезда разъезжались по фабрикам, заводам, казармам, кораблям, чтобы рассказать о первых декретах своей новой, Советской власти.

Во дворе Смольного все еще пылали костры. Слышались песни. Вот тронулся грузовик, переполненный рабочими, работницами... Это были большевики с Выборгской стороны. Стоя в грузовике и держась друг за друга, они пели:

...Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем!

1965—1967

РАССКАЗЫ





КОЛЬЦА ДРУЖБЫ

Наступил май. Черные пашни вокруг села Шушенского покрылись нежной зеленью. Редкий, наполовину вырубленный лесок прихорошился. Дороги подсохли.

Оскар сидел на завалинке и с угрюмым видом наблюдал, как быстро мелькают спицы в руках старой хозяйки.

— Что, недужится, сынок? — спросила женщина.

Оскар ничего не ответил. Да и что было отвечать? Он сам не знает, что с ним. Недавно Владимир Ильич целый час его расспрашивал: где болит, как болит? Оскар толком

объяснить не мог. Пропали силы — и все, и это в двадцать два года! С руками беда, мешают. Ляжет спать — рука под боком как камень, идет — руки по сторонам болтаются, сядет — не знает, куда их деть.

— Большая помеха для человека руки,— жаловался Оскар.

А Владимир Ильич смеется:

— Вылечим вас, Оскар Александрович, непременно вылечим.

Удивительный он человек, Владимир Ильич. Всегда весел, и ссылка ему нипочем. Работает много, пишет, а успевает и на охоту сходить, и какие-то мудреные шахматные задачи решать.

Мимо пробежал соседский парнишка Ленька с холщовой школьной сумкой через плечо. Взметнул босыми ногами облако пыли.

Был Оскар чуть побольше Леньки, когда отец — финский рабочий — повел его отдавать в люди. Остановились на Невском у витрины. За зеркальным стеклом на лиловом бархате рассыпаны несметные сокровища: тонкие золотые цепочки с подвесками, тяжелые браслеты, кольца и брошки с крохотными букетами из драгоценных камней. Были похожи те камни то на капли меда, то на утреннюю росу... «Вот и ты такие штучки будешь делать,— сказал отец,— я определил тебя к золотых дел мастеру». Мальчик даже зажмурился от радости. Он представил себе, как будет сидеть на бархатном стуле в бархатном колпаке и каким-то необыкновенным шильцем мастерить эти сказочные вещи.

Первое, с чем познакомился Оскар, был ригель — длиннющий стальной палец, на котором правят кольца. Сколько шишек на голове Оскара насажал этим ригелем мастер Тайфер — не сосчитать. Тайфер никогда не называл его по имени, окликал презрительно: «Эй ты, чухна!»

Четыре года присматривал Оскар за хозяйскими детьми, бегал за ситным, за водкой, урывками обучался ювелирно-

му мастерству, а в шестнадцать лет распрощался с хозяином и нанялся на Путиловский завод.

Был ювелиром, стал токарем. Был просто учеником, которого всякий обидеть мог, стал смелым революционером. Хлипкий парнишка выровнялся в ладного питерского мастерового. О крепости его кулаков мог рассказать провокатор, которого разоблачили на заводе.

Из-за этого провокатора и угодил Оскар в ссылку на три года.

...Оскар поднялся с завалинки и пошел в избу, к себе в комнату. Лежал, закинув руки за голову: не то дремал, не то о чем-то думал.

Очнулся от тележного скрипа и ребячьего гомона. Подошел к окну. Напротив, у дома Зыряновых, остановилась телега. На ней сидели две женщины в городских платьях, в шляпках. Орава ребятишек облепила телегу, и Ленька был среди них.

— Да ведь это невеста Владимира Ильича приехала! — ахнул Оскар, выбежал из избы и в три прыжка перемахнул через улицу.

— Вы Надежда Константиновна? Здравствуйте! — приветствовал Оскар девушку с тонкой талией, перехваченной широким поясом.

Девушка посмотрела на него смелыми светло-серыми глазами, и ее пухлые губы тронула веселая усмешка.

— А вы, наверное, и есть болящий Оскар Александрович? Что-то не похожи на больного! Здравствуйте! — Она протянула ему руку.— Познакомьтесь с моей мамой Елизаветой Васильевной. А почему Владимир Ильич нас не встречает? Он не болен?

— Они на охоту ушли,— разгребая пыль босой ногой, доложил Ленька.

Мальчишки хором подтвердили.

— Владимир Ильич очень вас ждал, волновался, каждый день из лесу цветы приносил, а вот сегодня, как нароч-

но, уехал на охоту,— попытался смягчить огорчительную весть Оскар.

— Что же нам делать? — оглянулась на ребят Надежда Константиновна.— Неужели уезжать обратно?

— Никак нельзя,— решительно возразил Ленька,— они к вечеру вернутся.

Оскар с мальчишками помог женщинам перетащить вещи в дом и ушел к себе. А вечером Ленька постучал в окно и сказал, что его зовет Владимир Ильич. Оскар стал приводить себя в парадный вид.

В доме Зыряновых было шумно, весело. Сияющий Владимир Ильич помогал Надежде Константиновне расставлять на столе чашки и упрашивал ее поскорее выдать подарки, а главное — не таить книги.

— Ну уж нет,— отрицательно качала головой Надежда Константиновна. Она пыталась выглядеть сердитой, но глаза у нее смеялись.— За такую встречу подарки отменяются. Подарки получат только Леня и Оскар Александрович: они нас хорошо встретили.— И Надежда Константиновна протянула Леньке новую книжку в блестящем переплете с яркими картинками.— А вот лекарство от вашей болезни,— показала она Оскару на плетеную корзину.

— Да, да, да! Сильнодействующие пилюли,—подтвердил Владимир Ильич.

Оскар нерешительно подошел к корзине, присел на корточки и стал ее распаковывать. Развязал веревки, поднял крышку. Видит — корзина наполнена какими-то свертками в синей промасленной бумаге. Развернул один — и глазам не поверил: шперак — маленькая наковальня для ювелирных работ. Развернул другой, третий, четвертый — полный набор ювелирных инструментов, и на самом дне — ригель.

— А, ненавистный вам ригель! — воскликнул Владимир Ильич.— Дайте-ка взглянуть.

— Ненавистный, когда он в злой руке,— возразил Оскар и встал в величайшем смущении.

Две хрупкие женщины четыре с половиной тысячи верст везли такую тяжелую корзину. Одних пересадок сколько, а ведь где помогут, а где и самим тащить приходилось.

— Это вы виноваты,— сказал с укоризной Оскар Владимиру Ильичу,— я ведь не просил, нет, не просил, только мечту имел.

На токарном станке в деревне делать нечего было, а вот ювелирной работы в здешней церкви много. Оскар как-то сказал об этом Владимиру Ильичу. Сказал — и забыл. А он помнил.

— Владимир Ильич такое письмо о вашей болезни написал, что мы готовы были тащить сюда токарный станок,— сказала, смеясь, Елизавета Васильевна, но Владимир Ильич сделал ей «страшные глаза» и приложил к губам палец.

Утром Оскар прибрал свою комнату, как к празднику: вымыл пол, выскоблил стол, постелил на нем кусок чистой холстины и разложил свой инструмент.

Он уже знал, с чего начать. Вынул из кармана пятак, посмотрел на него: двуглавый орел. Сразу вспомнил — полицейская кокарда, герб Российской империи. Правой лапой орел сжимал скипетр, напомнивший Оскару ригель в руке мастера Тайфера.

Положил пятак на наковальню и со злостью хватил по нему молотком. Монета расплющилась. Оскар сбил монету в бесформенный комок красной меди и зажег паяльную лампу. Скоро металл в лунке из угля расплавился и задрожал, как ртуть. Оскар вылил его в форму, сунул в ведро с водой и забыл обо всем на свете... Он пилил, шлифовал, правил на ригеле маленькое медное колечко, заблестевшее красным золотом. В полдень хозяйка пришла звать Оскара обедать, но он только рукой махнул. Некогда! Теперь у него была работа. Он глянул на свои руки. Жилы на них чуть-чуть вздулись, руки стали легкие, живые и совсем не лишние. Растопырил пальцы и сжал их, растопырил и снова сжал. Весело!

Он работал, напевая какую-то финскую песенку. К вечеру сделал и второе кольцо. Вычертил замысловатое украшение на листочке бумаги и оклеил им спичечную коробку.

По утренней росе побежал на берег Шуши. В то майское утро там цвели ландыши, одуванчики, куролеп. Оскар набрал цветов и связал их ниткой. Вынул кольцо из коробки. Солнце так и село на нем бриллиантовой каплей. Никогда он не видел кольца чудесней.

Оскар медленно пошел к дому Зыряновых. Потом не вытерпел, сорвал с головы картуз и побежал. Ему хотелось поскорее отнести свой подарок Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне.

Сибирский ветер разносил по степи слова придуманной Оскаром песни о чистых озерах, душистых лесах и о самом большом счастье для человека — иметь хороших друзей.

...Эти кольца хранятся в Центральном музее Владимира Ильича Ленина. От времени кольца потемнели, но они попрежнему прекрасны. Потому что сделаны по велению сердца, руками, стосковавшимися по работе. Это дар человеческой любви. Это кольца дружбы.

1959



УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ ОДНОГО

Уныло скрипят набухшие от дождей ставни, в окно бьется заплаканная акация, роняя с ветвей скрученные пустые стручки, за стеной в пристройке тоскливо мычит корова, повизгивают голодные поросята, почуяв удушливый запах подгнившей горячей картошки.

От всего этого хочется вырваться на свежий воздух, уйти в поле, в лес. Но вторую неделю идут дожди, пашни превратились в непроходимые болота, а с Саянских гор на Шушенское все ползут и ползут сизые мохнатые тучи.

Владимир Ильич вытер промокашкой перо, положил ручку в ложбину конторки и зябко поежился.

— Женька! — окликнул он щенка, который, свернувшись, как кошка, клубком, спал у его ног.

Рыжий сеттерок открыл яркий карий глаз, повизгивая, зевнул во всю пасть, вильнул хвостом и, уложив морду на лапы, сочувственно посмотрел на хозяина.

— Плохо одному, Женька, плохо.

Щенок повернул голову на один бок, на другой, вскочил на лапы, подпрыгнул и лизнул руку хозяина.

Владимир Ильич погладил собаку по голове и спросил:

— А что, Женька, если соблазниться и отправиться нам в путешествие, погулять по белу свету?

Женька понял только слово «погулять» и сразу заскулил.

Владимир Ильич не мог преодолеть искушения: вытащил заложенную в книгах географическую карту Европы и расстелил ее на столе. Привычным глазом отыскал голубую извилистую жилку, черную точку на ней, и перед ним вдруг распахнулась Волга и родной Симбирск. Дом на Московской улице. Мысленно толкнул рукой дверь, взбежал по восьми ступенькам на галерею, по пути заглянул в окно гостиной, увидел отца, Сашу, Олю... Их давно уже нет. Защемило сердце.

Вздохнул и перевел взгляд на другую точку. Казань... Здесь десять лет назад он впервые приобщился к борьбе против бесправия и произвола, познакомился с тюремной камерой... Самара... Четыре года напряженной учебы. Здесь решил для себя вопрос, каким именно путем идти дальше... Москва. Там неподалеку, в Подольске, живут сейчас мама, сестры Аня и Маняша, брат Митя... Мама пишет, что это

чудесный зеленый городок, и домик они сняли на берегу Пахры. Нет, Подольска он не знает, не был там. Возникают только лица милых близких. И... чего лукавить, душа его стремится в Питер. Вот Нева голубым ожерельем на горловине Карельского перешейка, и на ней, как окованный янтарь, Петербург. Там его мысли, заботы, любовь.

Вспомнилась декабрьская ночь девяносто пятого года. Собрались на квартире Надежды Константиновны Крупской, на квартире Надюши. Пришли все энтузиасты, кто создавал из разрозненных марксистских кружков «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Собрались, чтобы еще раз прочитать рукопись первого номера первой нелегальной марксистской газеты «Рабочее дело». Два экземпляра ее лежали на столе. По-молодому радовались своему первенцу, вычитывали, что-то подправляли. Предвкушали, как через один-два дня сотни экземпляров этой газеты разойдутся по питерским фабрикам и заводам. Один экземпляр будущей газеты остался у Надюши, другой взял с собой Ванеев. Дома не мог заснуть, мысленно перечитывал каждую статью, а к утру постучался дворник, за ним ввалилась полиция. Обыск. Арест. Четырнадцать месяцев тюрьмы, и вот ссылка.

Завывает ветер, треплет серую пелену дождя.

— Может быть, сбежать отсюда? А? — раздумывает вслух Владимир Ильич.— Нет, очень мало шансов на успех, а срок набавят в три раза больший.

Владимир Ильич принялся поспешно складывать карту.

— Нет, батенька, не годится так. Можно распустить нервишки до чертиков, нагнать на себя такую тоску, что хоть в петлю. Работать надо, работать. Не оставить ни одной минуты на бесплодные мечтанья, на тоску.

Снял с полки пачку книг, заложил карту к стене, заставил ее книгами. Подошел к конторке, взял лист бумаги и стал набрасывать план работы.

— Да, Женька, устроим себе не режим, а жестокий прижим. «Задачи русских социал-демократов» закончить к кон-

цу года. Над «рынками» работать ежедневно. Работать часов десять в сутки. Самообслуживание, письма домой и товарищам... прогулки... сон. И никаких отклонений. Все, точка. Больше по картам не путешествуем.

Владимир Ильич нацепил на настенный крючок листок бумаги с «прижимом» и, взяв счеты, стал выверять таблицу.

...В дверь постучали.

Женька подбежала к порогу и сердито зарычала.

— На место! На кого вздумала рычать? Неужели Проминский пришел? Едва ли он отважится месить грязь в эдакую погоду. Женька, на место.

Но собака, сделав стойку, злобно лаяла.

Владимир Ильич открыл дверь.

У порога стоял высокий, худощавый молодой человек. Видно, нездешний. Синяя косоворотка. Такие носят питерские рабочие. На голове ершиком торчат короткие волосы.

— Мне политического ссыльного господина Ульянова,— улыбнулся, как старому знакомому, молодой человек.

— Я Ульянов.

— Николай Петрович?

— Нет, Владимир Ильич.

— А мне помнится, в Питере вы назывались Николаем Петровичем.

— Неужели вы из Питера? — радостно вспыхнул Владимир Ильич.— Проходите.

— Из Питера, в ссылку припожаловал. Вам с Путиловского привет привез.

Владимир Ильич суеверно оглянулся на стол, карты на нем не было.

— Сам Питер припожаловал в гости,— радостно тряс он руку молодому пришельцу.— В самом деле с Путиловского?

— Оттуда. Фамилия моя Энгберг. Зовут Оскаром. А с вами мы знакомы. Я один раз был у вас на кружке, только

назывались вы Николаем Петровичем. Вот уж не думал, что встречу вас в этой глухомани.

Вокруг башмаков Оскара натекли грязные лужицы.

— Снимайте ботинки, вы совсем промокли. Наденьте мои. Сейчас попрошу хозяйку сделать чай, и вы мне все по порядку расскажете.

Женька, видя, как обрадовался хозяин, тоже приласкалась к гостю.

— Вы социал-демократ? — спросил Владимир Ильич, вернувшись из кухни и доставая стаканы из поставца.

— Да вроде.

— А за что вам назначена ссылка?

— Фамилию мою нашли в списке марксистского кружка, ну и за буйное поведение во время забастовки.

— Так, значит, вы изучали марксизм?

Оскар рассмеялся.

— Пробовал. У нас последнее время руководитель кружка был, он нам ясно растолковал: политическая борьба не нашего, рабочего, ума дело. Мы должны вести борьбу экономическую.

— А как же вы представляете себе свою роль — роль революционера?

— Я, Владимир Ильич, по правде сказать, против революции. По-моему, главное — это чтобы платили побольше, по-справедливому, чтобы рабочий день был как у людей, ну, уж если не восемь, то хоть десять часов, чтобы штрафами нас не обирали, а там хоть царь, хоть черт, мне все равно.

Владимир Ильич вздохнул: обработали человека «экономисты».

— Значит, вы считаете правильным, что вас арестовали, сослали в ссылку, лишили работы?

— Вот это неправильно. Но ведь если бы нас уважали, платили сполна, мы и бастовать бы не стали. А то мастер на тебя зверем, хозяин за человека не почитает; трое собе-

рутся, ну, может быть, покурить, полицейская ищейка тут как тут. Вот мы и забастовали, а я провокатора-мастера на морозе из шайки водой окатил.

Владимир Ильич пододвинул Оскару стакан чая, предложил хлеб и творог.

— Вы хотели бы быть грамотным марксистом?

— Что вы, Владимир Ильич, куда мне.

— Если захотите, станете им.

Владимир Ильич подошел к полке с книгами. «Эрфуртская программа»... «Манифест Коммунистической партии»... «Капитал» — все работы были только на немецком языке.

— Вы говорите с акцентом, и, судя по фамилии, вы швед?

— Нет, финн. Учился и в финской и в русской школе, но лучше знаю финский язык.

— Заходите ко мне завтра,— пригласил на прощание Владимир Ильич.

После ухода Оскара Владимир Ильич снял с крючка листок с планом и внес поправки: гулять не четыре, а три часа — час на занятия с Оскаром. Затем раскрыл «Эрфуртскую программу», перечитал ее, чтобы переводить с листа без запинки...

— «Эрфуртская программа германской социал-демократической партии...» — диктовал на следующий день Владимир Ильич Оскару и, заглянув к нему в тетрадь, спросил: — Почему вы написали «керманской»? Надо «германской».

— Плохо различаю я эти буквы. Всегда по русскому за это двойки получал. У нас в финском языке есть «к», «п», «т», а в русском есть еще какие-то двойники. Я их не могу ни выговорить, ни отличить друг от друга.

«Значит, в финском языке нет звонких согласных»,— подумал Владимир Ильич.

В другой раз Оскар задумался и написал «гапитал».

— Надо писать «капитал»,— поправил его Владимир Ильич.

— Ну что же это получается! — возмутился Оскар.— Пишу «керманской» — вы говорите надо «германской»; пишу «гапитал», а надо опять шиворот-навыворот. Ох, трудно это...

Владимир Ильич аккуратнейшим образом готовился к каждому занятию, и Энгберг видел исписанные листки, в которые Владимир Ильич, правда, заглядывал редко.

Иногда Энгберг приходил неподготовленный, не раскрыв даже книги, и, переступая порог, радостно сообщал:

— Владимир Ильич, утки прилетели! На болотах мальчишки их прямо палками бьют. Не пойти ли поохотиться? И Женька от безделья зажиреет, чутье потеряет.

— Вы не увиливайте, Оскар Александрович, скажите прямо: не подготовились.

Оскар виновато вздыхал:

— У меня уши, Владимир Ильич, способнее глаз. Слушаю вас — все как на ладони, а сам читаю — не доходит.

И нужно было много терпения, чтобы приохотить этого рабочего, не державшего после начального обучения книги в руках, к политической науке, привить вкус к ней.

Владимир Ильич читал Оскару вслух свои работы и зорко следил, понятно ли. И умел по потускневшему вдруг взгляду Оскара увидеть, что тот находится в затруднении или потерял нить мысли. Владимир Ильич отмечал карандашом «недоходчивый» абзац и потом сидел, шлифовал, оттачивал мысль.

Так прошло более полугода.

7 мая 1898 года в Шушенское приехала Надежда Константиновна.

— Вот теперь начнется настоящая учеба, у вас будут два преподавателя,— сказал Оскару Владимир Ильич.—Надежда Константиновна мастер обучать русскому языку, истории и другим наукам. И с ней вы продолжите изучение «Капитала».

Теперь Оскар уверенно вывел в тетради крупными бук-

вами: «Капитал» — и усмехнулся, вспомнив, что раньше он не мог даже правильно написать это слово.

...В тот день и Владимир Ильич и Надежда Константиновна с особым нетерпением ожидали своего ученика.

Оскар пришел в точно назначенный час, вытащил из-за пояса тетрадь, развернул ее на столе и вопросительно посмотрел на обоих.

— Кто у меня сегодня профессор? — спросил он.

Владимир Ильич, стараясь не выдать своего волнения, протянул Оскару вчетверо сложенные листки бумаги.

— Вот, почитайте. Сестра Аня прислала. Наверно, вам любопытно будет.

Оскар развернул листки.

— Что это?

— Это программа молодых социал-демократов, их кредо, то есть символ веры.

Оскар полистал, сел за стол и углубился в чтение. Владимир Ильич, сцепив пальцы за спиной, ходил из угла в угол.

Он волновался, как никогда. Разберется ли Оскар? Поймет ли? Или вся учеба пошла прахом?

Надежда Константиновна, сидя в стороне, наблюдала за Оскаром. Тот читал и пожимал плечами. Перечитывал вновь, а потом хлопнул ладонью по листку, словно муху убил.

— Ну, Владимир Ильич, я не знаю, как вы, но я с этим не согласен. Вы подумайте,— потрясал Оскар брошюрой,— они пишут, что создание самостоятельной рабочей политической партии—не наша задача. Перепевают старую песню: мол, пусть рабочие добиваются увеличения заработной платы, улучшения условий труда, то есть ведут экономическую борьбу, а политическую будет вести свободомыслящая буржуазия. Не годится это. Видно, эти «молодые» социал-демократы еще совсем зеленые.



Владимир Ильич взглянул на Надежду Константиновну. Она была довольна.

— Владимир Ильич,— горячился Оскар, не зная, как понять молчание обоих,— ведь вы сами мне втолковывали, что рабочему классу без своей политической партии никак нельзя, что задача пролетариата — это завоевание политической власти.

Владимир Ильич радостно потирал руки.

— Правильно, дорогой Оскар Александрович. Вы совершенно правы. Я не хотел навязывать вам своего мнения.



Был уверен, что вы сами разберетесь, куда тащат эти «экономисты».

— Что же, зря, что ли, вы создали университет для меня? — смущенный похвалой, сказал Оскар.

Владимир Ильич чувствовал себя именинником, сдавшим трудный экзамен.

— Не сходить ли нам, Оскар Александрович, на тетерок? Женька который уже день скулит, боюсь, чутье потеряет.

— Э, нет,— рассмеялся Оскар,— у меня к вам вопросов сегодня тьма-тьмущая.

...Владимир Ильич писал ответ русским «экономистам», готовил резолюцию совещания, о котором товарищи по ссылке были уже оповещены.

В августовский теплый день 1899 года в селе Ермаковском у постели больного Ванеева собрались шестнадцать социал-демократов, отбывающих свою ссылку в Минусинском.

Обсуждали «кредо» «экономистов» и протест против него российских социал-демократов. И когда пришло время голосовать за резолюцию, Владимир Ильич взволнованно следил, как поднимались руки. Поднял свою прозрачную руку Ванеев, решительно вскинул руку Оскар Энгберг, и Владимир Ильич видел, что он голосовал за резолюцию сознательно, убежденно, и сам торжественный вид путиловского рабочего говорил о том, что он понимает всю ответственность перед своим классом.

Все семнадцать проголосовали за ленинский ответ.

1967



ЭДЕЛЬВЕЙС

Морис лежит на плоском уступе скалы и, свесив голову, смотрит вниз. На отвесной известняковой стене над зеленой бездной мерцают белые звезды эдельвейса.

Не часто выпадает человеку счастье найти этот цветок и еще реже — сорвать его. Эдельвейс любит недоступные мес-

та и тихое одиночество. Недаром иностранцы платят за него большие деньги.

Рядом с Морисом сидит его верный друг пес Джим и внимательно следит за хозяином, будто понимает, что тот замышляет опасное дело. Собака поводит чуткими ушами. В кустах бродят коровы, позвякивают тяжелыми колокольцами, подвешенными на шее. «Зде-есь мы! Зде-е-есь мы!» — отдается многоголосое эхо в горах.

— Как ты думаешь, Джим, завладеем мы этими цветами? А?

Джим скашивает умные глаза на хозяина и молчит.

— Нет, не добраться нам до них, нет! — вздыхает мальчик.— Собирай коров, пора домой.

Морис свистнул, и Джим с громким лаем скрылся в кустарнике. Веселее зазвенели колокольцы, коровы стали послушно спускаться вниз.

У моста Морис заприметил незнакомых ему людей — мужчину и женщину. Они стояли в стороне, ожидая, пока пройдут коровы и уляжется пыль.

— Мальчик, ты не скажешь, где здесь можно переночевать? — спросил мужчина, когда Морис поравнялся с ним. Из-под войлочной шляпы глядели веселые карие глаза.

— Я спрошу у отца,— неопределенно ответил Морис, разглядывая туристов.

Мужчина держал под руку женщину с пышными светлыми волосами. У обоих за спиной рюкзаки, в руках альпийские палки.

Иностранцы редко заглядывали в эту ничем не примечательную деревушку в распадке гор. Крестьянским домам они предпочитали удобные отели, опасным крутым тропинкам — подвесную дорогу.

Владимир Ильич и Надежда Константиновна любили бродить по диким местам и отдыхать среди простых людей.

— Речка-то как звенит, словно хрустальные камешки перекатывает,— прислушалась Надежда Константиновна,

когда они договорились с лесорубом о ночлеге и устроились на крылечке отдыхать.

— Очень хорошо здесь, красиво, но, скажу тебе по секрету,— и Владимир Ильич наклонился к жене,— на Волге лучше. И красивее березовой рощи я ничего на свете не видел. Только здесь, вдали от родных мест, ощущаю я это со всей силой...

Надежда Константиновна понимала — тоскует по родине Ильич. Вынужденный жить в эмиграции, в Швейцарии, он мыслями всегда там, в России.

Огромное солнце повисло над самыми вершинами, словно силилось растопить вечные льды. Высоко над деревушкой, между пиками двух гор, плыл вагончик, поблескивая на солнце стеклами. Тросов снизу не было видно, и казалось, что вагончик, покачиваясь на ветру, плывет на белом облаке.

Хозяйка принесла по кружке парного молока — пена возвышалась снежной вершиной.

Надежда Константиновна развязала рюкзак, разложила на столе снедь и пригласила к столу хозяев:

— Давайте поужинаем вместе!

Лесоруб с женой смущенно переглянулись и присели к столу.

Владимир Ильич позвал Мориса.

— Тогда будем считать, что у нас сегодня праздничный ужин,— сказал хозяин.— Есть у меня бутылка старого вина, сам делал и берег для хороших людей.

Лесоруб присматривался к гостям.

— Из какой вы страны? — поинтересовался он.

— Из России. Слыхали?

— Из той самой России, из которой Суворов?

— Да, да.

— Великий человек...— заметил хозяин.— Каждый швейцарец знает это имя, каждый слыхал о подвиге русских



солдат. В последние годы наши газеты много писали о революции в России, о том, как она погибла...

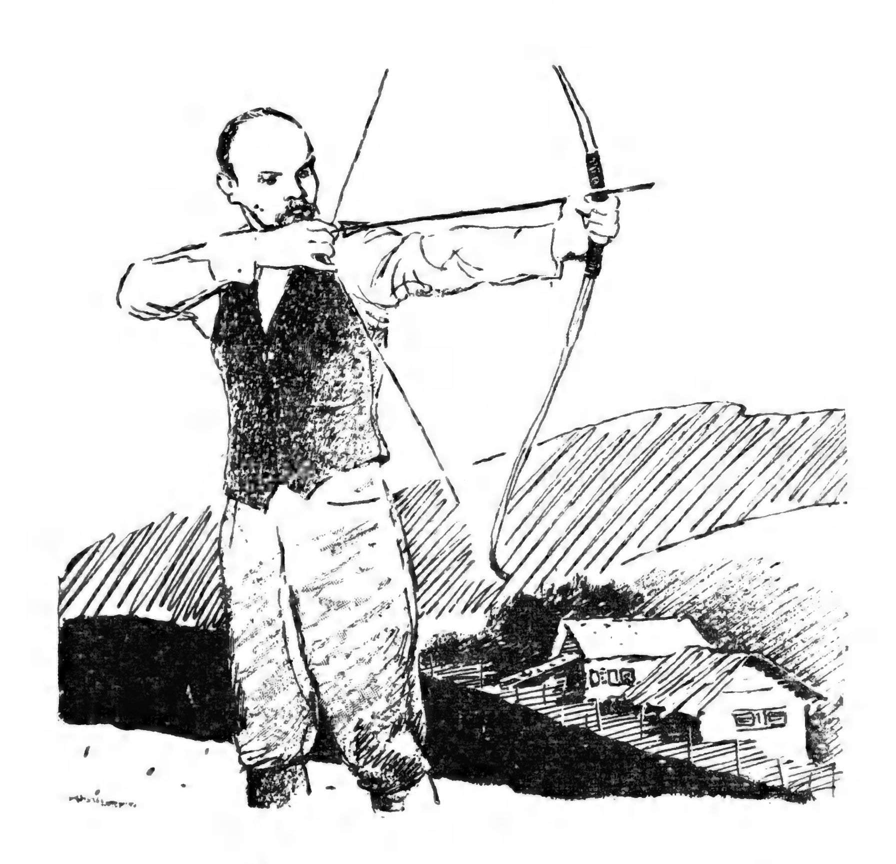
— Нет, не погибла! — живо воскликнул Владимир Ильич.— Разве солнце, которое скоро скроется за снежной вершиной, погибает? Завтра оно засияет снова.

Много удивительного узнали лесоруб и его жена о далекой России, о русских людях.

Морис сидел на крыльце, слушал и стругал буковую палку.

— Что ты мастеришь? — спросил его русский.

— Стрелу,— ответил мальчик и показал глазами на стену дома, где были развешаны луки.



Владимир Ильич снял лук, натянул тетиву и поднес к уху. Тетива зазвенела как струна.

— Отличный лук,— похвалил гость.— Давай состязаться. Давно я не стрелял из лука. Видишь дупло в дереве? Целюсь в него.

Стрела взвизгнула, задела кору дерева и... нырнула в траву.

— Неудача,— огорчился гость.— Теперь твоя очередь.

Морис широко расставил ноги, затаил дыхание и прищурил левый глаз так, что морщинки побелели на его загорелом носу. Дзинь! Стрела вонзилась в рыхлый край дупла.

Владимир Ильич даже присел от восторга.

— Вот это меткость! Из тебя получится великолепный стрелок.

Морис видел, что русский по-настоящему обрадовался его успеху и вовсе не завидовал.

— Вы тоже метко целитесь. Постреляете еще, будете попадать в цель, как Вильгельм Телль.— Правила гостеприимства требовали ободрить гостя.

— Вильгельм Телль? — Владимир Ильич хитро прищурился, словно и не слыхал о нем.— А кто же это такой?

— Вы не знаете нашего Вильгельма Телля?! —вскричал Морис.— Кто же не знает об отличном стрелке, крестьянине Вильгельме Телле, жившем в этих местах! Телль был смел и горд. Когда его родину поработили австрийцы, он отказался кланяться шляпе австрийского герцога, висевшей в парке на шесте. Об этом учитель нам еще в первом классе рассказывал. Австрийский герцог решил жестоко наказать дерзкого охотника и приказал ему стрелять в яблоко на голове сына. Телль метко выстрелил, стрела расколола яблоко пополам. Вместе со своим сыном Телль отправился в горы, собрал народ, и они двинулись на австрийских поработителей. Для герцога Телль приберег вторую стрелу и угодил прямо в его собачье сердце. Вот какой наш Телль,— заключил Морис, блестя глазами.— Он один-единственный во всем мире.

— Но это было много веков назад, Морис, а теперь в каждой стране есть свой Телль,— сказал русский гость.

— И в каждой стране трудовые люди восстают против своих поработителей,— заметила жена русского.

— А кто в вашей стране Телль? — спросил Морис.

— В нашей стране не один Телль, их много,— задумчиво ответила женщина.— И во всех странах их становится все больше и больше.

Никогда еще с Морисом не говорили как со взрослым. Обычно иностранные туристы расспрашивали его, где и что можно купить. Они покупали все: и игрушки, и старые, по-

черневшие от времени колокольцы с шеи коров, и кожаные альпийские штаны. Они увозили с собой даже альпийские луга.

Морис видел однажды, как туристы старательно вырезали куски дерна с яркими цветами. Глупые, они не понимали, что цветы, унесенные с гор, тотчас погибнут. Чтобы альпийские цветы жили, нужно было прихватить с собой и кусок чистого голубого неба, и прозрачный воздух, и талые воды со снеговых вершин, и самую гору, на которой они росли...

Богатые туристы щедро платили за вещи, но люди их не интересовали. А разве в деньгах счастье? Человеку нужно прежде всего доброе, дружеское слово — оно ценнее денег...

Жаркое солнце коснулось снеговой вершины. В долину хлынули сумерки и холод.

Морис нехотя отправился спать. Ему снилась в эту ночь Россия — огромная географическая карта, и на ней Суворов со своими чудо-богатырями; и Вильгельм Телль, очень похожий на русского гостя...

...Когда солнце выпустило из-за гор свои первые лучи-стрелы, Морис вскочил с постели, тихо свистнул Джима, и они умчались на утес. Морис опоясал себя веревкой поверх кожаных штанов.

— Ты не бойся, Джим,— успокаивал он повизгивавшего от страха друга,— мы добудем эти цветы, обязательно добудем.

Мальчик закрепил другой конец веревки за дерево и стал спускаться по отвесной стене утеса. Вот уже ясно виден под ногами кустик цветов, последний бутон разжал белые лепестки, похожие на льдинки, опушенные инеем. Еще немного... еще... Веревка натянулась как тетива, а до цветка не достать. Ветер раскачивал под ногами Мориса вершины деревьев и обнажал внизу бесконечные уступы и пропасти.

Морис отнял правую руку от веревки, ухватился за ко-

рень дерева и повис вниз головой над зеленой пучиной. Потом чуть качнулся и, приблизив лицо к цветку, откусил стебель у самого корня.

Наверху он отдышался, отвязал веревку и вперегонки с Джимом помчался вниз, в деревню, заслоняя ладонью драгоценную добычу.

Запыхавшись, влетел в дом:

— Где наши гости?

— Ушли с рассветом,— ответила мать.— А где же ты пропадал? Забыл, что коров надо гнать на пастбище?

Морис кинулся из дому. Перебежал через мост, огляделся. По какой тропинке они ушли?.. Разве узнаешь?

Он вспомнил, что гость называл свою жену Надюша. Мальчик поднес ко рту руку и закричал:

— На-дю-ша-а!

«Юша-а! Юша-а! Юша-а!» — прошелестело эхо в горах.

«А как зовут его, русского?» — стал вспоминать Морис и не мог вспомнить.

— Те-е-елль! Те-е-елль! — звал он и прислушивался.

«Эх, не знали они, какой богатый подарок я им приготовил! — подумал мальчик.— Почему они ушли так рано? И почему я сразу не сказал им, что хочу подарить эти чудесные цветы? Куда они ушли?»

Морис стоял и смотрел на звезды эдельвейса: цветы были словно сотканы из голубоватых снежинок и опушены волосками инея.

— На-дю-ша-а! На-дю-ша-а! — кричал Морис.

«Юша-а! Юша-а! Юша-а!» — звали горы.

1963



ОТЧАЯННЫЕ ГЛАЗА

Антынь шагал по раскаленной июльским солнцем парижской мостовой. Мимо катили экипажи, спешили прохожие. Люди бросали мимолетный взгляд на мальчишку, цокающего тяжелыми подкованными башмаками.

А он с удивлением смотрел на прохожих, на молодых

людей, которые сидели на ступеньках церкви, бесстрашно подставив лицо солнцу, на детей, бегавших без устали на солнцепеке, и не понимал, как парижане могут жить и двигаться в такой жаре.

На углу улицы, упиравшейся в широкую шумную площадь, под тенью каштана старая женщина продавала розы. Антынь подошел и присел рядом с ней.

Он снял тяжелые башмаки, связал их вместе шнурками, перекинул через плечо, с трудом стянул с себя пиджак и жадно смотрел, как женщина опрыскивает водой розы. Прозрачные, похожие на льдинки капли скатывались с лепестков на пыльную панель.

Старушка поняла взгляд мальчика по-своему, она порылась в сумке, висевшей через плечо, и протянула ему монетку, но встретила такую гордую укоризну в глазах мальчишки, что поспешила бросить монету обратно.

Антынь протянул ей взмокший в потной ладони листок. Старушка взглянула на копну черных кудрей, в большие, полные отчаянной решимости глаза мальчика. «Итальяно?» — спросила она. Антынь отрицательно покачал головой. Женщина прочитала адрес на листке и, живо жестикулируя, быстро-быстро заговорила по-французски. Но Антынь ее не слушал, он внимательно следил за движением сухих костлявых рук, стараясь понять, куда двигаться дальше. Французского он не знал. Родной язык был латышский, и еще он знал русский.

...Но вот наконец и улица Мари-Роз. На сером семиэтажном здании цифра «4». Хорошо, что люди придумали цифры, которые одинаково пишутся и на латышском и на французском языках. Третий этаж... На площадке распахнуто окно. От прохлады и сырости Антыня даже зазнобило. Он натянул на горячие ноги чулки, башмаки и нажал кнопку звонка.

Дверь открыла женщина. Солнце из окна пронизывало ее светлые, отливающие золотом волосы, в больших серых

глазах словно отразилось родное Балтийское море — спокойное и прохладное. Женщина изучающе посмотрела на мальчика, на его помятую и запыленную косоворотку и спросила по-русски:

— Вы к кому?

Антынь устало улыбнулся. За много дней путешествия из Стокгольма в Париж он впервые услыхал русские и таким дружественным тоном произнесенные слова. Он облизал пересохшие губы и с хрипотцой ответил:

— Я к Ленину. Ведь он здесь живет?

Женщина еще раз пытливо взглянула на мальчика и пригласила войти.

— Меня зовут Надежда Константиновна. Будем знакомы.— И, подойдя к дверям соседней комнаты, позвала:— Володя, к тебе товарищ пришел.

Антынь удивился: Ленина так запросто называют Володей... Сестра Зана много рассказывала о Ленине, хотя сама его никогда не видела.

«А какой он, Ленин?» — спросил как-то Антынь сестру. И, слушая ее, понял, что она фантазирует.

Антынь сел за стол и огляделся. Маленькая кухня блестела чистотой и выглядела уютной.

Надежда Константиновна подошла к черному столику, зажгла спичку и повернула кран. Вспыхнуло яркое пламя. «Похоже на примус, но горит без шума»,—подумал Антынь. Он никогда не видел газовой плиты.

Дверь распахнулась, и в кухню вошли двое мужчин. Один прямо великан, он даже пригнулся, чтобы не зацепиться пышной шевелюрой за притолоку, плечи — во всю ширину двери, и от всей его фигуры веяло богатырской силой и добродушием. Второго Антынь не успел как следует рассмотреть.

— Здравствуйте! — приветствовали оба Антыня.

— Здравствуйте, Владимир Ильич,— шагнул Антынь навстречу великану.

Тот весело рассмеялся, и из-под каштановых усов сверкнули крупные белые зубы.

— Вот и ошибся — я Николай Сапожков.

Антынь перевел взгляд на невысокого человека с гладко выбритым подбородком, открытым лбом и не сумел скрыть своего разочарования.

Великан, все еще смеясь, распрощался и ушел. Владимир Ильич подсел к мальчику.

— Итак, я вас слушаю.

Антынь, как научила его сестра, прочитал наизусть строчку из Райниса, в которой было изменено только первое слово:

—«Где мне найти названье песни вечной?»

Владимир Ильич ответил ему строкой из Пушкина:

— «Там, где море вечно плещет на пустынные скалы»,— и по паролю понял, что Антынь прислан к нему латышскими товарищами.— Так по какому же делу вы прибыли? — спросил он.

Антынь, смущаясь и путаясь, стал рассказывать.

Четыре года назад, в 1905 году, когда рабочие России восстали против царя, погиб отец Антыня — в Латвии тоже шла кровопролитная борьба рабочих и крестьян за свободу. Место отца заняла сестра Зана. Два года работала она в подполье, но ее выследили царские жандармы и посадили в тюрьму. Товарищи помогли ей бежать из заключения и переправили в Швецию.

Антынь остался с бабушкой. Он нанялся работать учеником кузнеца на завод. Он уже многое понимал в свои двенадцать лет, знал, где спрятала Зана запрещенные книжки и листовки, и стал носить их на завод, раздавать рабочим.

Однажды ночью в домик, где жил Антынь, явились полицейские, перерыли все в комнатах, перекопали в огороде грядки и обнаружили нелегальную литературу.

На следующий день мальчишка предстал перед судом. Ему угрожала виселица, но, как несовершеннолетнего, со-

слали на каторгу в Сибирь. А в Сибири старшие товарищи решили, что мал он еще, чтобы закованным жить, распилили кандалы, собрали деньги на дорогу и помогли бежать. Он добрался до Петербурга и в первый же день чуть не попался. Шел по улице, искал по адресу товарища, к которому дали явку.

Неожиданно две грубые руки схватили его за плечи, обшарили, ощупали — нет ли оружия — и втолкнули в какой-то двор. «У, вражьи глаза,— зарычал жандарм,— царь едет, а ты тут, рвань, околачиваешься! Сиди здесь, потом разберемся, кто ты есть!» — крикнул он и захлопнул калитку. Антынь перемахнул через забор на соседний двор и задами убежал подальше от улицы, по которой ездит царь. После долгих мытарств разыскал товарищей, и те отправили его подальше от беды — в Швецию, к сестре. Свое путешествие в Стокгольм Антынь совершил почти так же, как князь Гвидон: его спрятали в осиновую бочку вместо творога.

Давясь от смеха, он рассказывал, как перепугался таможенный чиновник в Стокгольме, когда Антынь, выбив дно, выкатился из бочки на свет божий.

Владимир Ильич и Надежда Константиновна внимательно слушали рассказ, и по их лицам Антынь понял, что они не находят в этом ничего смешного.

— Ну, а потом шведские полицейские допрашивали, почему у меня отчаянные глаза и не задумал ли я злое дело. Дались им мои глаза! — сердито закончил Антынь.— Держали меня недолго, вызвали сестру, взяли с нее какую-то подписку и отпустили.

Владимира Ильича интересовало, как живут русские и латышские эмигранты в Швеции, что делает сестра.

Антынь рассказал, что Зана работает на текстильной фабрике, а по вечерам читает.

— А вы? — в упор спросил Владимир Ильич.

— Я работал подмастерьем у щеточных дел мастера...

— А книжки читаете?

— Иногда...— неуверенно ответил Антынь.

— Но считаете себя революционером? — спросил Владимир Ильич, и правая бровь у него поднялась вверх, а левый глаз прищурился.

— Само собой,— твердо ответил Антынь.— Вот когда в Латвии снова будет революция, я покажу этим жандармам.— Он сжал кулаки.

Надежда Константиновна поставила перед Антынем шипящую на сковородке яичницу с салом и большую кружку молока.

— Почему же вы решили уехать из Швеции? — спросил Владимир Ильич.

— Это не я решил, а шведский король Густав Пятый.

— Вот как? — удивился Владимир Ильич.

— Да. На прошлой неделе вечером к нам явился полицейский и сказал, что я должен в двадцать четыре часа покинуть Швецию. Зана, конечно, стала плакать, просить, чтобы нас не разлучали, а полицейский сказал, что в Швецию едет русский царь, и что у меня бешеные глаза, и что я, чего доброго, укокошу царя, и тогда неприятностей не оберешься.

Владимир Ильич схватил Антыня за руку.

— Это просто замечательно! Понимаете, теперь уже не вы боитесь царя, а царь боится вас. Ты подумай, Надюша,— живо повернулся он к Надежде Константиновне,— могло ли это быть раньше, до революции, чтобы объявляли ученика щеточника персоной нон грата? А, каково? Это замечательно,— повторил Владимир Ильич.— Ну, ну, рассказывайте.

— Мы с Заной сидели всю ночь и думали — куда же мне ехать? Есть ли в мире такой остров, где бы можно было укрыться от царя и полицейских?

— Да, такого острова у рабочего класса пока еще нет,— сказал как бы про себя Владимир Ильич,— а русский царь, который подавлял революцию с помощью других государств,

едет теперь по странам Европы с благодарностью. А вы ему мешаете, стоите на его пути. Рабочие всех стран ему мешают. Ну, ну...

— Думали мы, думали, и вдруг Зана сказала...— Антынь искоса посмотрел на Владимира Ильича и замолчал.

— Что же сказала Зана?

— Она сказала, что знает такое место, где мне царь не страшен. Она сказала: «Поезжай в Париж, к Ленину... Другого места нет...» Вот я и приехал.

— Почему же вы не кушаете? — спохватился Владимир Ильич.

Антынь взял кусок хлеба и почувствовал, что у него нет сил жевать и руки плохо слушаются. Он облизал сухие губы.

Владимир Ильич приложил прохладную ладонь ко лбу мальчика.

— Надюша, мне кажется, что у него жар. Дай-ка градусник.

...Антынь проснулся и не мог понять, где находится. Белые стены, белая кровать, пахнет лекарствами. Сквозь дымку различил две фигуры — мужчины и женщины, очень знакомые, но кто они — никак не мог вспомнить. Он закрыл глаза, прислушался к разговору. Женщина говорила, что у него, Антыня, сегодня был кризис и теперь врач уверен, что он будет жить. Антынь напряженно думал, затем связал в памяти все события, вспомнил жаркий июльский день и свой приход к Владимиру Ильичу и, наконец, понял, что находится в больнице.

Он лежал не шевелясь и не открывая глаз. Ему было хорошо. Владимир Ильич и Надежда Константиновна разговаривали вполголоса, шелестела бумага. Они читали и обсуждали письма, полученные из России, потом говорили о каком-то собрании, на котором Владимир Ильич собирался «дать бой». Потом наступило молчание. Снова зашелестела бумага, и вдруг послышался смех. Сначала тихий, потом

звонкий, и Антынь почувствовал, что Владимир Ильич закрыл себе ладонью рот, чтобы не смеяться громко.

— Смотри-ка, Надюша, царь приезжает в Париж, ну прямо по пятам идет за нашим Антынем. Французское правительство готовит пышную встречу. Статья моя в «Звезде» об этом событии тоже вовремя появилась.

Сердце Антыня тревожно заколотилось.

— Опять меня вышлют? — спросил он громко и сел на кровати.

— Уфф, наконец-то ты открыл глаза! — весело воскликнул Владимир Ильич.— Ложись, ложись и успокойся. Твоя личность здесь, в больнице, в полной неприкосновенности, а царю за тебя скажут свое слово французские рабочие, они собираются встретить его как следует: забастовками, митингами протеста.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила Надежда Константиновна.

— Хорошо. Очень хорошо...— ответил Антынь.

— Теперь тебе надо набираться сил, побольше спать,— сказала она, осторожно поправляя одеяло.

— И как можно больше есть,—добавил Владимир Ильич.

Антынь закрыл глаза и моментально заснул.

Теперь он спал, как и полагается спать всем здоровым людям, по ночам. Днем приходили Надежда Константиновна или Владимир Ильич, а то и оба вместе.

И наступил день, когда его повезли из больницы на улицу Мари-Роз.

— Ну и жара сегодня,— говорил Владимир Ильич, сидя рядом с Антынем в экипаже.

— Разве так жарко? — удивился Антынь.— Вот когда я к вам шел, тогда было действительно пекло.

— У тебя тогда температура была под сорок,— ответил Владимир Ильич.— Воспаление легких. Ну, теперь все позади.

Скоро Антынь уже ходил на прогулки.

Днем в квартире Ильичей, как называли русские большевики семью Ленина, было всегда много народу. «Прямо толчея непротолченная»,— шутила Надежда Константиновна и первая принимала посетителей, разговаривала с ними, чтобы дать возможность Владимиру Ильичу поработать.

Однажды вечером Владимир Ильич взял Антыня с собой на собрание. «Будет жаркий бой»,— сказал он Надежде Константиновне. Собрание происходило в кафе. Люди сидели за столиками. Кружки пива, которые расставил хозяин, стояли нетронутыми. Это было собрание русских революционеров. Они горячо обсуждали, как помочь рабочему классу собраться с силой, победить. Но были и такие, которые считали, что революция в России погибла окончательно, что рабочие должны вести себя тихо, а партия забраться в подполье, как улитка в раковину. Один из таких маловеров, с лохматой головой, начал свою речь с крика, злобно поглядывая на Ленина. Владимир Ильич спокойно сидел и записывал в блокнот. Лохматый распалялся все больше, размахивал руками и надвигался на Владимира Ильича. Он кричал, что Ленин ведет рабочий класс к гибели. Владимир Ильич только досадливо двинул плечом и продолжал писать. Вокруг оратора сбилась кучка людей. Они орали «браво!», «правильно!» и тоже надвигались на Ленина. «Вот сейчас и будет бой»,— подумал Антынь и пересел поближе к Владимиру Ильичу. Лохматый продвигался между столиками. Антыню показалось, что Владимир Ильич, увлеченный писанием, не видит надвигающейся опасности. Маловер был уже совсем близко от Владимира Ильича, когда Антынь вскочил, боднул лохматого в живот, вцепился ему руками в горло и закричал: «Бегите, Владимир Ильич, бегите, я с ним расправлюсь!» Но тут крепкие руки великана Сапожкова оторвали Антыня от его жертвы. Хозяин кафе выключил свет. Крики внезапно стихли, и люди стали выходить на улицу, а Антыня Сапожков вынес под мышкой и поставил на ноги только на улице.

Дома Владимир Ильич долго ходил взад и вперед по комнате, заложив назад руки, на лбу у него собрались сердитые морщины. Антынь сидел ни жив ни мертв. Он понимал, что произошло что-то нехорошее. Надежда Константиновна перебирала бумаги на столе и изредка взглядывала то на одного, то на другого.

Антынь ждал бури...

Владимир Ильич остановился посредине комнаты, широко расставил ноги.

— Ты представляешь, Надюша, я сижу, делаю заметки. Ну, думаю, кричите, кричите, мы сейчас вдребезги разобьем ваши доводы, господа маловеры, проясним вопрос, и вдруг, как коршун на цыпленка, на голову моего противника сваливается наш Антынь, хватает его за горло да еще кричит мне, чтобы я бежал. Как тебе это нравится? Вопрос так и остался непроясненным, собрание сорвано.

Антынь еще ниже опустил голову.

— Знаешь, друг,— Владимир Ильич положил руку на плечо Антыня,— если мы с тобой нашу правду будем доказывать кулаками, то далеко не уедем. Наши противники страшны не криком, а своими идеями, которые они вдалбливают в головы и сковывают волю рабочих. Нужно каждую их мысль разбить, идеи развенчать, показать, что они зовут на неправильный путь. Нужно терпение и знания, чтобы люди могли убедиться, на чьей стороне правда.

Антынь во все глаза смотрел на Владимира Ильича. Он, Антынь, хотел ведь как лучше, он готов жизнь отдать за Ленина, а вышло, что он оказал медвежью услугу.

— Учиться тебе надо, Антынь,—решительно сказал Владимир Ильич.— Глаза у тебя отважные, сердце горячее, но и голова, к сожалению, не холодная, а знаний в ней мало. Учиться надо — тогда будешь настоящим революционером.

Надежда Константиновна подошла к Антыню, обняла его за плечи. В его больших черных глазах блестели слезы.

Он смахнул со щеки непрошеную каплю, медленно поднял голову и встретился взглядом с Владимиром Ильичем.

«Я все понимаю»,— говорили отчаянные глаза мальчика.

«Я тебе верю»,— прочитал Антынь в глазах Владимира Ильича.

...Прошел год. Антынь стал слушателем первой партийной школы большевиков, которую организовал Владимир Ильич в деревне Лонжюмо под Парижем. Он был самым юным и самым усердным учеником в этой школе борцов революции.

1962



КЛЯТВА

День был хоть и майский, но студеный, ветреный, как в октябре. Липы совсем уж приготовились сбросить румяные колпачки с туго закрученных листьев, да раздумали — холодно. Только акации в палисадниках бесстрашно распушивали на ветру свои зеленые перышки.

И мальчишкам холод был нипочем. Обжигая босые ноги о холодный булыжник, они беспокойной стайкой носились возле завода Михельсона, чего-то нетерпеливо ждали.

Серпуховская улица жила своей обычной жизнью: у пекарни вытянулась длинная очередь за хлебом, по мостовой лениво цокали ломовые лошади, высекая подковами искры, изредка позванивал трамвай и скрежетал тормозами на поворотах.

Только за высокой дощатой стеной завода было оживленно. Сквозь щели забора мальчишкам было видно, как рабочие спешно наводили порядок на заводском дворе, ровняли дорогу от проходной к Гранатному корпусу, посыпали ее зернистым желтым гравием.

Ребята и свою помощь предлагали, но старый рабочий Петр Никифорович, который всеми делами командовал, сердито крикнул:

— Марш по домам, простудитесь! Ишь холодина какой.

Ребята ничего не успели сказать в оправдание, в это время грянул марш, и на Серпуховскую улицу из переулка вышел военный оркестр. Музыканты шагали посередине мостовой и дули в ярко начищенные медные трубы. За оркестром выплыли полковые знамена: новые, праздничные, красные, а за ними бесконечной вереницей шагали молодые красноармейцы. И если зажмуриться, то слышалось, что это шагает один очень большой и сильный человек, крепко на всю улицу выстукивая: раз-два, раз-два, раз-два!

Ребята мигом пристроились впереди оркестра и старались идти широким шагом, в такт музыке, и Кирюшка старался, хотя и был меньше всех.

Василий маршировал в составе Варшавского красного полка правофланговым; он сразу заприметил среди ребят своего меньшого братишку, узнал его по своему пиджаку, который болтался на Кирюшкиных плечах, как мешок.

Раскрылись окна в домах, остановились прохожие, затор-

мозил трамвай, и все смотрели на красноармейцев, и улица сразу стала праздничной.

А ребята ни на кого не смотрели, они, как и красноармейцы, глядели вперед и браво вошли в широко распахнутые ворота и вместе с оркестром остановились у входа в Гранатный корпус. И никто их не прогонял, и сам Петр Никифорович понимал, что это будущие красноармейцы, которым тоже придется защищать Советскую Республику.

Раз-два, раз-два, раз-два! — хрустит под ногами гравий, и красноармейцы вступают на расчищенную рабочими дорогу, на которой еще свежи полоски от железных грабель. По бокам приветливо помахивают зелеными перышками акации, за ними живой стеной стоят рабочие: парад принимают, первый парад своей молодой, только что созданной Красной Армии.

Прошел Варшавский красный полк, Сводная караульная дружина, за ними в Гранатный корпус потянулись рабочие. Они заняли места вдоль стен, между станками, на подоконниках, предоставив середину огромного цеха своим дорогим гостям. Мальчишки вошли в цех вместе с оркестром.

Раздалась команда «вольно». Василий оглянулся. Кругом знакомые лица, добрые и взыскательные взгляды. Смотрят рабочие: худо одеты красноармейцы. Шинели пообтрепаны, в дырах, в опалинах,— видно, побывали в боях. Фуражки разные, на некоторых еще зимние папахи. Башмаки разбиты, но у всех ноги в новеньких зеленых обмотках.

Командиры, такие же юные, как и красноармейцы, в таких же новеньких обмотках, прохаживаются перед строем, чего-то ждут, волнуются. Рабочие узнали Василия. На заводе Михельсона он работал вместе с отцом. Отца убили на фронте, а Василий вступил в Красную гвардию и в Октябрьские дни семнадцатого года штурмовал Зачатьевский монастырь. Монастырь для революции никакого интереса, конечно, не представлял, но в нем засел буржуйский штаб, и Василий вместе с дружинниками вышибал его оттуда.

Василий поискал глазами Зину. Вон она стоит на подоконнике, теребит руками кончик красной косынки. Губы сжаты, а глаза улыбаются, улыбаются ему, Василию. Кирюшка пристроился возле барабанщика и таращит глаза на брата, первый раз видит его в военной форме.

Неожиданно прозвучала команда:

— Смир-но!

Шаркнули сотни ног и замерли.

И все мальчишки стали по команде «смирно»—руки по швам, спины выпрямили, животы втянули, вот только глаза не научились слушаться: скосились на боковую дверь.

Дверь распахнулась, и в цех вошло несколько человек.

На какой-то миг исчезли все звуки, и тут же взметнулось «Ура-а-а!» — не по приказу командиров, а по команде сердца: рабочие узнали Владимира Ильича Ленина. Он шагал рядом со Свердловым, в темном пальто, в кепке, чуть сдвинутой набок. Поднялся вслед за Яковом Михайловичем на трибуну, сбитую из свежевыструганных досок, остановился, повернул лицо к людям и что-то сказал. Улыбнулся, отчего щеточка усов вздернулась кверху.

Никогда еще стены Гранатного цеха не слышали такого бурного ликования.

Владимир Ильич постоял минутку; вынул из кармана часы и выразительно постучал по крышке, посмотрел на командиров — чего же, мол, не наведете порядок.

А командиры, как мальчишки, не могут сдержать буйной радости. Повернулись к строю и, все еще не в силах согнать с лица улыбку, весело скомандовали:

— Смир-но!

В огромном корпусе мигом стихло и посветлело. То ли оттого, что майское солнце пробило наконец студеные тучи, то ли от улыбок и блеска глаз.

Яков Михайлович раскрыл портфель, вынул листок бумаги и, поправив пальцами дужку пенсне, сильным голосом произнес:



— Сегодня у нас большой праздник, торжественный день, товарищи. Бойцы нашей юной, но уже проявившей себя в боях Красной Армии принимают торжественное обещание, дают клятву на верность народу. Я буду читать текст торжественного обещания, и каждый из вас повторит его слова за мной.

Василий напрягся. Сейчас он должен принести социалистическую клятву перед лицом своих товарищей по заводу, перед лицом самого Ленина. От волнения ему показалось, что у него пропал голос.



Яков Михайлович подошел к краю трибуны. Владимир Ильич встал рядом с ним.

Перед трибуной стайка мальчишек — запрокинули головы, во все глаза смотрят на Ленина. Владимир Ильич снял кепку, и Кирюшка снял, потом оглянулся на командиров — те взяли под козырек.

Кирюшка поспешно водворил на голову отцовскую солдатскую фуражку и крепко прижал оттопыренный большой палец к виску.

Яков Михайлович кашлянул и начал:

— Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии...

— Я, сын трудового народа...— одним дыханием повторяли красноармейцы, и гулкие стены корпуса отозвались эхом.

— Я обязуюсь... в борьбе за Российскую Социалистическую Республику, за дело социализма и братство всех народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни...

Василий не спускал глаз с Ленина.

Владимир Ильич стоял неподвижно, чуть подавшись вперед; пальцы, сжимавшие кепку, еле заметно вздрагивали; глаза не таясь говорили: вам, молодым бойцам, предстоят тяжелые испытания, и партия вам верит, народ доверяет вам защиту своей свободы, своей победы.

И в ответ слышалось:

— Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Советской Республики...

Петр Никифорович смотрел на Владимира Ильича и думал: ты, Ильич, в юности дал клятву служить народу, вызволить его из неволи. Когда ты дал эту клятву? Может быть, в тот день, когда пришла страшная весть о казни твоего старшего брата, а может быть, еще раньше, в симбирском саду, слушая рассказы отца о нужде и темноте народной? Никто не слышал этой клятвы, но все знают о ней по твоим делам, по подвигу твоей жизни. Ты сдержал ее, и я, старый рабочий, клянусь вместе с сынами нашими защищать нашу победу, нашу Советскую власть.

Прозвучали последние слова клятвы... Наступила торжественная минута молчания, и командиры не спешили нарушить ее.

А после команды «Воль-но-о!» все смешалось. Рабочие подходили к красноармейцам, жали им руки, поздравляли. Красноармейцы прикалывали себе на грудь красные звезды.

— Что это за звезда? — спросила Зина, подойдя к Василию.

— Это Марсова звезда, что значит — военная,— ответил он,— а плуг и молот — видишь, в середине звезды — означают, что защищаем мы рабочих и крестьян всего мира,— с гордостью добавил Василий.

— Марсова звезда — по-нашему, Марксова, — сказал Петр Никифорович. Глаза его были влажны.

— Поздравляю вас, товарищ, с принятием социалистической клятвы,— услышал Василий и поднял глаза.

Перед ним стоял Владимир Ильич. Василий отдал честь. Надо было сказать какие-то очень важные слова, но он смутился и не мог придумать ничего торжественного, а Владимир Ильич вдруг спросил:

— Вы женаты, товарищ?

Василий окончательно смешался и бросил взгляд на Зину.

— Нет еще, Владимир Ильич.

— А невеста есть?

Василий стал красный как кумач.

— Невеста есть.

И Кирюшка, стоявший рядом, понял, что о Зине говорит Василий, а она спряталась за чью-то спину и затеребила концы косынки.

— Не забудьте пригласить на свадьбу,— улыбнулся Владимир Ильич Зине.— У вас будет хорошая жена, верный товарищ,— сказал он Василию.— А вы, видно, фронтовик? — спросил Владимир Ильич другого красноармейца, бросив взгляд на его старую, видавшую виды шинель.

— Так точно! — ответил боец, и широкая улыбка осветила его лицо.

— Ваша семья в деревне? Ждут вас, соскучились?

Владимир Ильич умел распознавать людей, хотя все они были в солдатских шинелях, и умел прочитать затаенные мысли.

— Так точно, в деревне. Собирался к ним ехать, да нельзя сейчас. Вот когда буржуев добьем, тогда и поеду.

— Да, врагов у нас много, и повоевать придется,— серьезно ответил Владимир Ильич и, протянув руку Петру Никифоровичу, спросил: — Ну, а вы отдыхать не собираетесь?

— Какой там отдых, Владимир Ильич! Теперь у нас есть армия, и ей нужно оружие. Будем работать изо всех сил.

Мальчишки, не отставая, ходили следом за Владимиром Ильичем, перешептывались, их что-то сильно занимало. Наконец, подталкиваемый ребятами, Кирюшка спросил:

— Вот мы хотим знать, с каких лет в Красную Армию принимают?

Взрослые на Кирюшку зашикали, зачем такое озорство, а Владимир Ильич дотронулся до солдатской фуражки мальчика, понял, что это отцовская фуражка и раз она на голове сына — значит, погиб отец, серьезно ответил:

— Ты обязательно будешь красноармейцем, настоящим защитником Советской страны. Правда?

— Правда! — ответил Кирюшка, подняв глаза на Владимира Ильича, и, встретив его по-дружески серьезный взгляд, повторил: — Правда!

Красноармейцы строились.

Рабочие встали по обе стороны живой стеной.

Грянул марш.

Владимир Ильич смотрел на проходящих мимо молодых, сияющих отвагой красноармейцев и думал о том, что у молодой Республики Советов есть крепкая, надежная защита.

И Кирюшке показалось, что большой и сильный человек зашагал еще крепче, и теперь его шаг слышен, наверно, по всей Советской земле: раз-два, раз-два, раз-два!

Это было в субботу, в студеный день 11 мая 1918 года в Москве, на заводе Михельсона, носящем теперь имя Владимира Ильича.

1969



ВИШНИ

Надежда Константиновна неприметно глянула на часы, дочитала фразу и закрыла книгу.

— На сегодня хватит, я устала,— сказала она.

Владимир Ильич понял: время, предписанное врачами на чтение, истекло. Он встал с кресла, подошел к окну. Моросил дождь, холодный, ноябрьский. На черных замшелых

ветках липы дрожали прозрачные капли. По мокрой дорожке прыгали взъерошенные, сердитые воробьи. Вот их словно ветром подхватило — они стайкой взлетели и уселись на опустевшем скворечнике.

На дорожку вышли люди — впереди две женщины с накинутыми на головы капюшонами из мешковины, в высоких, зашнурованных до колен ботинках; позади — двое мужчин в кепках, в грубошерстных пиджаках. Видно, эти люди пришли сюда впервые: остановились перед большой клумбой и раздумывают, как подойти к дому.

— Кто-то приехал,— Владимир Ильич кивнул головой на окно.

Надежда Константиновна сошла вниз, на первый этаж. Навстречу ей спешила Мария Ильинична.

— Глуховцы приехали к Ильичу,— тихо сказала она.

Надежда Константиновна опасливо посмотрела наверх— врачи строжайше запретили Владимиру Ильичу принимать посетителей.

А Владимир Ильич, перегнувшись через перила, уже нетерпеливо спрашивал:

— Кто приехал? Кто?

— Делегация от глуховских рабочих, Володя. Письмо тебе привезли,— откликнулась Мария Ильинична.— Сейчас принесу.

Владимир Ильич поспешно застегнул воротник косоворотки и выразительным жестом попросил пригласить гостей к нему.

— Но врачи...— начала было Надежда Константиновна.

Да правы ли врачи? Почему они полагают, что лучшее лекарство для Ильича — не видеть людей, не чувствовать биения жизни? Эта встреча его порадует, а радость никак не может повредить здоровью.

Надежда Константиновна переглянулась с Марией Ильиничной и решительно сказала:

— Хорошо, Володя.

С глуховцами у Ильича дружба давняя, почти четверть века, и не повидать их делегатов он не может.

Вот они поднимаются по лестнице. Владимир Ильич идет им навстречу, внимательно всматривается в лица.

Впереди — пожилая работница. Седая голова повязана красной косынкой. Одной рукой она прижимает к груди папку, другую протягивает Ильичу:

— Прядильщица я, Пелагея Холодова,— и степенно кланяется.

— Помню, помню,— улыбается Владимир Ильич.

За ней — молодая застенчивая женщина; лицо чуть приподнято, словно голову оттягивают тяжелые русые косы.

— Сновальщица Клавдия Гусева.

Осторожно ступает по ковру в грубых сапогах старик, большой, крепкий, неловкий и, наверно, очень ладный в работе.

— Молотобоец Дмитрий Васильевич Кузнецов...

Молодой паренек в синей косоворотке замыкает шествие.

— Прядильщик Герасим Козлов.

Каждому Владимир Ильич пожимает руку, каждому заглядывает в лицо и приглашает сесть.

Пелагея Холодова изо всех сил старается вспомнить все торжественные слова, которые она придумала за дорогу, и вдруг совсем просто спрашивает:

— Как здоровье-то, Владимир Ильич? Как чувствуешь себя?

— Хорошо, очень хорошо.

И это правда. Сейчас он не чувствует себя больным. У него много вопросов к этим людям, много мыслей, которыми хотелось бы поделиться.

— Постановление мы приняли, все двенадцать тысяч рабочих проголосовали,— продолжает Холодова,— чтобы ты берег себя для нас, для рабочих, чтобы не переутомлялся.

— Я постараюсь,— кивает головой Владимир Ильич.

Мария Ильинична и Надежда Константиновна стоят в

дверях соседней комнаты и видят, как добрая улыбка тронула губы Ильича.

Холодова протянула Владимиру Ильичу папку:

— Письмо мы тебе привезли от наших.

Владимир Ильич раскрыл папку, увидел большой лист бумаги. Привычным цепким взглядом схватил написанное, чуть задержался на строчках:

«...ты нужен нам теперь, в момент развивающейся германской революции, как нужен ты нам во дни труда, во дни горя, во дни радости...»

— Спасибо! Большое спасибо за доверие!

— И еще мы привезли тебе подарочек,— говорит Холодова.

Владимир Ильич нахмурился.

— Не сердись! Мы тебе вишневый сад привезли,— поспешил объяснить старик Кузнецов.— Перед окном твоим посадим. Зацветут вишни весной —залюбуешься. Цвет у них чистый, белый, запах свежий, для здоровья полезный. Взгляни-ка в окно!..

Владимир Ильич подошел к окну. Возле клумбы, как отряд юных пионеров, расставлены восемнадцать молодых вишневых саженцев. Корни аккуратно обернуты рогожей и перевязаны красными полосками материи. Владимир Ильич любовно посмотрел на маленькие голые кустики, трепещущие на ветру, и увидел их в пышном цветении...

Старик Кузнецов вглядывался в побледневшее не то от болезни, не то от волнения лицо Ильича и думал: «Дорогой ты наш человек! И в тюрьме, и в ссылке за нас маялся, и на чужбине для нас работал, о нас тосковал, и стреляли в тебя отравленными пулями, и на работе за нас надорвался...»

— Чистый белый цвет,— сказал как бы про себя Владимир Ильич.— Спасибо! Славный подарок.

И тут не выдержал старый кузнец. Шагнул вперед, широко развел руки и осторожно и нежно обнял Владимира Ильича.

— Я рабочий-кузнец, Владимир Ильич, мы скуем все, намеченное тобой...

Владимир Ильич тоже обхватил Кузнецова, и они словно застыли. Холодова кончиком косынки смахивала слезы...

Внизу, в большой комнате, обставленной цветами и пальмами в кадках, был накрыт стол, шумел самовар.

Мария Ильинична предложила делегатам поужинать. Но никому не хотелось есть. Мыслями все еще были там, наверху, с Ильичем.

— Кушайте, товарищи, кушайте,— угощала Мария Ильинична, сама взволнованная до слез.— Попробуйте грибки, их сам Ильич собирал.

На столе перед Марией Ильиничной лежала стопка газет. Наверху — «Правда». Бросались в глаза крупные заголовки: «Наступление германской буржуазии», «Голод в Германии», «Белый террор в Болгарии», «Забастовка лодзинских рабочих в Польше».

— Лютует мировая буржуазия,— кивнул Кузнецов на газеты.— Лютует. Но придет день — будет праздник и у германского пролетариата, и у болгар, и у поляков.

— Ильич в этом убежден,— подтвердила Мария Ильинична.

— Работать вам надо,—сказала Холодова,— мы поедем.

Мария Ильинична запротестовала:

— В такую распутицу, на ночь глядя я вас не пущу. Ночевать будете у нас. Утром и деревца посадите.

Глуховцы переглянулись. Они были довольны: всем хотелось побыть еще рядом с Владимиром Ильичем.

— Может, вам помощь какая нужна? Как живут сейчас глуховские рабочие?— поинтересовалась Мария Ильинична.

У рабочих в те годы было много нужд. Военная разруха еще давала себя знать. Но ни о каких бедах своих делегаты не говорили.

— Просьба у нас одна и мечта заветная: чтобы поправлялся Ильич, чтобы здоров был.

Всю ночь делегаты не спали. Сидели и говорили шепотом. Прислушивались. В доме было спокойно.

Утром пришла Мария Ильинична.

— Как спал Ильич? Спокойно ли? — был первый их вопрос.

— Хорошо спал,— ответила Мария Ильинична.— Встал в отличном настроении. Утром опять читал ваше письмо. Очень оно ему дорого.

Утро было солнечное, ясное. Мороз прикрыл лужи тонко расписанным стеклом. Ночью выпал снег, и вишневые саженцы стояли словно в цвету. По веткам прыгали воробьи, и на черную землю белыми лепестками слетали снежинки.

Каждую весну, когда просыпается к жизни земля и прозрачная на солнце зелень окутывает поля и леса, вокруг дома с колоннами, где жил последние годы Владимир Ильич Ленин, зацветают вишневые деревья и, словно юные пионеры в своих белых чистых рубашках, разбегаются отсюда, из Горок Ленинских, по всей земле.

1964

СОДЕРЖАНИЕ

С. Михалков. ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА. *О творчестве писательницы Зои Ивановны Воскресенской* . . 5

СКВОЗЬ ЛЕДЯНУЮ МГЛУ. *Рис. И. Незнайкина* . 13

ВСТРЕЧА. *Рис. И. Незнайкина* 137

УТРО. *Рис. И. Незнайкина* 241

РАССКАЗЫ

Кольца дружбы. *Рис. И. Гринштейна* 428

Университет для одного. *Рис. И. Ильинского* . . . 434

Эдельвейс. *Рис. И. Гринштейна* 445

Отчаянные глаза. *Рис. И. Гринштейна* 453

Клятва. *Рис. И. Ильинского* 464

Вишни. *Рис. И. Гринштейна* 473

Зоя Ивановна Воскресенская

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 3-х ТОМАХ

Том 1

*

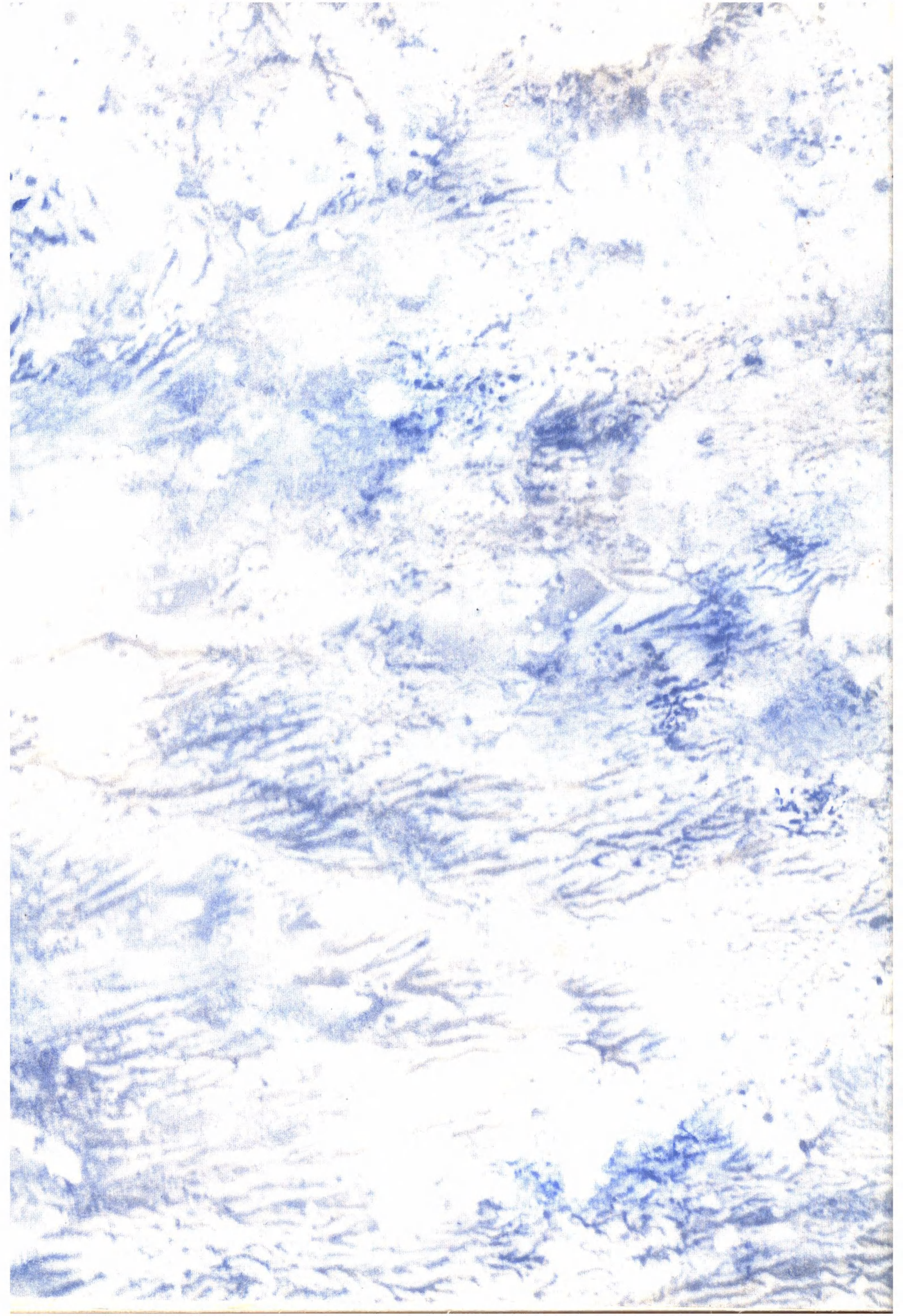
Ответственный редактор
С. М. ПОНОМАРЕВА.

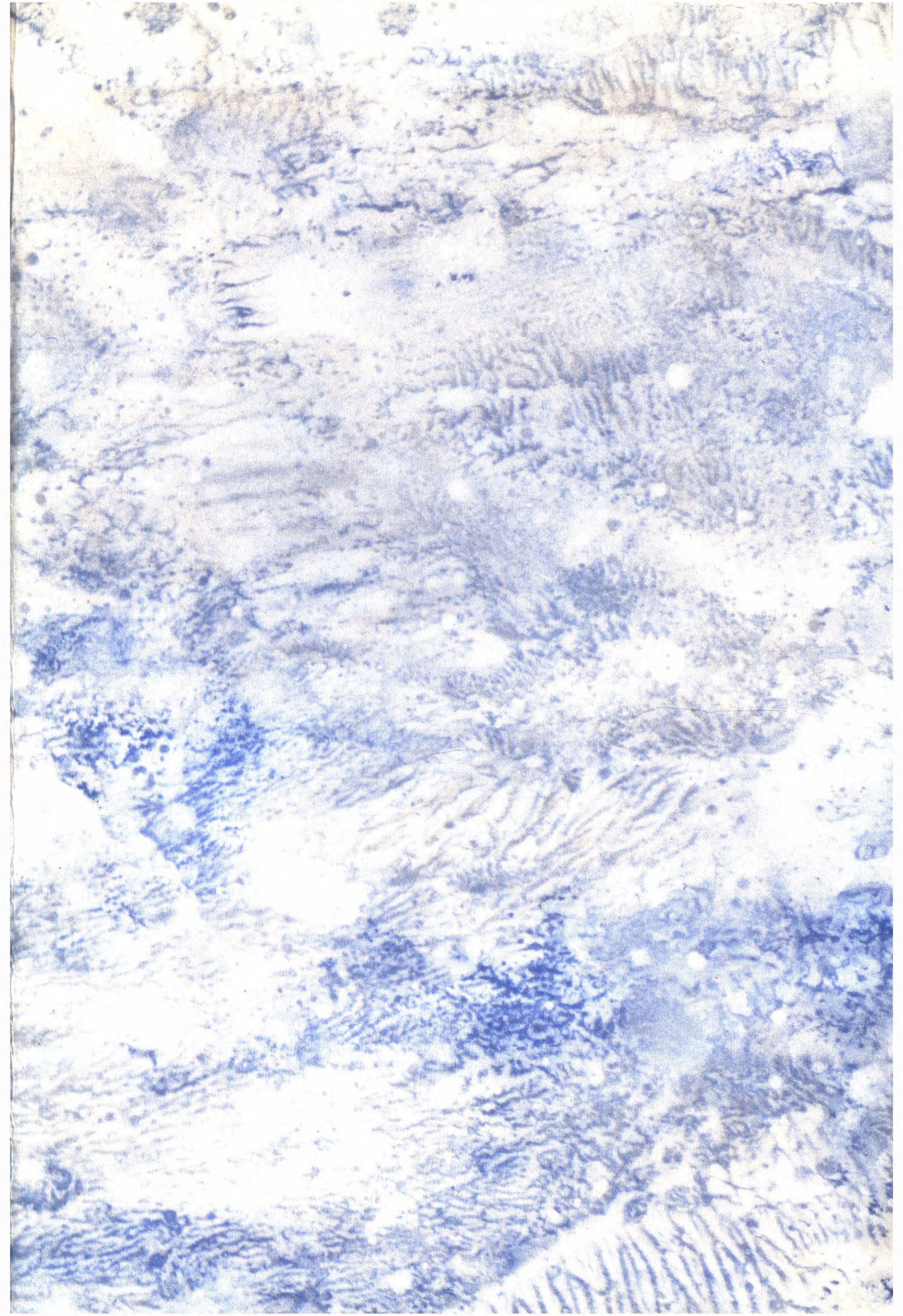
Художественный редактор
М. Д. СУХОВЦЕВА.

Технический редактор
С. Г. МАРКОВИЧ.

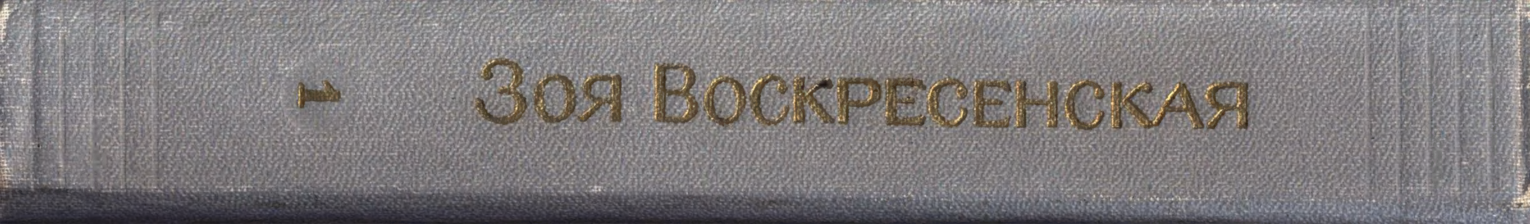
Корректоры
В. Е. КАЛИНИНА и З. С. УЛЬЯНОВА.

Сдано в набор 24/I 1974 г. Подписано к печати 9/IV 1974 г. Формат 60×84$^{1}/_{16}$. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 30,13. Усл. печ. л. 28.02. Уч.-изд. л. 22,53+1 вкл.=22,59. Тираж 300 000 (150 001—300 000) экз. А03742. Заказ № 2121. Цена 97 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49





37 коп.


1
Зоя Воскресская